ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ БИОГРАФИИ

ВАДИМ РУДНЕВ

БОЖЕСТВЕННЫЙ ЛЮДВИГ

ВИТГЕНШТЕЙН: ФОРМЫ ЖИЗНИ

ГАЛЕРИЯ КУЛЬТУРЫ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга представляет собой интеллектуальную биографию великого философа XX века. Это первая биография Витгенштейна, изданная на русском языке. Особенностью книги является то, что увлекательное изложение жизни Витгенштейна переплетается с интеллектуальными импровизациями автора (он назвал их «рассуждениями о формах жизни») на темы биографии Витгенштейна и его творчества, а также теоретическими экскурсами, посвященными основным произведениям великого австрийского философа. Для философов, логиков, филологов, семиотиков, лингвистов, для всех, кому дорого культурное наследие уходящего XX столетия.

- Вадим РУДНЕВ
  - От автора
  - Глава 1.
    - Предки и родители
    - Был ли Витгенштейн евреем?
    - Братья и сестры
    - Люкерль
    - Почему Витгенштейн не покончил с собой?
    - Прусская столица и британская провинция
    - Первое рассуждение о формах жизни
  - Глава 2.
    - Витгенштейн и Рассел
    - Дэвид Пинсент
    - Витгенштейн и «Апостолы»
    - «Что такое философия?»
    - Норвегия
    - Второе рассуждение о формах жизни
  - Глава 3.
    - Перед войной в Вене. Филантропия Людвига
    - Человек с Библией
    - На фронте и в плену
    - История публикации «Трактата»
    - Был ли Витгенштейн гомосексуалистом?
    - Третье размышление о формах жизни
    - Экскурс I. «Логико-философский трактат»
  - Глава 4.
    - Школьная реформа
    - Траттенбах
    - Ученики

        - «Трактат» наконец опубликован
        - Фрэнк Рамсей и поездка в Англию
        - Конфликты
        - Четвертое рассуждение о формах жизни
    - Глава 5.
        - Дом, который построил Витгенштейн
        - Маргарита
        - Логический позитивизм Венского кружка
        - Витгенштейн и Венский кружок
        - Пятое рассуждение о формах жизни
    - Глава 6.
        - Новые друзья и старые знакомые
        - Витгенштейн — доктор философии
        - «Лекция об этике»
        - Френсис Скиннер
        - Витгенштейн исповедуется
        - 1938 год: аншлюс Австрии
        - Шестое рассуждение о формах жизни
    - Глава 7.
        - Достоевский и Толстой
        - Витгенштейн изучает русский язык
        - Был ли Витгенштейн сталинистом?
        - Витгенштейн готовится к поездке
        - Витгенштейн в Советском Союзе
        - Седьмое рассуждение о формах жизни
        - Экскурс II. «Философские исследования»
    - Глава 8.
        - Витгенштейн работает в госпитале
        - «Беседы о Фрейде»
        - Кембридж, Ирландия. 1940-е годы
        - Поездка в Америку
        - Болезнь и смерть
        - Восьмое рассуждение о формах жизни
    - Хронология основных событий жизни Витгенштейна
    - Литература
- notes
    - 1

Вадим РУДНЕВ

БОЖЕСТВЕННЫЙ ЛЮДВИГ

Витгенштейн: Формы жизни

От автора

Жизнь Витгенштейна, одного из самых странных и удивительных людей XX века, тесно связана с его философией. Собственно, этому и посвящена книга, предлагаемая вашему вниманию. В настоящий момент существуют две биографии Витгенштейна: более академичная и подробная книга Брайана МакГиннеса «Жизнь Витгенштейна» и живая и увлекательная книга Рэя Мешка *«Витгенштейн: Вахта гения». От этих книг мы в первую очередь отталкивались в своем исследовании. Предлагаемую книгу нельзя назвать биографией в подлинном смысле — это исследование о том, как жил Витгенштейн и что он писал в своей жизни. Если возможна проблемная биография, интеллектуальная биография, то это именно тот жанр, в котором написана эта книга.*

Книга о Витгенштейне написана для читателей — для «людей», а не для «специалистов». Поэтому тот, кто упрекнет ее в излишней популярности, не поймет ее основных задач. Надеюсь, однако, что и философам эта книга будет небезынтересна.

Мне остается выразить искреннюю признательность Валерию Анашвили, которому принадлежала сама идея написания интеллектуальной биографии Витгенштейна и который оказывал автору финансовую поддержку при осуществлении этого проекта.

В. Р.

Глава 1.
Детство и юность Витгенштейна. Вена. Линц. Берлин. Манчестер (1889–1910)

Предки и родители

«Мой отец был бизнесмен, — говорил Витгенштейн в 1930-м году, гуляя по Кембриджу со своим самым преданным учеником и другом ирландцем Морисом О'Коном Друри. — И я тоже бизнесмен», — продолжал он. «Я хочу, чтобы моя философия была похожа на бизнес — чтобы она что-то улаживала» *[Друри 1998]*. К смыслу этой фразы в ее философском аспекте мы еще вернемся, как вернемся и к записям Друри его бесед с Витгенштейном. Однако отец Витгенштейна был не просто бизнесменом, он был королем австрийской сталелитейной индустрии, крупнейшим магнатом Австрии, миллионером, одним из самых богатых (если не самым богатым) людей в Вене. Его значение в австро-венгерской промышленности сравнивают со значением Круппа в соответствующей отрасли немецкой промышленности.

Лицо Карла Витгенштейна на фотографии выдает человека авторитарного, уверенного в себе, но, с другой стороны, в его лице видится и другое: некая едва уловимая тонкость и благородство. Таким он и был на самом деле — отец великого мыслителя XX века.

Считается, что семья Витгенштейнов была еврейского происхождения. Прадедушкой Людвига со стороны отца был некий Мозес Мейер, еврей из Корбаха. Как говорил дядя Витгенштейна Луи своей сестре Милли, «наша семья гордится не тем, что она еврейская, а тем, что она *была* еврейской». В этом высказывании есть определенный смысл — и отец и братья Людвига были воспитаны в русле европейской культуры, во всяком случае, неизвестно, чтобы кто-либо из них читал Талмуд, хотя еврейская проблема часто обсуждалась (подробно см. об этом следующий раздел книги). Мозес Мейер взял фамилию Витгенштейн в 1808 году, когда Жером Бонапарт, брат императора и наместник Саксонии, своим указом приказал всем евреям, находящимся на территории его империи, взять фамилии. Прозвище Мозес Мейер из Корбаха для французского уха не звучало как фамилия [McGuinness 1988: 39]. Однако почему он взял именно фамилию Витгенштейн, неизвестно. Видимо, поблизости находились какие-то Витгенштейны. Может быть, он состоял в услужении у каких-то знатных Витгенштейнов (Сайн-Витгенштейнов?). Сын Мозеса Мейера Витгенштейна Герман Христиан Витгенштейн, по свидетельству старшей сестры Людвига Витгенштейна Гермины, принял христианство в 1839 году (существуют и другие версии, но мы будем в таких случаях

доверять Гермине как человеку с ясным умом и признанной хранительнице устных домашних преданий). Сделал он это перед женитьбой. На фотографии Герман Христиан выглядит достойным господином с бакенбардами и, опять-таки, с чертами твердого, но благородного характера. Действительно, отец и сын (Карл Витгенштейн) были во многом похожи друг на друга. Жену Германа Христиана звали Фанни Фигдор, а познакомил их брат Фанни Густав. Семья Фанни жила в Вене, но когда Герман Христиан заключил с ней брак, они переехали в Лейпциг. У них было десять детей. Карл родился в 1847 году и умер в 1913-м, дожив, таким образом, до 66 лет (Герман Христиан прожил 76 лет; Людвиг — 62 года).

Витгенштейны со стороны деда принадлежали к протестантской конфессии, что наложило определенный отпечаток на всю семью — моральная строгость, серьезность, честность, — однако была и католическая линия, которая шла от матери Витгенштейна Леопольдины Кальмус (Польди, как ее звали в семье).

Герман Христиан переехал с семьей в Вену в конце 1860-х годов.

В 1872 году Карл женился на Леопольдине Кальмус, которая, как пишут биографы, была «отчасти» еврейкой, то есть ее отец был евреем. Якоб Кальмус родился в Праге в 1814 году, а его жена была немка — Мария Сталлнер, о них мало что известно. Обе ветви предков Витгенштейна были необыкновенно одаренными, в частности, музыкально одаренными, но не только. Так, сам Герман Христиан составил антологию немецкой поэзии, а двоюродного брата своей жены, в будущем выдающегося скрипача, Йозефа Иоахима послал в обучение в Лейпциг к самому Феликсу Мендельсону-Бартольди. Его дочерей, тетушек Людвига, учила фортепианной игре Клара Шуман. Все члены семьи играли на каких-либо музыкальных инструментах, а дом Витгенштейнов в Вене при Карле стал настоящим артистическим салоном.

Говоря о характере Карла Витгенштейна, Браян МакГиннес в своей биографии Витгенштейна пишет следующее: «Что касается Карла, то его способности были не столь очевидны, как были очевидны его оригинальность и своенравность. Ему были свойственны шутки и подражания […]. Он оставался нетерпимым всю жизнь (так же как и его сын Людвиг — *В. Р.),* склонный прерывать серьезный разговор шуткой или анекдотом, разоблачающим чью-либо фальшь или притворство» [McGuinnes 1988: 39] (ср. концепцию анекдота и шутки в книге Зигмунда Фрейда «Остроумие и его отношение к бессознательному» *[Фрейд 1994],* Фрейда, который был младшим современником Карла и

старшим современником Людвига, Фрейда, к тому же жившего с ними в одном городе и дружившего с сестрой Людвига Маргарет Стонборо (фамилия ее мужа)).

Карл Витгенштейн был необычайно энергичным человеком. К началу века он сделал блестящую карьеру в области сталелитейной индустрии. Однако юность его была тяжелой из-за постоянных конфликтов с отцом. Герман Христиан тоже был человеком авторитарным. Когда Карл закончил школу, отец решил, что тот должен продолжать образование. Однако Карл не хотел этого. Он хотел жить настоящей жизнью. Кончилось тем, что в январе 1865 года 18-ти лет от роду он исчез из дома с 200 флоринами в кармане, которые дали ему сестры, и скрипкой, на которой он хорошо играл. Через два месяца он достал заграничный паспорт и уплыл на пароходе в Нью-Йорк уже фактически без гроша в кармане. Там он, как водится, работал официантом и скрипачом в ресторане. Потом Карл переехал в Вашингтон, стал владельцем бара и в ноябре в новой одежде вернулся в Нью-Йорк, написал несколько строк семье и еще год жил в Нью-Йорке, работая в основном преподавателем — обучал игре на скрипке и на трубе, латинскому и греческому языкам, математике и начертательной геометрии.

В начале 1867 года Карл вернулся домой. Несмотря на то, что он был при деньгах и при вещах, одна из его сестер вспоминала, что у Карла был вид человека, пережившего тяжелейший шок. В конце концов отец и сын помирились, и Карлу было разрешено учиться в Техническом институте. Последующие 20 лет венское общество было свидетелем его стремительной карьеры *[Janic-Toulmen 1973]*.

Удивительным образом история Карла повторилась с его старшим сыном Гансом, где уже Карл выступал в роли непреклонного отца-деспота. Ганс был чрезвычайно одаренным в музыкальном отношении юношей. Он виртуозно играл на нескольких инструментах. Однако отец возлагал на него как на старшего надежды в смысле продолжения бизнеса. Карл очень любил музыку, но полагал, что она не может стать предметом профессиональной ориентации серьезного человека. У Ганса были другие планы. В результате он поступил так же, как несколько десятилетий назад поступил сам Карл — сбежал в Америку. Но XX век — не XIX, и сын оказался слабее отца. Промыкавшись некоторое время, Ганс покончил с собой *[Janic-Toulmen 1973: 173]*. Это произошло в 1902-м году и было первым самоубийством в семье Витгенштейнов. Через год последовало второе.

Вернемся к Карлу Витгенштейну. К концу 1880-х годов он на

вершине своего бизнеса, контролирует практически всю сталелитейную индустрию австро-венгерской монархии.

В те же 1880-е годы Карл занялся писательской деятельностью, публикуя в газетах статьи на экономические и политические темы. В 1888 г. эти статьи вышли отдельной книгой: Карл Витгенштейн, «Политико-экономические сочинения». Это было за год до рождения Людвига Витгенштейна.

Семья Витгенштейнов жила в особняке на Аллеегассе, известном потом как Palais Wittgenstein (Дворец Витгенштейнов). Как утверждал впоследствии Витгенштейн, в доме стояло семь концертных роялей (биографы сомневаются в наличии такого количества роялей).

Дом на Аллеегассе был известнейшим в Вене культурно-музыкальным салоном. Сюда приходили великие люди из старшего поколения, среди них самый знаменитый — Иоганнес Брамс, который дружил с Карлом и Польди и даже свой последний визит перед смертью нанес именно им, старый слепой органист Йозеф Лабор, музыку которого так впоследствии ценил Витгенштейн (о Лаборе содержится ряд упоминаний в сборнике афоризмов Витгенштейна, известном по его английскому переводу: «Культура и ценность» *[Витгенштейн 1994d],* упоминавшийся уже нами знаменитый скрипач Иоахим, двоюродный брат матери Карла; из молодых — будущий гениальный музыкант XX века, пианист и дирижер Бруно Вальтер, великий виолончелист Пабло Казальс.

Карл музицировал на скрипке почти до самой смерти, ему аккомпанировала жена. В старости Карл был сентиментален, но сам подшучивал над слезами, выступавшими у него на глазах, когда он играл на скрипке. Во время болезни и перед самой смертью музыка продолжала быть ему необходимой — он слушал фортепьянную игру своей жены Польди.

Карл Витгенштейн умер от рака в 1913 году, пережив самоубийство двух сыновей, не дожив до трагедии Первой мировой войны и раскола Австро-Венгрии, до самоубийства третьего сына и до разделения своего капитала между оставшимися членами семьи согласно желанию его наследника — Людвига.

«Не дай Бог, если бы папа дожил до этого!» — говорили в таких случаях на Аллеегассе.

Для Леопольдины Витгенштейн, жены Карла и матери Людвига, музыка была главным в ее жизни, хотя по сравнению с мужем она была сделана «из совершенно другого теста». На фотографии видно худое, хрупкое, одухотворенное лицо. Правда, и для нее музыка не была профессией, она, например, никогда не

играла с симфоническим оркестром. Это было домашнее музицирование в духе XIX века. Под ее аккомпанемент играли сонаты и пели немецкие лендлеры ее муж и сыновья, а каждый значительный концерт знаменитого Венского филармонического оркестра подвергался на Аллеегассе тщательному и, вероятно, достаточно профессиональному анализу.

Леопольдина Кальмус была католичкой. Дети могли выбирать конфессию. В 1906 г. при поступлении в Realschuhle в Линце Людвиг выбрал католицизм — и не проиграл (см. раздел о самоубийстве).

В семье Польди называли ангелом. Фанни Фигдор, ее свекровь, говорила (или писала) ей: «Дорогая Польди, есть такое слово «слишком»: можно быть слишком хорошей, слишком самозабвенной» *[McGuinnes 1988:22]*.

Был ли Витгенштейн евреем?

Вопрос этот не является праздным хотя бы потому, что в разные периоды времени он беспокоил и самого Витгенштейна. Так, в 1906 году, когда он поступал в реальную школу в Линце, он записался католиком и скрывал свое еврейское происхождение из соображений «личной безопасности», так как в детстве Людвиг был чрезвычайно раним и, как мы увидим дальше, склонен к компромиссам. Приехав в Кембридж в конце 1920-х годов, он, как говорят биографы, «умолял своего кузена, жившего в Англии, ни при каких обстоятельствах не открывать тайны своего происхождения» *[Бартли 1994].* С другой стороны, Фаня Паскаль, его учительница по русскому языку, у которой он брал уроки в Кембридже в 1930-е годы перед поездкой в Россию, рассказывает, что Витгенштейн, который, по семейной традиции, время от времени испытывал потребность исповедоваться кому-то из близких людей (Фаня Паскаль, оставившая о Витгенштейне чрезвычайно интересные воспоминания *[Паскаль 1994],* несомненно, была его другом), в 1933 году, когда в Германии пришли в власти нацисты, рассказал ей на этой импровизированной исповеди, что он еврей, а после заявлял об этом и во всеуслышание. К тому времени у Витгенштейна выработался почти патологический культ честности и правды, независимо от того, приятной или нет она была. Известно также из многих источников, что когда коллеги, друзья и ученики после захвата немцами Австрии в 1938 году спрашивали его, что будет с его семьей, Витгенштейн со странной для еврея уверенностью говорил, что его семья занимает столь высокое положение в обществе, что гитлеровцы ее не тронут. И семью Витгенштейнов, то есть сестер и дядей, оставшихся в Вене, действительно не тронули, однако Маргарет Стонборо вспоминала, что они затребовали все семейные архивы и что в этих архивах никаких упоминаний о еврейском происхождении Витгенштейна не нашлось. По другой же версии, Герман Христиан Витгенштейн вовсе не был евреем, а напротив, был незаконным потомком Сайн-Витгенштейнов, то есть чрезвычайно родовитого — княжеского! — австро-венгерского рода.

> Еще большую путаницу, — пишет Уильям Бартли, — вносят некоторые члены семьи Сайн-Витгенштейнов, заявляющие о своей связи с семьей Людвига Витгенштейна. Нацистам не удалось установить происхождение Витгенштейнов из Вены, которых по

> Нюрнбергским законам в конце концов зачислили в разряд Mischlinge (неевреев, но «с примесью еврейской крови»). Поэтому нацисты не тронули ни имущества семьи, ни ее членов, остававшихся, как, например, сестра Витгенштейна Гермина (Мининг), на территории рейха в период второй мировой войны *[Бартли 1994: 269]*.

И далее Бартли, произведший специальные изыскания в этом вопросе, пишет:

> В 1935 году в Венский городской архив поступила на хранение родословная Витгенштейнов, составленная кем-то со стороны. В соответствии с этим документом (его как раз и использовали нацисты), Герман Христиан Витгенштейн является сыном некоего Хирша Витгенштейна, еврея из Билефельда. Однако тщательное изучение архивных источников Билефельда не подтвердило связи между Хиршем Витгенштейном и Германом Христианом Витгенштейном *[Бартли 1994: 269]*.

Согласно другой родословной, суть которой изложена в первом разделе этой книги, Герман Христиан происходит от еврея Мозеса Мейера из Корбаха. Однако и здесь подтвердить ничего нельзя, поскольку в 1938 году нацисты сожгли синагогу в Корбахе и все архивы немецкой общины были уничтожены.

Итак, ничего доказать нельзя, и это прекрасно.

Самое интересное, что даже если Витгенштейн «на три четверти еврей» (при том, что само это выражение по своей сути — расистское), то всё равно с точки зрения еврейской традиции решения этого вопроса Витгенштейн не является евреем. Согласно еврейской традиции, еврей тот, у кого мать еврейка. Мать Витгенштейна Леопольдина Кальмус не была еврейкой, так как евреем был лишь ее отец, Якоб Кальмус из Праги, а мать ее, Мария Сталлнер, была немкой. Но согласно европейской традиции, если по отцовской линии «все в порядке», то Витгенштейн, конечно, еврей. Так же, как Зигмунд Фрейд или Альберт Эйнштейн, два человека, которые вместе с Витгенштейном построили фундамент европейской культуры XX века. Но при этом Витгенштейн не интересовался иудейской традицией и не знал ее. Это был европейский философ, наследник идей Платона, Беркли, Юма, Канта, Киркегора, Шопенгауэра, Фреге и Рассела.

Братья и сестры

У Карла Витгенштейна было четверо сыновей и три дочери. Старшая дочь Гермина (или, как ее называли в доме, Мининг, в честь героини романа австрийского писателя XIX века Фрица Рейтера — благородной и добронравной девушки) в своих воспоминаниях о семье рассказывала, что в доме на Аллеегассе все дети были постоянно наэлектризованы, возбуждены и находились в состоянии напряженной эйфории, идущей от отца. Своими безграничными жизненными успехами и своей авторитарной витальностью Карл Витгенштейн подавлял всех в доме.

Карл Витгенштейн не любил споров между домашними, прерывая их шуткой или анекдотом. Споров не должно было быть в доме, где он был главным.

Для детей Карл был кем-то вроде ветхозаветного Бога, создателем всего мира вокруг — в сущности так оно и было — и всего лучшего в этом мире. В глазах его сыновей, весь мир, а не только сталелитейная промышленность, был создан Карлом Витгенштейном. Так он сумел себя поставить в своем доме. Карлу даже не приходило в голову, что дети могут стать не такими, как он сам, что у них могут быть их собственные склонности и таланты. Они должны были учиться с тем расчетом, чтобы, повзрослев, продолжать его *дело*. Музыка — это великолепно, без музыки невозможно жить и радоваться жизни, но делать из этого карьеру — как такое может вообще прийти в голову! В этом весь человек XIX века. В XX столетии успешный концертирующий музыкант непременно становился богатым. Можно сказать, что блистательная карьера таких, например, выдающихся музыкантов, как Артуро Тосканини, Отто Клемперер, Яша Хейфиц, Иегуди Менухин, Феруччо Бузони, Глен Гульд, — это характерная для XX века музыкальная карьера. В XIX-м мы можем назвать трех великих дирижеров — Гектора Берлиоза, Рихарда Вагнера и Ханса фон Бюлова (из которых только последний не был великим композитором и, в сущности, заложил основу исполнительского искусства как самостоятельной профессии и карьеры) — и трех великих пианистов — Ференца Листа, Николая Рубинштейна и Клару Вик.

Все биографы Людвига Витгенштейна утверждают, что его старший брат Ганс был музыкальный гений. В 9 лет он публично дебютировал игрой на скрипке в церкви Святого Петра. Он играл также на фортепиано и на органе. Удивительно, что детским прозвищем Ганса было «Эдип» (за много лет до опубликования

Фрейдом своей работы «Толкование сновидений» (1899), где впервые была вкратце изложена теория Эдипова комплекса *[Фрейд 1994a]*. Конечно, мы не располагаем здесь никакими достоверными фактами (если вообще можно говорить о достоверности применительно к фактам (ср. *[Витгенштейн 1994c; Руднев 1997b]*), но вполне можно себе представить, что Ганс ненавидел отца с его идеологией музыкального дилетантизма и продолжения семейного *дела* и тяготел к Польди, для которой музыка и все, что с нею было связано, составляло основу жизни.

Мы уже рассказывали в первом разделе этой главы о трагедии, которая привела к самоубийству Ганса в 1902 году. Мать не смогла уберечь своего первенца от смерти. Леопольдина Кальмус так же боялась своего мужа, как ее дети боялись своего отца. Это была одна из первых — если не первая — «эдипова семья» XX века. Но не следует все неудачи детей сваливать на родителей. Гермина Витгенштейн, например, считала, что, даже если бы Ганса оставили в покое, он все равно не был бы счастлив — слишком нервным он был, что, как она считала, сказывалось и в манере его музицирования. Гермина говорила также, что у ее братьев не было воли к жизни — *Lebenskraft, Lebenswille, Lebensgefühl* — как она по-разному называла это свойство, присущее безусловно ей самой *[Germina Wittgenstein 1981]*.

Через год после самоубийства Ганса второй брат Рудольф (Руди) отравился в Берлине. Этот эпизод был отражен в одной из берлинских газет, где говорилось, что Рудольф зашел в паб, заказал выпить себе и таперу, попросил его сыграть свою любимую песню «Я пропал» и под звуки мелодии принял цианистый калий *[Monk 1990: 12]*.

Этот мальчик был настолько болезненным, что, когда ему было семь лет и его повели в школу, то на собеседовании он был напуган всем происходящим, и учитель сказал, что мальчика надо показать психиатру. Руди запомнился его оставшимся в живых родственникам как юноша, имевший склонность к литературе и талант критика. Относительно его смерти существует несколько версий. По одной из них он был гомосексуалистом и страдал из-за этого (в одной из предсмертных записок он написал, что кончает собой из-за того, что умер его друг), согласно второй — у него была венерическая болезнь *[McGuinnnes 1988: 28]*. Скорее же всего, у такого болезненного, не приспособленного к жизни юноши просто не хватило душевных сил для самостоятельной жизни вдали от дома.

Третий сын Карла, Курт Витгенштейн, как считалось в семье, был не самым одаренным. Может быть поэтому он и выбрал карьеру военного, что, впрочем, тоже не уберегло его от

самоубийства. О Курте известно, что он, приходя домой из оперы, любил наигрывать на одном из «девяти роялей» запомнившиеся ему арии и дуэты.

Отец назначил его директором компании, но Курт не любил работу, хотя старательно ее выполнял. Две попытки жениться провалились (никто из молодых Витгенштейнов-мужчин, детей Карла, никогда не был женат). До начала войны Курт Витгенштейн был респектабельным, богатым и культурным холостяком, не имевшим никаких обязанностей. Пройдя всю войну, в 1918 году на итальянском фронте блестящий кавалерийский офицер Курт Витгенштейн на глазах своих солдат пустил себе пулю в лоб. И вновь версий много, а смерть одна. Может быть, он не хотел попасть в плен или окружение; может быть, солдаты отказывались воевать, поскольку участь всей войны была предрешена и уже ясно было, что побеждает Антанта.

У всех трех самоубийств, с виду таких разных, были поверхностные поводы и глубинные причины. По свидетельству сестер, и младшие братья Людвиг и Пауль все время (во всяком случае, до определенного периода) психологически были на волоске от смерти.

Слишком жесткие жизненные требования братья получили от отца: так или иначе изменить этот мир. Последнее оказалось по силам только Людвигу, от которого этого в меньшей степени ожидали.

С другой стороны, Леопольдина явно имела психотическую (маниакально-депрессивную) душевную конституцию, которую она генетически передала сыновьям.

Судьба подарила братьям Витгенштейнам авторитарного отца и болезненную дефензивную мать. Выжить при такой наследственности, причем в начале века, когда самоубийства учащаются по культурно-историческим причинам, таким хрупким юношам было действительно очень трудно.

Как пишет МакГиннес, «сыновья утратили маниакальную веру отца в то, что всего возможно добиться. Для их депрессивных натур любая неудача казалась катастрофой, шла ли речь о карьере, нравственном начале в жизни или о судьбе их Родины» *[McGuinnes 1988: 29]*.

Людвиг Витгенштейн был, пожалуй, единственным из сыновей, кто унаследовал убеждение отца, что добиваться должно всего, что тебе надобно, и приводил большинство из своих планов в исполнение. Витгенштейна, как писал Рассел в «Автобиографии», по впечатлениям от общения с ним в Кембридже в 1911–1912 годах, снедала «сатанинская гордыня». Недаром в одной из бесед с Друри Витгенштейн как-то сказал,

что, если бы ему пришлось встретить Бога, он немедленно вызвал бы Его на поединок.

Старшая сестра Людвига Термина, как можно уже догадаться, была самой сильной натурой из детей Карла. Она была реальным компаньоном отца в делах, помогала ему коллекционировать картины, ей он диктовал свою автобиографию, для нее построил загородное поместье Hochreit, куда семья любила приезжать летом. Фактически после смерти Карла в 1913 году Мининг стала главой семьи, так как Польди была на это явно не способна. Термина была хранительницей семейных традиций и никогда не была замужем. Das gnädige Fräulen (Достопочтимая барышня — здесь обыгрывается обычный речевой оборот — gnädige Frau — достопочтимая госпожа), так ее называли близкие. Ее жизнь была столь же гармоничной, как и жизнь старших Витгенштейнов.

Термина рисовала и писала картины, играла на фортепиано и организовывала музыкальные вечера. Во время Первой мировой войны она работала в госпитале (как Витгенштейн — во время второй). После войны она организовала детский приют.

Вторая сестра — Хелена (Ленка) была самым обыкновенным человеком из всей семьи: простая, живая и гармоничная натура. Ленка вышла замуж за чиновника из протестантской семьи — Макса Зальтцера. Жених был связан бизнесом со старшими Витгенштейнами, так что, возможно, это был брак по расчету. Как и все в семье, Ленка была музыкальной. В 1930-е годы она организовывала в Вене хоровые группы.

Маргарет (Гретль), следующая сестра — красавица, дружившая с Фрейдом. Портрет Маргарет кисти Густава Климта не нуждается в комментариях. Это для нее, для Гретль, Людвиг Витгенштейн, вернувшись из деревни и не зная куда себя девать, построил замечательный особняк в духе конструктивизма Адольфа Лооса. Это она, Гретль, играла решающую роль в его воспитании, как духовном, так и интеллектуальном. Это была яркая, увлекающаяся, чрезвычайно умная женщина. Она вышла замуж за англичанина Джерома Стонборо. У нее была страсть к новым идеям, будь то психоанализ, экспрессионизм или социализм. Так же, как и Термина, Гретль своей энергией походила на отца, но ее занимали не технические, а гуманитарные проблемы. «Человеческое, слишком человеческое!»

Пауль Витгенштейн — старший на два года брат и товарищ по играм Людвига — был, как вспоминал сам Витгенштейн, его полной противоположностью. Это был типичный австрийский буржуа-аристократ, если так можно выразиться. Подтянутый, как струны его рояля, по-видимому, чрезвычайно тщеславный (гордыня и тщеславие — совершенно разные свойства:

тщеславному человеку непременно нужен внешний успех; гордец может упиваться неуспехом). Для Пауля, как пишет Б. МакГиннесс, было важнее не то, чтобы его любили, а то, чтобы его уважали.

Пауль дебютировал как пианист-виртуоз в 1913 году. А через три года на фронте ему оторвало правую руку. Но это его не сломило. Он стал учиться играть одной левой рукой. Довоенная известность, с одной стороны, и экстравагантность ситуации, с другой — однорукий пианист — скорее способствовали его послевоенной карьере. Рихард Штраус и Морис Равель писали специально для Пауля Витгенштейна фортепианные произведения для левой руки. Например, знаменитый Концерт ре минор Равеля 1931 года. С ампутированной рукой Пауль занимался боксом.

Итак, после войны Пауль успешно продолжал карьеру концертирующего пианиста, но Людвиг осуждал его, считая, что публика приходит поглазеть на однорукого пианиста, а не слушать Равеля и Рихарда Штрауса. Да и сама манера игры Пауля раздражала Витгенштейна еще в юности. Однажды он рассказал Друри такой эпизод. Он находился в своей комнате на Аллеегассе, как вдруг в комнату ворвался Пауль с криком: «Я не могу играть, когда ты находишься в доме». Учитывая, что стены в Пале Витгенштейн были, скорее всего, толстыми и ничего не говорится о том, что комната Пауля была соседней, да он вообще мог играть на другом конце дома, на одном из легендарных девяти роялей, учитывая это, можно только удивляться той, как бы мы сейчас сказали, «тончайшей энергетике», которая была, по-видимому, свойственна обоим братьям. Недаром Витгенштейна считали потом не только создателем аналитической философии, но и великим мистиком XX века.

Люкерль

Людвиг Иосиф Иоганн Витгенштейн (детское прозвище — Люкерль или Люки) родился 26 апреля 1889 года. Этот мальчик, о котором через 100 лет будут писать тысячи статей и монографий (в 1989 году, как пишет Р. Монк, их насчитывалось 5868 *[Monk 1990: xvii]),* был слабого здоровья, чувствительный и робкий. В школе он был освобожден от занятий по гимнастике. До 14 лет его воспитывал дома целый штат учителей и нянек, но он был постоянно несчастлив. На него сильно подействовали суициды старших братьев, и он сам, по-видимому, всю жизнь страдал тяжелой эндогенной депрессией.

В поздние годы Витгенштейн рассматривал свое детство, подобно Святому Августину в «Исповеди», бичуя свои детские грехи и соблазны — лень, нетерпение, гордыню. Единственное, о чем он говорил с гордостью, это что он был окружен великой культурой Австро-Венгрии и впитывал ее.

Витгенштейн вспоминал:

> …я был усердным и в то же время слабохарактерным ребенком. Очень рано в своей жизни я осознал величайшую силу характера моего брата Пауля. Когда он прибаливал и уже выздоравливал и его спрашивали, не хочет ли он еще полежать в постели, он спокойно отвечал, что уж лучше он еще полежит, в то время как я в тех же обстоятельствах отвечал (что было неправдой), что я хочу вставать, потому что боялся дурного мнения взрослых о себе *[Monk 1990:35]*.
>
> Когда мне было 8 или 9 лет, я пережил опыт, который если и не был решающим в моей будущей жизни, то, по крайней мере, был в духе моего характера той поры. Как это произошло, я не помню. Вижу лишь себя стоящим у двери и размышляющим: «Зачем люди говорят правду, когда врать гораздо выгоднее?». И я ничего не мог понять в этом *[McGuinnes: 47]*.

В зрелые годы Витгенштейн был болезненно честным человеком. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними — говорили древние. Природа истины — одна из важнейших проблем его главного произведения — «Логико-философского трактата».

Учился Людвиг плохо и не имел склонностей ни к каким предметам, кроме техники. В семь лет он сконструировал

швейную машину из дерева и проволоки. Даже на фортепиано при всей его музыкальности ему было лень учиться. По-видимому, его занимало только то, что вызывало его непосредственный интерес, но не то, что от него требовали. Так, позже он самостоятельно научился играть на кларнете и умел совершенно удивительно свистеть — мог исполнить губами целое музыкальное произведение.

Однажды он сказал своему другу: «Неважно, что ты сделал, ты бы даже мог убить кого-то, важно, как ты говоришь об этом и говоришь ли вообще» *[McGuinnes]*. Фраза эта кажется странной и нуждается в комментарии. Ее ключевые слова — делать, убить, говорить. Здесь невольно вспоминается восточная философия дао и дзен, традиции, с которыми произведения Витгенштейна связывают типологически. В даосизме считается, что человек должен выполнять свое земное предназначение, каким бы оно ни было. Сходная доктрина развивается в философии санкхья, изложенной в «Бхагаватгите» — так называемая философия незаинтересованного действия. Человек должен делать то, что ему положено по его призванию, не размышляя о результатах. С другой стороны, в этой фразе несомненно выражено противопоставление того, о чем можно говорить, и того, о чем следует молчать, столь значимое для «Логико-философского трактата». *Как* говорить и говорить ли вообще — одна из основных этических проблем всей философии Витгенштейна.

На все сказанное определенный свет проливают сведения о том, что читал Людвиг. По его поздним признаниям, сделанным Малкольму и Друри, его любимыми произведениями художественной прозы были «Михаэль Кольхаас» Клейста и «Хаджи-Мурат» Л. Н. Толстого. Во имя высшего долга, внутреннего императива, защищая свое достоинство, герои этих произведений идут на все, даже если их ждет насильственная смерть. Если бы Витгенштейн любил литературу XX века, ему несомненно был бы близок «Посторонний» Камю, но Витгенштейн не любил культуру XX века, и даже неизвестно, читал ли он Камю.

Итак, ранняя, совсем ранняя отроческая и юношеская философия Витгенштейна — это героический романтизм. Не надо думать, что романтизм — это возвышенные речи, «высокое и прекрасное», по выражению героя «Записок из подполья» Достоевского. Романтизм — чрезвычайно жестокая идеология, выросшая на насилии Великой французской революции как реакция на нее. Главное в идеологии романтизма — это культ индивидуализма и разорванных связей между человеком и обществом *[Лотман 1972]*. Это очень мрачная идеология. Ее

достаточно адекватно описал Бертран Рассел в главе «Байрон» в своей «Истории западной философии» *[Рассел 1994]*.

«Романтическим, слишком романтическим» был ранний круг чтения Витгенштейна. Он высоко ценил Гете, Шиллера, Мерике, бесконечно почитал Бетховена как культурный романтический тип, ценил Ницше, хотя и говорил о нем, что это более поэт, нежели философ. Первой философской книгой, с которой его познакомила Гретль, была «Мир как воля и представление» Шопенгауэра. Шопенгауэр оказал влияние на общефилософские разделы его «Тетрадей 1914–1916». О своем современнике Освальде Шпенглере и его книге «Закат Европы» Витгенштейн отзывался достаточно высоко, но как-то сказал Друри, что, если бы Шпенглер имел мужество написать маленькую книгу, то это могла бы быть великая книга (аллюзия на «Логико-философский трактат» достаточно прозрачна — известно, что Витгенштейн умер не от скромности, а от рака предстательной железы).

Витгенштейн чрезвычайно любил и ценил свою родную и опять-таки сугубо романтическую австрийскую литературу — Грильпарцера, Нестроя, из которого он взял эпиграф к «Трактату», Ленау. Для него «Фауст» Ленау был католической альтернативой протестантскому «Фаусту» Гете. У Ленау силы зла побеждают (опять-таки, если бы Витгенштейн читал литературу XX века, на него должен был бы произвести впечатление «Доктор Фаустус» Томаса Манна).

Выше всех Витгенштейн ставил Шекспира, Л. Н. Толстого и Достоевского.

Из современников Витгенштейн ценил Гуго Гофмансталя и Георга Тракля. Говорят, что Витгенштейн любил цитировать строки из Гофмансталя:

> Человек должен вести себя безупречно,
> Ибо рано или поздно ему придется расплачиваться за все.

Из венской литературной элиты он ценил только Карла Крауса и Фрица Маутнера.

В целом же Витгенштейну была чужда австро-венгерская литература. Он не читал даже чрезвычайно близкого ему по идеологическим установкам «Человека без свойств» Музиля и вряд ли читал Майринка.

Георг фон Вригт считает, что большое влияние на стиль «Трактата» оказал немецкий философ XVII века Георг Лихтенберг, оставивший книгу замечательных философских афоризмов.

В науке для него наиболее значительными фигурами были Генрих Герц, создатель теории моделей, использованной им

потом в «Трактате», и великий физик Людвиг Больцман. Закончив школу в Линце, Витгенштейн собирался учиться у Больцмана, но как раз в 1906 году Больцман покончил с собой. Странная это была история: еще в конце XIX века в «Лекциях по теории газов» Больцман, создатель статистической термодинамики, объясняя тот факт, что в закрытых системах хаос сам собой не может превращаться в космос, энтропия — в информацию, пояснял это следующим примером: вероятность этого равна тому, что в один прекрасный день жители большого города одновременно покончат жизнь самоубийством *[Больцман 1956]*. Как говорят в России, «накаркал».

В соответствии с общим мнением, Витгенштейн не был ни философски, ни светски образованным человеком, подобно своему старшему современнику Фрейду, который любил говорить, что если бы он прочитал многое из того, чего он не удосужился прочесть, он не создал бы психоанализа.

Одним из наиболее важных героев юности Витгенштейна был австрийский философ Отто Вайнингер, автор книги «Пол и характер», вышедшей в свет в 1903 году. В ней автор делит весь род людской на позитивный мужской характер и негативный женский. Вайнингер считал, что в каждом человеке есть женское и мужское начала (анима и анимус в более поздней терминологии Юнга). Будучи сам евреем (все негативное в культуре он отождествлял с женско-еврейским началом) и гомосексуалистом, то есть, по его же терминологии, личностью с преобладающим женским началом, Вайнингер после выхода своей книги вскоре покончил с собой: 4 октября 1903 года его тело нашли на пороге дома, в котором умер Бетховен *[Monk 1990: 19]*. Для Витгенштейна была значимой следующая цитата из Вайнингера:

> Высшее выражение любой морали — это Быть!
>
> Дайте человеку действовать так, чтобы его индивидуальность реализовалась в каждый момент его жизни.

Как у Вайнингера, у Витгенштейна слово не расходилось с делом. Вайнингер, поняв, что не может реализовать собственные этические принципы, опубликовав свою книгу, ушел из жизни. Витгенштейн, реализовав последний тезис «Трактата» — «о чем невозможно говорить, о том следует молчать», ушел из философии.

Слава Богу, что только из философии и только на время — на 10 лет; сколько вокруг было более соблазнительных страшных примеров, мы уже видели из предшествующего изложения.

Но вернемся непосредственно к детству Витгенштейна. В конце концов Людвиг и Пауль так избездельничались, что один из учителей доложил об этом отцу, и тогда мальчиков решили разделить и послать в нормальное обучение. Пауль был отправлен в классическую гимназию в Вене, а Людвига, как имевшего меньше способностей гуманитарного характера, но зато явно тяготевшего к технике, послали учиться в реальную школу (Realschuhle) в Линц.

Почему Витгенштейн не покончил с собой?

Закономерность этого вопроса в свете событий, рассказанных нами в предыдущем разделе, кажется очевидной. Трое братьев Витгенштейна покончили с собой при различных обстоятельствах, но ясно, что в поколении младших Витгенштейнов был устойчивый суицидальный «вирус», связанный, по-видимому, не только с авторитарностью отца, но и с психической хрупкостью, унаследованной со стороны матери. Этот вирус не коснулся сестер Людвига, но большая витальность женщин и их меньшая склонность к самоубийству была статистически доказана уже Эмилем Дюркгеймом.

Однако на протяжении всей жизни, в письмах и разговорах с друзьями, — Энгельманном, Леви, Друри, Малкольмом — Витгенштейн часто говорил о двух вещах: о том, что он боится сойти с ума (в старости это сменилось боязнью интеллектуального творческого бесплодия; «Оно пришло!» — с ужасом говорил он в таких случаях), и о том, что в первую половину своей жизни он почти постоянно находился на волоске от самоубийства. Так, в письме Энгельманну он писал, что пошел на фронт в 1914 году для того, чтобы умереть, настолько его жизнь была невыносимой; напомним, что он в первый период жизни страдал тяжелой депрессией.

С юности Витгенштейн готовился к смерти, но все же он избежал самоубийства и прожил полноценную творческую жизнь, полную неожиданных событий и интеллектуальных поворотов. Именно на эти события и повороты стоит посмотреть под углом зрения того, как Витгенштейн единоборствовал со смертью и как он ее побеждал.

Обратимся к Дюркгейму, старшему современнику Витгенштейна, одному из основоположников социологии и, в частности, социологии самоубийства. Среди огромного количества аргументов, способствующих самоубийству и предохраняющих от него, которые представлены в книге Дюркгейма, семь тезисов чрезвычайно подходят к случаю Витгенштейна.

1. Так, Дюркгейм пишет, что среди всех европейских наций, которые он подверг статистическому исследованию, «одни только немцы имеют интенсивную наклонность к самоубийству, но *они теряют ее вне пределов Германии* (курсив мой — *В. Р.*)» *[Дюркгейм 1994: 393]*. Если рассматривать прусаков и австрийцев как один суперэтнос — в смысле Л. Н. Гумилева *[Гумилев 1990],* — то этот тезис применим к случаю Витгенштейна, тем более что, помимо

процитированного выше фрагмента, Дюркгейм пишет, что, как и все столицы, «Вена […] насчитывает огромное число самоубийств» [Дюркгейм: *127]*.

В этом смысле переезд Витгенштейна в Англию (сначала в Манчестер в 1906 году, затем в Кембридж в 1911 году и окончательно в Кембридж в 1929 году), страну, имеющую больший иммунитет к самоубийствам, из утонченно-болезненной среды своих родственников в общество здоровых интеллектуалов — Бертрана Рассела, Джорджа Эдварда Мура, Джона Мейнарда Кейнса, от несомненно тяготивших его самоубийств братьев и близких по духу людей, прежде всего философа Отто Вайнингера и физика Людвига Больцмана, сыграл решающую роль в его душевном выздоровлении и духовном обогащении.

2. Следующий тезис Дюркгейма: «Общее повышение процента самоубийств вызывает протестантизм […], иммунитет католиков […] зависит от того, что им в меньшей степени свойственен религиозный индивидуализм и вследствие этого католическая церковь является более сплоченной» [Дюркгейм: *393]*. Протестантизм дает большую свободу личности делать выбор, а стало быть, и распоряжаться и своей жизнью, и смертью. Соответственно протестантская церковь более лояльно относится к самоубийству, нежели католическая *[Дюркгейм: 128]*.

То, что этот тезис имеет непосредственное отношение к Витгенштейну, не вызывает сомнения. На трех старших сыновей сильнее влиял протестант-отец, а на младших «выживших», Пауля и Людвига, — католичка-мать. Возможно, из бессознательного (кстати, это слово тогда было уже несколько лет в ходу в Вене) чувства самосохранения Витгенштейн, поступая в реальную школу в Линце, «записался» католиком.

3. Третий тезис Дюркгейма состоит в том, что число самоубийств возрастает с ослаблением связи между индивидом и обществом и, соответственно, vice versa. Одиночество Витгенштейна в детстве и юности, о котором мы уже говорили, несомненно толкало его слабую и хрупкую депрессивную натуру к самоубийству. К этому еще примешивается то специфическое чувство изгоя, которое, вероятно, еще испытывал в начале XX века любой гомосексуалист (тогда ведь проблема сексуальных меньшинств еще не была поставлена, и у моносексуалов, которых среди тогдашней венской культурной элиты было очень много, тот же Отто Вайнингер, Густав Малер, Бруно Вальтер, — и это все люди небезразличные Витгенштейну — не было своего сообщества, и они не могли защищать своих прав).

В этом смысле, занимая по своему рождению исключительное положение в обществе, Витгенштейн предпринял ряд смелых

попыток, чтобы уйти из этого оказавшегося ему чуждым общества и вписаться в иные *формы жизни.* И отъезд в Англию, где он стал общаться с равными ему по интеллекту и интересам людьми, и решение идти на фронт, где он общался с солдатами и офицерами, а в плену нашел земляков и, между прочим, практически именно в плену написал «Логико-философский трактат»… Все это были удачные попытки «прорыва» (термин героя романа Томаса Манна «Доктор Фаустус») к людям. И хотя Витгенштейн ругал своих деревенских соседей в письмах к Расселу и почти ни одного доброго слова не сказал о приютивших его Кембриджских профессорах (Мур, Кейнс, Сраффа (с Расселом было сложнее), конечно, — исключения) — именно эти *формы жизни* придавали его жизни смысл.

4. Следующая проблема — самоубийство и богатство. «Бедность предохраняет от самоубийства, — пишет Дюркгейм, — потому что сама по себе она служит уздой […]. Напротив, богатство дает нам иллюзию, будто мы зависим от самих себя» *[Дюркгейм: 239]*. Как мы знаем, первое десятилетие своей жизни Витгенштейн жил в роскоши. Ни на Аллеегассе, ни в Манчестере, ни в Кембридже 1911–1913 годов он ни в чем не нуждался. Когда отец умер, то Людвиг должен был стать законным наследником огромного имущества. Однако он отказался от наследства в пользу семьи. Сознательная мотивация этого поступка была традиционной: философ не должен обременять себя имуществом. К тому же Витгенштейн был толстовцем и, как всякий ученик (к тому же немец), превзошел своего учителя. Если для Толстого провозглашение своей бедности было, в общем, знаковым жестом — он продолжал жить в Ясной Поляне «на всем готовом» несколько десятилетий, — то Витгенштейн поступил иначе. Он *на самом деле* лишил себя каких бы то ни было денег и был *вынужден* искать себе работу. Весьма вероятно, что бессознательная мотивация как раз и состояла в том, чтобы «надеть на себя узду», чтобы вместо того, чтобы думать все время о себе, начать думать о хлебе насущном. С 1919 года до самой смерти Витгенштейн сам зарабатывал себе на хлеб и жил аскетически. Это был конструктивный путь от смерти к жизни.

5. Следующий тезис связан с идеей Дюркгейма о том, что число самоубийств возрастает вместе с эпохой упадка нации. Тот факт, что Австро-Венгрия первых десяти лет XX века стремительно разрушалась, не нуждается в доказательстве (см. *[Janic-Toulmen 1973]).* Что же сделал Витгенштейн? Начиная с 1909 года он стремился уехать из Австро-Венгрии. Сначала в Манчестер, потом в Кембридж, затем в Норвегию, а в 1914 — на восточный фронт. В 1921 году — уже из Австрийской республики,

но из хранительницы старых ценностей столицы бывшей империи Вены, — в глухие альпийские деревни. Характерно, что в 1926 году, когда он вернулся в Вену, он долго не мог устроить свою жизнь и в 1929 году навсегда уехал в Кембридж. Опять-таки, бессознательное чутье подсказало Витгенштейну, что жить надо там, где живут, а не там, где умирают.

6. Следующий (шпенглерианский) тезис Дюркгейма, который подходит к ситуации Витгенштейна, состоит в том, что увеличение числа самоубийств в европейских государствах соответствует патологическому состоянию европейского общества. Мы не знаем, читал ли Витгенштейн Дюркгейма, но он вместе со Шпенглером, которого достаточно высоко ставил, полностью разделял тезис, что XX век — это вырождение европейской культуры. Он критиковал модернизм, совершенно не интересовался современной ему литературой, не говоря уже о музыке.

Витгенштейн четко и последовательно дистанцировался от культуры XX века. Великий новатор философии XX столетия был консерватором (подробнее см. *[Nyri 1981])*. Он как будто все время говорил себе: «Я не принадлежу к этой культуре, мои ценности — это ценности XIX века». И это тоже был бессознательный «оберег» против суицида.

7. И, наконец, последний тезис Дюркгейма о том, что число самоубийств уменьшается в профессиональной корпоративной группе, также подходит к Витгенштейну. Как ни ругал он кембриджских профессоров, он был членом этой корпорации около тридцати лет, пока не вышел на пенсию в 1949 году. Умер Витгенштейн в 1951 году, прожив 62 года.

Прусская столица и британская провинция

О школе в Линце, в которой Витгенштейн страдал от одиночества и от отсутствия привычных венских условий жизни, известно, что там царил дух прусского национализма. Адольф Гитлер, который учился там одновременно с Витгенштейном, свидетельствовал, что в школе был некий учитель, который любил поговорить о вырождении династии Габсбургов и о превосходстве арийской расы. По-видимому, здесь Витгенштейну приходилось скрывать свое еврейское происхождение; другой учитель проповедовал идеи Тевтонского ордена *[McGuinnes 1988],* сообщества, сатанинского в своей основе *[Frer 1972]*.

Учеба осложнялась тем, что Витгенштейн плохо говорил, он вообще чуть ли не до четырех лет не начинал говорить. Речевые дефекты (заикание) оставались до того, как он в 1908 году приехал в Манчестер и заговорил по-английски.

Людвиг закончил школу в Линце в 1906 году. В зрелые годы он говорил фон Вригту, а в молодые годы Пинсенту, что постоянно, вплоть до приезда в Кембридж, чувствовал себя несчастным. МакГиннес справедливо связывает это с мучительными поисками Витгенштейном своего призвания. Окончание школы в Линце не давало права поступления в университет, и Витгенштейн поступил в Высшую техническую школу в Шарлоттенбурге под Берлином. В семье профессора Йоллеса, у которого он жил в Берлине, его называли der Kleine Wittgenstein и, по-видимому, особенно не принимали всерьез, хотя, как мы увидим ниже, любили.

В октябре 1906 года он был зачислен студентом по инженерно-механическому факультету (Mashinen-Ingeneurwessen). Он проучился в Шарлоттенбурге три семестра и получил сертификат, дающий право поступления в университет.

В Берлине Людвиг активно посещал оперу. По его словам, он ходил на спектакль «Нюрнбергские Мейстерзингеры» тридцать раз. Удивляет здесь не число раз (мы уже привыкли, что Витгенштейн в своих воспоминаниях склонен к преувеличениям; с другой стороны, для такого необычного человека все это было вполне возможно — Фаня Паскаль, например, учившая его в Кембридже русскому языку, утверждала в своих воспоминаниях, что видела том «Преступления и наказания» Достоевского, где рукой Витгенштейна были проставлены ударения в каждом слове *[Паскаль 1994]*. Но почему выбраны были именно «Мейстерзингеры»? Не романтический «Тристан», не героический и в то же время меланхоличный «Парсифаль»?

«Мейстерзингеры» — единственная опера Вагнера, построенная на бытовом сюжете, где не происходит ничего ужасного (почти opera buffa). Здесь соревнуются певцы: кто лучше споет, тот получит в жены девушку. Когда неопытный певец фальшивит, ментор стучит палкой по полу. Привлекала ли здесь Витгенштейна идея мастерства, легкая интрига или просто прекрасная музыка? Мы этого не знаем. Возможно, сказалось и то, что «Мейстерзингеры» — единственная «моцартианская» из зрелых опер Вагнера, одного из создателей нового музыкального языка, а Витгенштейн был в музыке, как и почти во всем другом, закоренелым консерватором.

Между тем, в Берлине, в семье профессора Йоллеса, где квартировал Людвиг, происходили какие-то важные события, о которых мы, возможно, ничего не узнали бы, не получи Витгенштейн через 22 года, в сентябре 1930-го, следующее письмо (из Берлина в Кембридж) от жены профессора Йоллеса:

> Дорогой господин Витгенштейн,
>
> Как долго — как ужасно долго — как ужасно много времени прошло с тех пор, как я писала Вам. Вероятно, в последний раз это было после случившегося несчастья. И я знаю — Вы вовсе не будете рады, получив мое письмо. Я как будто вижу ваше смущенное лицо в Вене. «Что я могу сделать на земле для этих бедных иностранцев?» — эти «отрывки», возможно — «как мне забыть?». Теперь я несколько недель боролась с собой, с непреодолимым желанием написать Вам. Как я могу обратить на себя его внимание, когда он, вероятно, безвозвратно бросил нас, старых друзей? Все равно, это неправильно, Это какое-то извращение — мне писать Вам. Но, Господи Боже, у Вас свой собственный путь — и это Ваше дело. Почему я должна играть по Вашим правилам, даже если это означает, что я должна на мгновение высунуть голову из-за укрытия? Так мило было это предназначенное мне Ваше «С меня довольно!», даже если моя гордость должна будет претерпеть еще одно унижение. Много еще времени пройдет, прежде чем будет это окончательное «С меня довольно», и это будет слишком поздно для того, чтобы писать или не писать и гордость моя пусть станет пищей червям. — Но довольно вступлений. Итак, мы вновь приехали в первый раз за много лет на научный конгресс в Кенигсберге[1]. Там я встретила много венцев из нашего ученого братства и таким образом обнаружила, что наш старый друг, наш «экс-

друг», было бы более грубым, но более точным выражением, — «маленький Витгенштейн» стал в конце концов чем-то значительно большим, чем деревенский учитель, и здесь о нем очень высокого мнения. И вот, важно это для Вас, или безразлично, или даже неприятно, я *должна* рассказать Вам, как исключительно, в самом деле, исключительно приятно мне было все это слышать. Ведь в конце концов я верила в Вас, когда Ваши прожекты — как бы назвать их точнее? — были так изменчивы, и было вовсе не так ясно, где Ваши 'лестницы' поднимут Вас. Я могла бы с легкостью представить Вам популярную корреспонденцию, где вы писали мне однажды целый год и рассказывали мне о тех оскорблениях или тех обстоятельствах («С меня довольно»), о которых я уже упоминала и на которых Вы настаивали. Но я не могу справиться с собой, и я позволила себе давным-давно сжечь Ваши письма и рассеять пепел по ветру. Вот так-то. Для моего мужа, который относился к Вам, как отец, и вы это знаете, Вы были горьким разочарованием. Для него — но не для меня. Действительно, Вы всегда будете принадлежать к тем немногим ярким воспоминаниям, которые я сохранила в жизни; что говорить, к Вам теперешнему это не относится (и для Вас это тоже не так), но тот, маленький Витгенштейн, и тот дорогой человек, о котором Вы едва ли захотите узнать побольше.

Я не знаю сегодняшнего Витгенштейна. Преданность, может быть, потеряла свое непостоянство. Я прекрасно все это понимаю, но все это болезнь, от которой я страдаю. Но я действительно не двигаюсь вперед, а застряла в арьергарде. — Ну вот, это все. И ничего не изменилось. В соседней комнате моя кузина Маргарита Е., известная пианистка, которая живет вместе с нами, играет си-минорный концерт Брамса. О, Боже, как с тех пор изменились времена. — (Помните, как мы играли его в три руки?). Жизнь тяжела… (цит. по *[McGuinnes 1988: 48–50]).*

Витгенштейн хранил среди своих бумаг карандашный черновик ответа. В своем ответе он писал, что ему приятно ее письмо, что ему наплевать на то, что о нем думают в Кенигсберге профессора математики и философии, что он знает, что раздражал ее мужа, но это не его вина, так как он раздражает

многих людей (он просит прощения у них). В ее письме Витгенштейну понравилось ее суждение о том, что у него свой путь и это его дело, но что она должна играть по своим правилам. И, наконец, слова о том, что жизнь трудна (или тяжела?). Это тот тон, писал Витгенштейн, который он понимает.

В 1934 году Витгенштейн получил письмо от фрау Йоссель с предложением о встрече в Берлине. Встреча эта не состоялась.

В 1908 году Витгенштейн отправляется в Англию. У него уже много планов и технических проектов. В Манчестере он знакомится со знаменитым математиком Дж. Литтлвудом — знакомство было продолжено в Кембридже.

В те времена именно в Манчестере Резерфорд трудился над созданием модели атома. Но Витгенштейна не интересовала современная физика. Летом 1908 года он прибыл на исследовательскую станцию в Глоссоп. Там занимались тем, что запускали воздушных змеев. Это были первые шаги теоретический аэронавтики. Позже Витгенштейн говорил фон Вригту, что несмотря на то, что его интересовала преимущественно математическая сторона дела, он сконструировал в Манчестере модель будущего пропеллера *[Вригт 1994: 6]* — не больше и не меньше.

В Манчестере Витгенштейн нашел первого друга. Уильям Экклз был четырьмя годами старше его. Это был квалифицированный инженер. Они с удовольствием обсуждали технические проблемы. Возможно, именно Экклз был первым человеком, выведшим Витгенштейна из депрессии. С Экклзом они переписывались вплоть до Второй мировой войны *[Fann 1967]*.

Витгенштейн был сам в состоянии финансировать свои эксперименты. По свидетельству того же Экклза, Витгенштейн тратил 5 тысяч фунтов в год, по тем временам огромную сумму. Витгенштейн мечтал быть авиатором, летающим на аэроплане собственной конструкции. Однако математическая сторона дела интересовала его все больше и больше. По совету Литтлвуда он прочитал книгу Рассела «Основания математики». Рассел в это время был в зените славы. Вместе с Альфредом Нортом Уайтхедом он трудился над трехтомным трудом «Principia Mathematica».

В 1911 году Витгенштейн приехал в Кембридж учиться математике и логике у Рассела. Началась совершенно новая пора в его жизни.

Первое рассуждение о формах жизни

Русский философ М. М. Бахтин был современником Витгенштейна, он родился на шесть лет позже его (в 1895 году). Независимо от Витгенштейна (и даже раньше него) Бахтин разработал теорию речевых жанров, чрезвычайно напоминающую витгенштейновскую теорию языковых игр (форм жизни). Трудно сказать, знал ли Витгенштейн о бахтинской теории; скорее всего, не знал, хотя — и, если вдуматься, это довольно поразительное совпадение, — в Лондоне Витгенштейн дружил с родным братом русского философа — Николаем Михайловичем Бахтиным, искусствоведом, преподавателем Лондонского университета. Вообще отношения Витгенштейна с Россией — совершенно особая тема. Мы же сейчас говорим о *формах жизни* (хотя отношения с Россией — это, безусловно, тоже одна из *форм жизни)*. Что же такое *форма жизни* по Витгенштейну? Главный тезис *всей* философии Витгенштейна заключается в том, что жизни вне языка, за пределами языка не существует. «Границы моего мира означают границы моего языка» — один из ключевых афоризмов «Логико-философского трактата» *[Витгенштейн 1958],* или, в нашем переводе, «Границы моего мира проходят по границам моей речи».

В этой книге слова *язык, речь, речевая деятельность* будут наиболее часто встречающимися. Поэтому мы объясним здесь в общих чертах, что они означают в общепринятом структуралистском (невитгенштейновском) контексте.

Противопоставление языка и речи ввел в европейскую лингвистику основоположник структурализма Фердинанд де Соссюр *[Соссюр 1977]*. Язык — система знаков, речь — реализация этой системы на практике; речевая деятельность (Соссюр употреблял слово langage; русский термин предложил в 1930-годы ленинградский лингвист академик Щерба *[Щерба 1965])* — это речь в ее конкретном воплощении, когда в наличии говорящий и слушающий или несколько слушающих, каждый из которых может воспринимать одну и ту же речь по-разному.

Здесь необходимо также отметить, что Соссюр разработал не только структурную лингвистику, но и заложил основы семиотики — общей теории знаков и знаковых систем (наиболее адекватное представление об этой специфической дисциплине XX века дают книги *[Семиотика 1983, Степанов 1972, Степанов 1985]*. Семиотика имеет три раздела: синтаксис, изучающий систему знаков в их взаимоотношении друг с другом (в сущности, это и есть *язык* в соссюровском понимании); семантику,

изучающую знаки в их отношении к реальности (в сущности, это и есть речь, как ее понимал Соссюр) и прагматику, то есть речь в ее конкретном жизненном воплощении (это и есть речевая деятельность) (данные три раздела семиотики разграничил Чарльз Моррис *[Моррис 1983])*.

Надо сказать, что Витгенштейн, скорее всего, ничего этого не знал. Мы не встретим в его записях имен Соссюра, Якобсона, Ельмслева, Блумфильда, Уорфа — великих лингвистов XX века. В лучшем случае он знал, что существует какая-то там структурная лингвистика.

Витгенштейн жил своей жизнью, играл в свои языковые игры.

Термин *языковая игра* принадлежит позднему Витгенштейну. Он появляется в знаменитом § 23 «Философских исследований»:

> Термин «языковая *игра»* призван подчеркнуть, что *говорить* на языке — компонент деятельности или форма жизни.
>
> Представь себе многообразие языковых игр на таких вот и других примерах:
>
> Отдавать приказы или выполнять их —
>
> Описывать внешний вид объекта или его размеры —
>
> Изготавливать объект по его описанию (чертежу) —
>
> Информировать о событии —
>
> Размышлять о событии —
>
> Выдвигать и проверять гипотезу —
>
> Представлять результаты некоторого эксперимента в таблицах и диаграммах —
>
> Сочинять рассказ и читать его —
>
> Играть в театре —
>
> Распевать хороводные песни —
>
> Разгадывать загадки —
>
> Острить; рассказывать забавные истории —
>
> Решать арифметические задачи —
>
> Переводить с одного языка на другой —
>
> Просить, благодарить, проклинать, приветствовать, молить
>
> *[Витгенштейн 1994: 90]*.

Теперь сравним это с тем, что писал о речевых жанрах М. М. Бахтин буквально через год после смерти Витгенштейна:

> … к речевым жанрам мы должны отнести и короткие реплики бытового диалога […], и бытовой рассказ, и письмо […], и короткую стандартную военную команду

(! — *В.Р.*), и развернутый детализированный приказ, и довольно пестрый репертуар деловых документов […], и разнообразный мир политических выступлений […], и многообразные формы научных выступлений, и все научные жанры (от поговорки до романа) *[Бахтин 1979: 237–238]*.

Бахтин не делает последнего шага, он не говорит, что жанры это и есть сама жизнь. Витгенштейн делает этот шаг:

> Приказывать, спрашивать, расспрашивать, болтать — в той же мере часть нашей естественной жизни, — что и ходить, есть, пить, играть [*Wittgenstein 1967: 25]*

Можно сказать, и это не будет никаким преувеличением, что жизнь и язык, в частности — язык в его эстетической функции (термин Яна Мукаржовского *[Мукаржовский 1975]*) — это просто разные языковые игры, как, например, футбол и шахматы. Поэтому применительно к жизни, к реальности, о которой мы очень мало знаем (Ю. М. Лотман писал, что знать, что такое реальность — это значит, во-первых, «знать, как она устроена, во-вторых, знать, чему она служит, в-третьих, знать, что с ней будет в ближайшем будущем. Ни на один из этих вопросов относительно жизни мы ответить не можем» *[Лотман — Цивьян 1994:* 7]), закономерно использовать понятия, которые мы используем применительно к литературе. То есть, прежде всего — *сюжет, стиль* и *жанр*. Это хорошо понимали русские ученые 1920-х годов — формалисты, как их называли их противники марристы (ученики академика Н. Я. Марра, автора скандального «нового учения о языке», гениального ученого-авангардиста. Прежде всего это Ольга Михайловна Фрейденберг, книга которой «Поэтика сюжета и жанра» изданная впервые в 1937 году и переизданная в 1997-м, до сих пор поражает своей близостью к идеям языковых игр и форм жизни *[Фрейденберг 1997]*). И наконец, русский структурализм, преимущественно в лице своего лидера Ю. М. Лотмана, в 1970-е годы независимо от Витгенштейна думал во многом сходным образом. Ю. М. Лотман писал об этом так:

> Бытовое поведение приобретает законченную осмысленность лишь в той мере, в какой отдельной цепочке поступков на уровне реальности может быть сопоставлена последовательность действий, имеющая единое значение, законченность и выступающая на уровне кодирования как некоторый обобщенный знак

> ситуации, последовательности поступков и их результатов, то есть *сюжет*. Наличие в сознании определенного коллектива некоторой суммы сюжетов позволяет кодировать реальное поведение, относя его к значимому или незначимому и приписывая ему то или иное значение единицы знакового поведения: жест и поступок, как правило, получают теперь свою семантику и стилистику не изолированно, а в соотнесенности к категориям более высокого уровня: *сюжету, стилю* и *жанру [Лотман 1977: 81]* (курсив мой — *В. Р.)*.

Но и Лотман не делает последнего шага, оставляя, так сказать, лазейку для материализма. Для него жизнь делится на культуру и некультуру, он не хочет понимать, что природа это тоже культура. Витгенштейн, конечно, понимал это. В начале 1980-х годов Лотман ввел понятие семиосферы, которое, казалось, сближало культуру и природу; во всяком случае, образ «семиотического пространства», которое живописует Ю. М. Лотман, безусловно впечатляет. Вот что он пишет в книге «Внутри мыслящих миров»:

> Представим себе в качестве некоего единого мира […] зал музея, где в разных витринах выставлены экспонаты разных эпох, надписи на известных и неизвестных языках [..], схемы маршрутов экскурсий и правила поведения посетителей. Поместим в этот зал еще экскурсоводов и посетителей и представим себе это все как единый механизм […]. Мы получим образ семиосферы *[Лотман 1996:168]*.

Я бы сказал: мы получим образ реальности.

Итак, в каких же формах жизни пребывал юный Витгенштейн, в какие языковые игры играл, какие речевые жанры ему были свойственны, и наконец, в какую семиосферу он был погружен?

Первой формой жизни, как и для любого другого человека, для Витгенштейна было детство, проходившее в атмосфере литературно-музыкального салона его родителей. По всей видимости, здесь царил дух непринужденности и искренности (это слово, вероятно, можно было бы начертать не фамильном гербе Витгенштейнов — если бы таковой имелся). Во всяком случае, гостиная на Аллеегассе совсем не походила на салон Анны Павловны Шерер, с эпизода в котором начинается роман Льва Толстого «Война и мир»: там царили фальшь и напряженность. Может быть именно поэтому Витгенштейн, относившийся к Толстому как к одному из своих духовных

учителей, роман «Война и мир» в своих записях не упоминает. Уж очень не похоже это начало на ту реальность, которая его окружала!

С другой стороны, можно предположить, что вечера в Пале Витгенштейн были окрашены грустью уходящей эпохи, последним живым символом которой был Иоганнес Брамс, и той напряженностью, которую создавали представители более молодого поколения экспрессионистов, музыкальным мэтром которых был Густав Малер (консервативный и необъективный Витгенштейн обожал Брамса и терпеть не мог Малера (см.: *[Витгенштейн 1994d]),* между тем как Малера называли Достоевским в музыке, а Достоевского Витгенштейн очень любил и ставил выше его, пожалуй, только Шекспира. Как мог Витгенштейн не чувствовать, что Достоевский — это такой же XX век, как и Малер!).

Между тем, в салоне Леопольдины Витгенштейн исполняли классическую музыку будущие великие музыкальные гении XX века, например, Бруно Вальтер и Пабло Казальс (о последнем Витгенштейн писал с симпатией *[Drury 1981]*). Знаменитые «девять роялей» недаром время от времени всплывали в поздних воспоминаниях Витгенштейна.

Музыкальная гостиная была основной формой жизни матери Витгенштейна — Польди. А поскольку человек она была меланхолического склада, то это добавляло, в общекультурной атмосфере пессимизма, индивидуальный облик хрупкому и несколько печальному витгенштейновскому салону, облик, который оживляли только анекдоты и шутки Карла Витгенштейна — когда он был жив, когда были живы его старшие сыновья!

Разве не похожую картину изображает Александр Блок в поэме «Возмездие» (неслучайно — и петербургской, и венской культуре начала XX века было суждено вскоре погибнуть навсегда):

На вечерах у Анны Вревской
Был общества отборный цвет.
Больной и грустный Достоевский
Ходил сюда на склоне лет. […]

С простертой дланью вдохновенно
Полонский здесь читал стихи.
Какой-то экс-министр смиренно
Здесь исповедывал грехи. […]

В салоне этом без утайки

Под обаянием хозяйки,
Славянофил и либерал
Взаимно руку пожимал…

Но ведь детство в *принципе* является особой формой жизни, каким бы оно ни было, счастливым («золотым»), или мрачным. Детство Витгенштейна не было ни тем и ни другим. Есть гении, которые проявляют свою гениальность с самого раннего детства: ярчайший пример — Вольфганг Моцарт или столь любимый Витгенштейном Феликс Мендельсон. Гениальность Витгенштейна проявилась только тогда, когда он появился в 1911 году в Кембридже, то есть сравнительно поздно — в 22 года.

Не будем при этом забывать, что детство Витгенштейна проходило в такой культурной атмосфере, когда сам феномен детства коренным образом пересматривался Фрейдом и его школой. Фрейд доказал, что детство, считавшееся до него самым безоблачным временем в жизни человека, является на самом деле наиболее тяжелым, эмоционально нагруженным и несчастливым временем жизни.

Одна из фундаментальных идей XX века, к созданию которой и Витгенштейн приложил руку, состоит в том, что не реальность определяет язык, а сама реальность определяется языком. В наиболее радикальной форме эта идея была высказана американским лингвистом Бенджаменом Ли Уорфом и носит название *гипотезы лингвистической относительности [Warf 1956, Уорф 1962]*. Появление психоанализа зачеркнуло идею безоблачного детства — на детские судьбы стали смотреть как на полные комплексов, фобий, инцестуальных желаний и неврозов. Поверившие в психоанализ австрийцы охотно сотрудничали с Фрейдом, только бы вылечить своих детей. Так одна из известнейших работ Фрейда «Анализ фобии пятилетнего мальчика» *[Фрейд 1990]* не могла быть написана, если бы отец этого мальчика активно не помогал Фрейду в анализе (ср. *[Руднев 1994]*).

К тому же, детство Витгенштейна было омрачено самоубийством двух старших братьев и постоянной депрессией. Тот факт, что депрессия в «каком-то важном смысле» (одно из излюбленных выражений Витгенштейна) представляет собой языковую игру, не вызывает сомнения, но является ли самоубийство *формой жизни?*

Скорее, это форма смерти?! Но смерть не обладает формой, так как она — и это тоже одна из ключевых мыслей Витгенштейна — не является событием в жизни того человека, который умер.

Самоубийство безусловно является *формой жизни,* языковой игрой. Тот же Фрейд писал, что самоубийство — это послание тому, кто остается жить (покинувшей возлюбленной, отцу-деспоту), послание, которое содержит вполне определенное сообщение: «Я умру, но тебе от этого будет хуже» *[Фрейд 1994c]*. А ведь именно так произошло с Карлом Витгенштейном. Никаких сомнений не может вызвать тот факт, что именно трагические события с сыновьями пошатнули его здоровье. Ведь когда он умер в 1913 году, ему было всего 66 лет. Разве это возраст для сталелитейного магната?

Психоанализ был мощным фактором воздействия на *стиль* жизни. По контрасту с экстравертным и реалистическим XIX веком, XX век стал по преимуществу интровертным и аутистическим (первый термин принадлежит Карлу Густаву Юнгу, второй — Эугену Блейлеру *[Юнг 1991, Блейлер 1927]*).

Мы очень мало знаем о детстве Людвига, нам ничего не известно о его детской интимной жизни — во фрейдовском смысле. Можно лишь с некоторой долей определенности сказать, что мать и отец играли в его жизни гораздо меньшую роль, чем младший брат Пауль, товарищ по играм и соперник, и сестры Мининг и Маргарет: первая *(das gnädige Fräulein)* всячески его хранила и оберегала; вторая — активно занималась его интеллектуальным и эмоциональным развитием.

Витгенштейн был гомосексуалистом, что тоже не могло не наложить отпечатка на его детство, хотя в детстве он, разумеется, не понимал этого. Это достаточно глубоко хранилось в его бессознательном (die Bewusstlosigkeit) — слово, «словечко» из психоаналитического лексикона, которое появилось и вошло в употребление в 1900-е годы, в молодые годы Людвига. Лишь учтя постоянный мотив одиночества и поиска друга, мы прольем некоторый свет на его интимные проблемы.

Надо сказать, что для своего возраста (то есть для первых 20 лет жизни) Витгенштейн переменил много культурных пространств, а ведь каждый город — это особая, неповторимая и, особенно для чужака, на первых порах тягостная *форма жизни.* К счастью для Людвига, каждый новый город был «успешнее» (пользуясь «словечком» из другого лексикона, из созданной в 1940-е годы под влиянием поздних идей Витгенштейна так называемой *теории речевых актов,* о которой мы неоднократно будем говорить в этой книге): в Берлине он был более счастлив, чем в Линце; в Манчестере, хотя он и утверждал, что был несчастлив, он нашел друга, Уильяма Экклза, и впервые почувствовал смутные очертания своей будущей специальности, если, конечно, философию можно назвать специальностью

(скажем по-другому — профессии, ведь профессия — это то, при помощи чего человек зарабатывает себе на хлеб, а Витгенштейн зарабатывал, преподавая философию в Тринити-колледже, в Кембридже).

Да, имперская столица разваливающегося, можно сказать, «разлагающегося» государства — маленький провинциальный город этого государства — затем агрессивная «империалистическая» столица воинственной Пруссии и — маленькая исследовательская станция Глоссоп под Манчестером (Объединенное Королевство). Все это было не так просто, надо было иметь достаточно душевой гибкости, того, что мы называем vitalitas spiritu, то есть не обычной житейской витальности, а высшей духовной, той, позволявшей интеллигентам выживать в гестапо и сталинских лагерях, в плену. И не только выживать, но и жить активной творческой жизнью. Не забудем, что «Логико-философский трактат» фактически был написан в итальянском плену в 1918–1919 годах.

Подводя итоги сказанному, мы вынуждены констатировать, что основной формой жизни раннего Витгенштейна все-таки было *выживание.* Слишком болезненный, чтобы отстаивать себя в мелочах, и слишком неординарный, чтобы подчиняться в крупном, этот удивительный (в будущем безусловно удивительный) человек успешно выполнил задачу первых 20 лет своей жизни — а именно, сохранил ее для дальнейшего творчества.

И еще. Мы обнаруживаем, что то малое, что мы знаем о детстве Витгенштейна, удивительно не соответствует нашим знаниям о личности взрослого Витгенштейна, которого мы так любим за те качества, которых, оказывается, у него не было в детстве. Оказывается, он был ленив, конформен и врал! Поневоле хочется сказать пошлую фразу — а был ли мальчик? Было ли у Витгенштейна детство, такое, каким оно было, скажем, у Пруста?

В зрелом возрасте это был самый прекрасный, трудолюбивый, искренний, бескомпромиссный и, главное, преувеличенно честный человек!

Пожалуй, только одно говорит о генетическом тождестве мальчика Людвига и взрослого Витгенштейна — стремление к сложным, болезненно запутанным, «достоевским» отношениям с людьми, что видно и из письма фрау Йоллес, и из воспоминаний Фани Паскаль *[Паскаль 1994].* Тот Витгенштейн, которого мы знаем по классическим мемуарам Нормана Малкольма и Мориса Друри *[Малкольм 1994, Drury 1981],* появился довольно поздно, не ранее второго приезда в Кембридж, то есть в самом конце 1920-х годов.

Для того чтобы стать таким, он должен был перенести невеселое детство, фронт и плен, отказ от наследства и добровольное изгнание в деревню. Витгенштейн стал подлинным Витгенштейном приблизительно в 40 лет, зрелость наступила у него в том возрасте, в котором она обычно и наступает у всех людей. Но должно же было быть у такого удивительного человека хоть что-то обычное!

Глава 2.
Кембридж (1911–1913). Норвегия (1913–1914)

Витгенштейн и Рассел

18 октября 1911 года Бертран Рассел пил чай у себя на квартире в Кембридже с С. К. Огденом (впоследствии первым переводчиком витгенштейновского «Логико-философского трактата» на английский язык), как вдруг неожиданно «появился какой-то неизвестный немец, очень плохо говорящий по-английски, но отказывающийся говорить по-немецки (Витгенштейн говорил по-английски хорошо, просто он, видимо, очень волновался, запинался и т. д.; вспомним, что проблемы с речью у него были с детства — В. Р.). Он представился как человек, изучавший инженерное дело в Шарлоттенбурге, но во время своего обучения почувствовавший влечение к философии математики, и вот он теперь приехал в Кембридж исключительно с целью слушать мои лекции» (Письмо Рассела к Оттолине Морель от 18. 10. 11) *[Monk 1990: 38–39]*. Витгенштейн так нервничал, что забыл сказать, что он приехал по рекомендации Фреге, что он уже учился в Манчестере и что к Фреге ему посоветовал обратиться известный философ Сэмюэль Александер, автор книги «Пространство, время и божество». Александер сказал Витгенштейну, что Фреге — величайший из ныне живущих философов.

А вот что писала в своих воспоминаниях по этому поводу сестра Витгенштейна Мининг.

> В этот период (обучения в Манчестере — *В. Р.)* он неожиданно заболел философией — так сказать, обсуждением онтологических проблем, причем с такой силой и как бы против своей воли, что во время каникул он так глубоко страдал от этой раздвоенности и внутреннего конфликта, что, казалось, он из одного человека превратился в двоих. К нему пришла одна из тех трансформаций, через которые он прошел в своей жизни, пришла и затронула самые глубины его существа. Он вздумал писать философский труд, и, в конце концов, ему пришло в голову показать план этого труда профессору Фреге из Иены, который занимался сходными проблемами. В этот период Людвиг постоянно находился в состоянии, которое невозможно описать, он был почти патологически возбужден, и я очень боялась, что Фреге, про которого я знала, что он уже очень старый человек, будет не в состоянии запастись терпением и пониманием, необходимыми для того,

> чтобы проникнуть в дело соразмерно его серьезности. Я была очень обеспокоена и встревожена во время поездки Людвига к Фреге. Но все прошло лучше, чем я ожидала. Фреге одобрил его философские поиски и посоветовал обратиться к профессору Расселу, что Людвиг и сделал *[McGuinnes: 73–74]*.

Сам Витгенштейн в одной из бесед с Друри рассказал об этом визите так:

> Помню, когда я впервые отправился с визитом к Фреге, у меня в голове было очень ясное представление о том, как он выглядит. Я позвонил в дверь, и мне открыл какой-то человек; я сказал ему, что приехал повидать профессора Фреге. «Я профессор Фреге», — сказал человек. На что я мог лишь воскликнуть: «Невозможно!» *[Друри: 126]*.

Результат беседы Витгенштейн рассматривал как совершенно неутешительный. «Фреге, — говорил он, — просто размазал меня по полу».

Готлоб Фреге произвел примерно такой же переворот в логике, как Фрейд в психологии и Эйнштейн в физике. В двух словах, он явился основателем математической логики, которая вместо силлогизмов использует математические символы, что значительно упрощает процедуру логического доказательства и уменьшает вероятность ошибки. Фреге был чрезвычайно добросовестным, тонким, ранимым и великодушным человеком. Когда Рассел нашел в его системе ошибку, Фреге так расстроился, что долгие годы ничего не публиковал. Именно поэтому он послал Витгенштейна к более молодому Расселу, шедшему по его стопам, к тому времени уже написавшему книгу «Основания математики» и совместно с другим кембриджским философом Альфредом Нортом Уайтхедом готовившему в будущем знаменитый трехтомный труд «Principia Mathematica». В тот момент, когда Витгенштейн нарушил его чаепитие, Рассел не подозревал, что вошедший «немец» будет в ближайшие годы играть огромную роль в его жизни и в конце концов сделает с его системой то же, что он в свое время сделал с системой Фреге, — найдет в ней ошибки и, оттолкнувшись от нее, построит свою систему, гораздо более утонченную (подробно о проблемах, волновавших Фреге, Рассела и Витгенштейна в контексте развития европейской философии начала XX века мы расскажем в разделе 2.4 настоящей главы).

Но поначалу Рассел отнесся к приезжему чрезвычайно

легкомысленно. Из ежедневных писем-отчетов, которые он писал своей возлюбленной леди Оттолине Морель из Кембриджа в Лондон, хорошо видно изменение его отношения к Витгенштейну.

> 19 октября: Мой немецкий друг угрожает быть сущим наказанием.
>
> 25 октября: Мой немец, который кажется скорее хорошим парнем, — ужасный спорщик.
>
> 1 ноября: Мой немец ужасный спорщик и чрезвычайно утомителен. Он не принимает допущения, что в этой комнате нет носорога.
>
> 2 ноября: Мой немецкий инженер, мне кажется, — просто дурак. Он думает, что ничто эмпирическое не может быть познано. — Я попросил его принять, что в этой комнате нет носорога, но он не принял.
>
> 7 ноября: Витгенштейн отказывался принять существование чего-либо кроме подтвержденных пропозиций.
>
> 27 ноября: Мой немец колеблется между философией и авиацией; он спросил меня сегодня, совсем ли он безнадежен как философ, и я сказал ему, что не знаю, но думаю, что не совсем. Я попросил его принести мне что-нибудь на бумаге, но он чувствует, что не может посвятить свою жизнь философии, пока не убедится, что сможет сделать что-либо стоящее. Я почувствовал ответственность, поскольку я на самом деле не знаю, что думать о его способностях [Monk: 84–85].

В своей автобиографии Рассел передает этот или сходный эпизод «в лицах»:

> Витгенштейн. — Не будете ли вы так любезны сказать мне, полный ли я идиот или нет? — Мой дорогой, я не знаю. Почему вы спрашиваете у меня? — Потому что, если я полный идиот, я стану аэронавтом, а если нет, то стану философом *[Russell 1978: v. 2, 99]*.

Перед Рождеством, прежде чем уехать в Вену на каникулы, Витгенштейн встречался с Расселом в обществе. До Рассела наконец дошло, что его «немецкий друг» скорее австриец, а также что «он чрезвычайно музыкален, у него хорошие манеры и он настоящий интеллигент» *[Monk: 87]*.

И далее:

> Он говорит, что начинает каждое утро работу с надеждой и каждый вечер заканчивает ее с отчаянием. Он просто приходит в ярость, когда не может понять того, что я ему говорю.
>
> 23 апреля: Он живет в такого же рода постоянном возбуждении, что и я, почти не в состоянии сидеть спокойно или читать книгу. Он говорил о Бетховене — как один из его друзей описывал, что, подойдя к двери, за которой Бетховен сочинял новую фугу, он слышал его пение, крики и хрип, как будто тот боролся с дьяволом, и ничего не ел на протяжении 36 часов, потому что его служанка и кухарка сбежали, боясь его ярости. Вот каким должен быть человек.
>
> 2 мая: Он единственный человек из тех, кого я когда-либо встречал, обладающий таким пристрастием к философскому скептицизму; он рад, когда *доказано,* что нечто не может быть познано *[Monk: 88].*

Витгенштейн и Рассел занимались каждый день логикой и философией, но между ними было все больше расхождений. Прежде всего это касалось нравственных проблем, которые то и дело всплывали в разговорах между ними.

> 30 мая: Витгенштейн меня удивил; он вдруг сказал, что его восхищает текст: «Какая польза человеку, если он завоюет весь мир и при этом потеряет свою душу». И затем он заговорил о том, как мало есть на свете людей, которые не теряют своих душ. Я сказал, что это зависит от той цели, которой человек добивался. Он же сказал, что это зависит более от страдания и силы, способной его перебороть. Я был удивлен: я не ожидал услышать от него ничего в таком роде *[Monk: 91].*

Как-то они заговорили о романе Диккенса «Дэвид Копперфильд». Витгенштейн утверждал, что Копперфильд был неправ, порвав со своим другом Стирфордом за то, что тот соблазнил Эмили. Рассел возразил, что он поступил бы точно так же. Это причинило Витгенштейну боль, он просто не мог поверить в это. По его мнению, надо быть верным по отношению к своему другу и, что бы он ни сделал, продолжать любить его.

> 8 марта 1912 года (Рассел — леди Оттолине): Витгенштейн мне нравится все больше и больше. У него прирожденная страсть к теоретизированию. Это редкая склонность и всегда приятно обнаружить ее в ком-либо.

Он не хочет доказывать то или это, он хочет обнаружить, как выглядят вещи на самом деле.

16 марта: Витгенштейн чрезвычайно возбужден: его увлеченность философией превышает мою; его интеллектуальная лавина заставляет меня казаться себе маленьким снежком. Его интеллектуальная страсть — высшего уровня, это заставляет меня любить его. Его характер — такой же, как характер художника, — интуитивный и зависящий от настроения. Он говорит, что каждое утро начинает работу с надеждой и кончает каждый вечер с отчаянием [McGuinnes 1988: 15].

Витгенштейн позволял себе критиковать Рассела. Когда тот писал статью «Материя», Витгенштейн сказал, что глупо писать о том, чего нет. Книгу же Рассела (написанную популярно) «Проблемы философии» он назвал дешевым бульварным бестселлером (a shilling shocker). Рассел до поры до времени терпел все это, прощая Витгенштейну его выходки за его удивительный талант, страсть к философии и за то, что Витгенштейн был единственным человеком, который так глубоко проникал в мучившие его научные проблемы, что подчас не отделял их от своих, также мучивших его, нравственных проблем.

Однажды я сказал ему: «Ты думаешь о логике или о своих грехах?» — «О том и о другом», — ответил он и продолжал свои расхаживания. Мне не хотелось думать, что наступает время для сна, так как мне казалось вполне вероятным, что, покинув меня, он наложит на себя руки *[Monk: 93]*.

Так или иначе, когда летом 1912 года в Кембридж навестить брата приехала Мининг, Рассел сказал свою знаменитую фразу. Мининг рассказывает об этом в своих воспоминаниях так:

Людвиг и я были приглашены на чай к Расселу в его прекрасные апартаменты в Кембридже. Я все еще вижу внутренним взором громоздкие книжные полки, которыми были покрыты все стены, окна в старинном стиле с превосходными пропорционально сделанными поперечниками. Вдруг Рассел сказал мне: «Мы ожидаем, что следующий значительный шаг в философии будет сделан вашим братом». Услышать такое было для меня столь экстраординарным, что на секунду я буквально окаменела. Людвиг был на пятнадцать лет моложе меня. Я все еще думала о нем просто как о молодом человеке,

студенте. С тех пор я никогда не забываю этой минуты *[McGuinnes: 130]*.

Спустя десятилетия, пережив ссору и дальнейшее охлаждение к Витгенштейну, Рассел в автобиографии писал:

> То, что я узнал Витгенштейна, было одним из наиболее потрясающих интеллектуальных приключений в моей жизни. В поздние годы интеллектуальная симпатия, которая была между нами, ослабела, но в молодые годы не только он учился у меня, но и я у него. Возможно, он был наиболее совершенным примером гения, которого я когда-нибудь знал, таким, как его традиционно представляют — увлеченный, глубокий, сильный и возвышенный. Он обладал такого рода чистотой, равной которой я ни у кого не знал, за исключением Дж. Э. Мура *[Russell 1978: v.2, 98–99]*.

Витгенштейн был зачислен студентом-исследователем в Тринити-колледж Кембриджского университета 1 февраля 1912 года.

Дэвид Пинсент

Витгенштейн слушал лекции Рассела, потом дискутировал с ним у него дома. Ясно, что он находился в постоянном напряжении. Ему нужен был верный друг, с которым он мог бы отдохнуть, не боясь непонимания и шквальной критики. Такого друга он в Кембридже нашел. Это был студент математического отделения Тринити-колледжа Дэвид Пинсент. С ним Витгенштейн познакомился на одном из вечеров у Рассела.

Дэвид Юм Пинсент был по боковой линии потомком знаменитого английского философа XVIII века Дэвида Юма. Так же, как и Витгенштейн, в Кембридже он был «эмбрио», то есть лицо, которое было намечено кандидатом в элитарное закрытое общество «Апостолы», но, в отличие от Витгенштейна, Пинсент не был избран. В Кембридже он изучал математику, затем право и под влиянием Витгенштейна — философию и логику. Он был сыном образованных и музыкальных родителей, проживавших в Бирмингеме. Дэвид был простым, непринужденным, искренним и во всех отношениях привлЕкательным молодым человеком, обладавшим развитым музыкальным вкусом, что во многом способствовало сближению с Витгенштейном. У него был широкий круг друзей, и он был везде принят вследствие своего благородного и живого энтузиазма по отношению к интересам других; Пинсент был остроумен, но не насмешлив. Для биографа Витгенштейна Пинсент так важен не только из-за самого факта его дружбы с Витгенштейном, но еще и потому, что он вел откровенный и, что самое важное, не сосредоточенный на своей персоне дневник. Как пишет о нем Б. МакГиннес, «встающий за этими записями тип личности хорошо знаком всем, кому случалось читать письма и юношеские сочинения большинства из поколения погибших (Пинсент погиб на фронте Первой мировой войны — друзья воевали по разные стороны линии фронта; памяти Пинсента Витгенштейн посвятил «Логико-философский трактат». — *В. Р.*) выпускников английских закрытых школ и студентов университетов. Мы читали бы их другими глазами, если бы этим молодым людям суждено было стать взрослыми» *[McGuinnes: 120]*.

Пинсент был полон энтузиазма и не связан условностями, но излишне добропорядочен. Его пристрастия и суждения были скорее банальны, но тем не менее искренни и поэтому подлинны. Короче говоря, это был в высшей степени «английский» юноша. Простота как человеческая черта очень привлекала Витгенштейна, его друзьями впоследствии часто становились

простые крестьяне в Норвегии и Альпийской Австрии. Он ценил в людях доброту гораздо выше, чем интеллект. Он нуждался в таких людях, так как сам был чрезвычайно мрачен и несдержан в своем постоянном бичевании человеческого лицемерия, ханжества и проявлений буржуазности.

У Витгенштейна с Пинсентом сразу сложились очень искренние отношения. Пинсент описывал свои впечатления от знакомства с Витгенштейном так:

> Он был очень общителен и много рассказал о себе — что на протяжении девяти лет, вплоть до последнего Рождества, он страдал от тяжелого недуга (психического), что оп постоянно думал о самоубийстве и стыдился того, что никогда не осмелится убить себя. Он представляет свое положение так, что он обладал неким даром, который должен был раскрыть миру, но что он не сделал этого. Он бросил инженерное дело, так как не чувствовал ни вкуса, ни таланта к нему. И только сейчас он пытается найти себя в философии, поэтому он и приехал сюда учиться у Рассела, и в этом его спасение, так как Рассел, по его словам, весьма воодушевляет его *[McGuinnes: 93]*.

Подобные «мессианские мотивы» в целом характерны для молодого Витгенштейна. Позднее Витгенштейн напишет в письме своему новому венскому другу, архитектору Паулю Энгельманну:

> Я должен был сделать нечто позитивное в своей жизни, стать звездой на небе. Вместо этого я остался торчать на земле и постепенно увядаю *[Engelmann 1968: 23]*.

Друзья виделись каждый день, вместе ходили на концерты в университетский Музыкальный Клуб, вместе обедали и пили чай попеременно друг у друга. Они исполняли дуэтом сонаты Шуберта: Пинсент играл на фортепиано аккомпанемент, а Витгенштейн высвистывал мелодию. Буквально через неделю после знакомства Витгенштейн предложил Дэвиду отправиться вместе с ним на каникулы в Исландию. Поездку оплатит Карл Витгенштейн. Пинсент был несколько шокирован таким скоропалительным приглашением, но искренность Витгенштейна заставила его согласиться.

7 сентября 1912 года друзья отправились путешествовать. В дороге Пинсента удивляли тяготение Витгенштейна к роскоши и удобствам. Он предпочитал ездить первым классом и

останавливался только в первоклассных отелях. Дэвид также страдал от тяжелого характера Витгенштейна, у которого настроения менялись несколько раз в день. Он то ходил надутым (silky), то был необыкновенно радушным и приветливым. Он принялся учить Пинсента математической логике, и оба были довольны друг другом: Пинсент оказался хорошим учеником, а Витгенштейн — хорошим учителем.

На обратном пути они, по предложению Пинсента, заехали в Бирмингем к его родителям. Там они посетили филармонию, где в программе был «Реквием» Брамса, «Саломея» Рихарда Штрауса, Седьмая симфония Бетховена и мотет И. С. Баха. Витгенштейн наслаждался музыкой Брамса, отказался слушать Штрауса (он был консерватором в музыке и терпеть не мог музыку XX века) и покинул здание, как только закончилась симфония Бетховена.

Пинсент писал, что эта поездка была «самыми славными каникулами», которые он когда-либо проводил.

Через год на тех же условиях Витгенштейн пригласил Пинсента поехать в Испанию. Перед этим друзей посетили родители Пинсента. Витгенштейн своими манерами произвел самое благоприятное впечатление несмотря на то, что чай у него полагалось пить из химической посуды: обычная посуда казалась ему уродливой.

Чем более теплыми становились отношения между Витгенштейном и Пинсентом, тем более напряженными они становились между ним и Расселом. Первого июня 1913 года Рассел писал Леди Оттолине:

> Я провел ужасные часы с Витгенштейном вчера между чаем и обедом. Он начал анализировать все, что было плохого между мной и им. Я сказал, что, по моему мнению, с обеих сторон это все нервы, а на глубине все в порядке. Тогда он сказал, что он никогда не знает, когда я говорю правду, а когда — просто из вежливости. Я разозлился и не отвечал ни слова. А он продолжал и продолжал. Я сел за стол, взял ручку и стал смотреть в книгу, но он все продолжал. Наконец я сказал резко: «Все, что вам требуется, это немного самоконтроля». Тогда он наконец ушел с трагическим выражением на лице. Перед этим он звал меня на концерт в тот вечер, но он не пришел, так что я боялся, что он покончил собой. Так или иначе, я нашел его после концерта в его комнатах (я ушел с концерта, но сначала не мог его найти) и сказал ему, что я извиняюсь за жесткость, и говорил спокойно, так, чтобы ему стало лучше *[Monk:*

91].

Вообще все это последнее полугодие в Кембридже Витгенштейн чувствовал себя плохо и все время говорил о смерти. Из дневника Пинсента:

> Он болезненно боится умереть, прежде чем разрешит теорию типов (логическая теория Рассела, основной пункт их разногласий с Витгенштейном) и прежде чем напишет всю свою работу так, чтобы она звучала внятно для мира и принесла некоторую пользу науке Логике. Он уже много написал, и Рассел обещал опубликовать работу, если он умрет. — Но он уверен, что то, что он уже написал, недостаточно хорошо, чтобы абсолютно точно представить его подлинные методы мышления и т. д., — которые, конечно, имеют большую ценность, чем конечные результаты. Он всегда говорит, что он определенно умрет в течение четырех лет — но сегодня речь шла уже о двух месяцах (17 сентября 1913 года). <…> Ночью он опять говорил о своей смерти, что он на самом деле боится не смерти, но панически беспокоится о том, чтобы не прожить оставшуюся часть жизни впустую. Все это покоится на его абсолютной уверенности, что он скоро умрет, но я не вижу никаких очевидных причин, почему бы ему не прожить еще долгое время. Однако бесполезно даже пытаться рассеивать эту его обеспокоенность и убежденность. Ничего не поможет — он просто ненормальный (20 сентября 1913) *[Monk: 98]*.

Зимой 1913 года умер Карл Витгенштейн. Видимо, это оказало большое влияние на Витгенштейна, хотя внешне он держался хорошо. 21 января, через день после смерти отца, он написал Расселу из Вены:

> Дорогой Рассел,
> мой дорогой отец умер вчера днем. Это была самая прекрасная смерть, которую я только могу себе представить. […] Я не чувствовал печали все эти последние часы, но, наоборот, был приподнят, и я думаю, его смерть была лучшим во всей его жизни *[Monk: 99]*.

Предвкушая поездку в Испанию, Дэвид Пинсент спешил на встречу с Витгенштейном в конце августа 1913 года. Каково же

было его удивление, когда Витгенштейн заявил, что его планы меняются и он предлагает Дэвиду ехать в Норвегию. Добродушный Пинсент писал домой:

> Мы собираемся ехать в Норвегию, а вовсе не в Испанию; почему Витгенштейн так неожиданно переменил свои намерения, я не знаю! Но все равно я ожидаю, что и поездка в Норвегию окажется замечательной *[Monk: 101]*.

Когда друзья ехали на корабле в Кристианию (нынешний Осло), Витгенштейн вдруг запаниковал, обнаружив, что оставил свой портфель с бумагами в Хуле. Пинсент убедил его не волноваться и послать телеграмму, чтобы портфель переслали в Кристианию. На следующее утро, рассказывал Пинсент, Витгенштейн был «надутый и злобный». В поезде к ним подсел незнакомый англичанин и предложил выйти вместе покурить. Витгенштейн не тронулся с места. Пинсент из вежливости пошел с англичанином и побеседовал с ним. Когда он вернулся, Витгенштейн со злобой сказал ему, что Пинсент может и дальше ехать с англичанином, если он ему так понравился. Пинсенту с трудом удалось его успокоить и привести в нормальное состояние духа.

Пинсент остроумно сравнил Витгенштейна с его постоянно меняющимися настроениями с Константином Левиным из «Анны Карениной»: он надувается, сердится, говорит или думает ужасные вещи, но потом страшно раскаивается. И еще Пинсент понял, что если в Кембридже они, поссорившись, могли разойтись по своим квартирам, то в длительной поездке они слишком тесно связаны друг с другом.

Они жили близ Бергена на маленьком фьорде. Витгенштейн каждый день занимался логикой и был чрезвычайно мрачен. Здесь-то он и начал говорить о своей скорой смерти и о том, что не успеет закончить свой труд. Пинсент писал в своем дневнике, что, когда Витгенштейн все время в таком состоянии, жить с ним — испытание.

Но неожиданно Витгенштейн избавил Дэвида от этого испытания. Он решил остаться в Норвегии надолго один, чтобы ни с кем не общаться и в этом одиночестве наконец закончить свою работу. Если он действительно считает себя великим человеком, он должен сделать что-то великое. В Кембридже это невозможно.

Так неожиданно оборвалось для Дэвида его последнее предвоенное путешествие. И похоже, это было вообще последнее путешествие в его жизни, так как летом следующего года

началась Первая мировая война.

Витгенштейн и «Апостолы»

Вернемся в Кембридж 1912 года. С Расселом Витгенштейн работал, с Дэвидом Пинсентом отдыхал душой. Но он также общался с преподавателями. Среди них был знакомый ему еще по Манчестеру математик профессор Харди. Это был также логик из Королевского Колледжа профессор Джонсон, который ненадолго стал официальным научным руководителем Витгенштейна; но, поскольку Джонсон был представителем традиционной логики, они с Витгенштейном не нашли общего языка.

Зато сразу прекрасный контакт у Людвига наладился с другой (наряду с Расселом) звездой новой философии — Джорджем Эдвардом Муром, который еще в 1903 году написал книгу «Principia Ethica» *[Мур 1984],* заложив основы не только философской этики XX века, но и так называемой лингвистической философии, или философии обыденного языка, которая стала активно развиваться в 1930-е годы как реакция на логический позитивизм Венского кружка (см. об этом более подробно главу 6). В противоположность логическому позитивизму, лингвистическая философия не стремилась устранить неясности естественного языка, но предлагала анализировать его таким, каков он есть. Так, Мур в своей книге, критикуя все предшествующие определения того, что такое добро, определял его как то, что рядовые носители языка называют добром. Мур сразу (в отличие от Рассела) проникся доверием к молодому австрийскому студенту, увидел и поверил в его огромный интеллектуальный потенциал и принимал самые радикальные и рискованные логико-философские суждения Витгенштейна.

Мура и Витгенштейна связывала долгая дружба, прекратившаяся только со смертью Витгенштейна.

Другим таким старшим другом Людвига стал в будущем признанный великим экономистом XX века Джон Мейнард Кейнс, человек остроумнейший, влиятельный и хитрый, обладавший большими и разнообразными способностями — писатель, адвокат, организатор и деловой человек, во всех сферах своей деятельности имевший безошибочный нюх на все новое и сразу оценивший талант и личность Витгенштейна. Он не был близким интимным другом Витгенштейна, но всегда выручал его в трудную минуту. Именно Кейнс организовал освобождение Витгенштейна в 1918 году из лагеря военнопленных в Монте-Касино, именно он послал молодого гениального математика Фрэнка Рамсея вызволять Витгенштейна из глуши альпийских

деревень. Кейнс сделал возможным визит Витгенштейна в Англию в 1925 году, во многом благодаря его влиянию Витгенштейн был взят в Тринити-колледж преподавателем, он же посоветовал Витгенштейну принять английское подданство в 1938 году, когда Австрия была под нацистами, и именно он принял самое энергичное участие в подготовке выборов Витгенштейна профессором Кембриджского университета в 1939 году.

Теперь же, перед войной, Кейнс сыграл ключевую роль в избрании Витгенштейна членом закрытого элитарного общества кембриджских интеллектуалов, называвшегося «Апостолы». Наряду с Расселом и Муром, Кейнс был одним из влиятельнейших старших членов этого общества, называемых «ангелами». Из знакомых нам лиц среди «Апостолов» был и профессор Харди, и профессор Мак-Таггарт, и другие, более молодые преподаватели Кембриджа, в большинстве своем друзья и поклонники Витгенштейна. Витгенштейн был избран в Общество в ноябре 1912 года.

История отношений Витгенштейна с Обществом довольно запутанна. Вначале Витгенштейн был уверен в том, что Общество стоит того, чтобы он был его членом. Со слов Рассела он знал, что это было маленькое общество закрытого типа, которое пополнялось каждый год лишь одним или максимум двумя кандидатами. «Апостолы» существовали с 1820 года, и его членами были все интеллектуально одаренные, выдающиеся преподаватели Кембриджа. Они встречались каждый вечер по субботам и выслушивали доклад одного из членов, после чего предполагалось долгое обсуждение. Главным принципом в дискуссии было отсутствие каких бы то ни было ограничений, каких бы то ни было табу, предоставлялась полная свобода взглядов и обсуждалось все, что возможно было обсуждать. Члены общества были открыты всему новому и интересному.

Демократизм, стремление к истине, отсутствие формализма и официальности были большим плюсом Общества, но одновременно это способствовало и всему тому, что обыкновенно возникает в неформальных микросоциумах — подсознательным амбициям, интригам, и даже нравственной распущенности. Биографы Общества утверждают, что среди его членов процветал модный в начале века гомосексуализм *[McGuinnes 1988, Monk 1990]*. Видимо, это первое, что оттолкнуло Людвига, для которого проблема сексуального самоопределения и раздвоенности в этом плане стояла очень остро (подробно об этой проблеме см. в главе 3).

Со своей стороны, сам Кейнс писал о том, что идеалы

Общества отчасти складывались из идеалов Дж. Э. Мура:

> Мы принимаем, так сказать, религию Мура, но отрицаем его мораль. Действительно, по моему мнению одна из главных выгод его религии состоит в том, что мораль перестает вообще быть необходимой — если «под религией понимать отношение человека к самому себе и близким, а под моралью — его отношение к внешнему миру и другим людям». [В свете идей Мура] все становится неважным, кроме состояния нашего собственного рассудка (других людей тоже, но, в первую очередь, нашего собственного). Это состояние рассудка не напрямую связано с нашими действиями и нашими обстоятельствами — оно состоит в бесконечном и страстном лицезрении и общении в непрекращающемся настоящем. Субъектом этого страстного созерцания является любимое существо, красота и истина. И одной из первых целей жизни является любовь, творчество и радость эстетического переживания и получения знания (цит. по *[McGuinnes: 148])*.

Они отбрасывали не только взгляды Мура на обязательность «производства возможного максимума добра», направленного в будущее, но также его взгляд на долг индивида подчиняться общим правилам. Витгенштейн также был недалек от того, чтобы отбросить обе эти муровские идеи, но во многом он не был един со взглядами Общества, например, в следующем, — о чем говорит Кейнс:

> Мы отказываемся от всех вариантов доктрины первородного греха, которая исходит из нездорового и иррационального источника — слабости большинства людей. Мы не можем поверить в то, что цивилизация была тонкой и преждевременной коркой, прорванной личностью и волей очень немногих и поддерживающейся лишь при помощи воспроизведения чувства вины. Мы не испытываем уважения к традиционной мудрости и ограничениям обычая […], мы проповедуем открытость ко всем и ко всему *[McGuinnes: 149]*.

Но различие во взглядах не было определяющей причиной расхождений Витгенштейна с Обществом. Он мог не соглашаться в чем-то с Расселом или Муром, но тем не менее часами разговаривать с ними. «Почему же не попытаться тем же самым образом расшатать Общество изнутри?» — соблазнял его Рассел.

Тогда-то Витгенштейн, несмотря на сомнения, согласился быть избранным в Общество.

Но главная причина его сомнений состояла в другом: была ли атмосфера Общества адекватной в целом?

Рассел впоследствии писал:

> Примерно за год до войны искусственность и фальшь наших взглядов на природу человеческой души стала, как теперь мне кажется, более очевидной, и в Обществе стал наблюдаться отход от чистоты доктрины. Концентрация на отношениях внутри Общества, парочки возлюбленных… образ жизни все ухудшался, короткие «интрижки» все более входили в моду. Наше отношение к жизни было ярким и занимательным, но хрупким, поскольку оно не базировалось на серьезном понимании человеческой натуры (цит. по: *[McGuinnes: 150]).*

Вся эта порча не задевала старых членов Общества, но для многих молодых членов именно все это легкомыслие постепенно стало главным в жизни. Разве мог Витгенштейн, с его ненавистью ко всему искусственному и фальшивому, принять все это или даже дискутировать по этому поводу? Некоторые сомнения подобного рода высказал Рассел на собрании Общества 9 ноября, и многие поняли это так, что Общество слишком деградировало для такого человека, как Витгенштейн.

Тем не менее, свои сомнения Витгенштейн прямо не высказал, что для него было не свойственно. Эта нерешительность, как можно думать, была связана с тем, что Витгенштейн бессознательно стремился к социализации, так как в этом для него было спасение от суицидных наклонностей его психики.

Между тем, Кейнс рассматривал приход Витгенштейна как влияющий на Общество деструктивно: «Все трудности, которые я сумел преодолеть и победить, с приходом Витгенштейна возникли вновь».

В письме к одному из «старейшин» Общества, Литтону Стреччи, Кейнс писал:

> Слышали бы Вы, как наш новый брат противопоставлял себя Обществу совсем не в апостольском духе. Все-таки это поразительный персонаж. Я уверен, что будет замечательно, если Вы придете на этой неделе и все увидите сами.
>
> Наш новый брат во всем предпочитает «ангелов». Он сказал, что видеть активных братьев все равно, что

видеть людей, которые еще не совершили свой утренний туалет (цит. по: *[McGuinnes: 151])*.

В конце ноября Рассел писал леди Оттолине:

> Витгенштейн сказал, что он уже очень утомлен Обществом и хотел бы от него избавиться. На что я возразил, что он ведь всегда может уйти, когда захочет. Но было бы хорошо, если бы он в ближайшую субботу пришел на заседание; может быть, все еще обойдется *[Monk: 110]*.

Витгенштейн действительно пришел на заседание в следующую субботу, и все как будто действительно было ничего. Мур читал доклад «О преобразовании» *(On Conversion)*. Но уже в начале декабря среди членов Общества распространился слух, что Витгенштейн подумывает об уходе. Это вызвало страшный переполох и активную переписку между всеми членами Общества. Можно предположить, что поводом послужила нелюбовь к Витгенштейну молодого члена Общества венгерского графа Бекаши, который даже голосовал против избрания Витгенштейна в Общество (в 1915 году Бекаши был убит под Буковиной, и Кейнс впоследствии способствовал посмертной публикации его стихотворений) *[McGuinnes: 151]*. Скандал удалось предотвратить. Рассел уговорил Витгенштейна хотя бы номинально остаться в Обществе. Таким образом, компромисс был достигнут. Витгенштейн не «подал в отставку», но никогда не делал докладов в Обществе. Однако он продолжал проявлять интерес к его делам, даже живя в Норвегии. А через 16 лет, в январе 1929 года, он был торжественно принят в «ангелы» и, в соответствии с ритуалом, на него были возложены «крылья» *[McGuinnes: 152]*.

«Что такое философия?»

Витгенштейну было 24 года, когда в XXXIV-м томе журнала «Cambridge Review» (1913) была помещена его первая публикация, рецензия на книгу П. Коффи «Наука логики», которая рассматривалась рецензентом как типичный пример схоластической традиционной логики и в которой было отмечено очень много ошибок. «Самое плохое, — писал в заключении рецензент, — что подобные книги отвращают здравомыслящих людей от логики». Больше никогда в своей жизни Витгенштейн рецензий не писал.

29 ноября 1912 года Витгенштейн прочел в Клубе Моральных Наук свой первый научный доклад под названием «Что такое философия?». Как свидетельствует протокол заседания, «доклад длился 4 минуты […], философия была определена докладчиком как совокупность примитивных предложений, которые приняты в качестве истинных без доказательства разными науками. Это определение долго дискутировалось, но общей точки зрения на него не было выработано. Поскольку дискуссия не отклонялась от темы, председатель (Дж. Э. Мур — *В. Р.*) практически не вмешивался в ход заседания» *[McGuinnes: 144]*.

Что же это за странная философия, которая представляет собой «совокупность всех примитивных предложений, которые приняты без доказательства разными науками»? По сути дела, здесь в свернутом виде содержится доктрина логического позитивизма, которая подробно будет развита в 1920-е годы Венским логическим кружком на основе идей витгенштейновского «Логико-философского трактата». Действительно, в одной из последних максим «Трактата» говорится нечто близкое тому, как определялась философия в докладе 1912 года:

> 6.53 Корректным методом Философии был бы следующий: не говорить ничего, кроме того, что можно сказать, то есть кроме естественнонаучных Пропозиций — то есть того, что не имеет с Философией ничего общего, — и тогда всегда, когда кто-то другой захочет сказать нечто метафизическое, указывать ему на то, что он в своих Пропозициях не снабдил никаким Значением некоторые Знаки. Этот метод был бы для другого неудовлетворителен: у него не было бы чувства, что мы учим его Философии, — но все же он единственный строго корректен.

Эту программу, конечно, нельзя воспринимать как реалистическую. Во-первых, в естественнонаучных пропозициях зачастую содержится очень много метафизики, например, у И. Ньютона, Г. В. Лейбница, любимых Витгенштейном Г. Герца и Л. Больцмана, не говоря уже о Н. Боре и В. Гейзенберге. Можно ли эту программу воспринимать как корректный метод обучения кого-либо философии, хотя бы даже философии «Трактата»? Пожалуй что нет. В «Трактате» мы найдем много метафизических высказываний. На ближайших же страницах: «Этика трансцендентна…», «Бог не обнаруживает себя в Мире» и т. д. Во-вторых, естественные науки, о которых говорит Витгенштейн, вовсе не так просты. Физика XX века вообще не может существовать без своих метафизических оснований. Так же как и физика и астрономия Галилея, общая теория относительности, второе начало термодинамики и т. д. — все это равным образом и физические и метафизические доктрины. Витгенштейн сводил философию к философской логике. Как общефилософская стратегия этот метод, давший несколько интереснейших работ, среди которых такие шедевры, как «Логический синтаксис языка» Р. Карнапа *[Carnap 1936],* очень быстро себя исчерпал (подробно см главу 6). Но как метод логической семантики он оказался весьма плодотворен в той ее линии, которую представляли Р. Карнап, У. Куайн и отчасти Г. Рейхенбах, а затем их преемники и критики: Г. фон Вригт, Я. Хинтикка, С. Крипке, Д. Скотт, Р. Монтегю и другие замечательные философы-аналитики и логики XX века.

Но что же это за примитивные предложения, которые принимаются всеми науками без доказательств? Ясно, что это предложения логики, так как логика, по Витгенштейну, является основанием всех наук. Ясно, что любая наука будет разделять предпосылку, что утверждение эквивалентно двойному отрицанию. Это логическое положение разделяет и математика, и физика, и химия, и даже история и социология. Но как получается, что совокупность подобных предложений можно называть философией? Ведь философия в традиционном представлении должна заниматься проблемами бытия, сознания, этики, свободы воли, а здесь, по сути, отрицание философии, сведение ее к логике.

Но в историческом развитии философии начала XX века так оно и было: логический позитивизм отрицал традиционные философские проблемы, называя их метафизическими псевдопроблемами, которые происходят от неправильного употребления языка и из-за неточностей самого языка, который «перелицовывает мысль», как писал Витгенштейн в «Логико-

философском трактате». Поэтому задача философии — это критический анализ языка и попытка построения такого языка, который был бы точным и однозначным, — а это и есть язык логики.

Таким образом, главной методологической пружиной новой философии был редукционизм. Откуда же взялся этот редукционизм? Чтобы ответить на этот вопрос, надо хотя бы в общих чертах проанализировать культурную ситуацию, сложившуюся на рубеже XIX и XX веков.

Кризис устоявшихся культурных парадигм на рубеже двух веков представляет собой некую общую, может быть даже универсальную культурную закономерность. Так, конец XVIII века ознаменовался кризисом классицизма и началом романтической парадигмы, под знаком которой прошел весь XIX век (романтизм делится на ранний и поздний; поздний романтизм в идеологизированной советской культурологии принято называть реализмом, что совершенно безграмотно (об этом подробно см. *[Руднев 1992, 1996, 1997]*)). Кризисом позднего романтизма и был конец XIX — начало XX вв.

Как же стала развиваться культура в начале XX века, как она распорядилась теми ценностями, которые были накоплены предыдущей романтической культурой? Она пошла двумя противоположными путями. Первый путь как раз был связан с редукционизмом и называется нами культурной логаэдизацией (по аналогии со сходными явлениями в системе стиха того же периода: логаэд — это метрическая система, которая редуцирует разнообразие ритмических форм какого-либо стихотворного размера к одной его форме).

Если первый путь предполагает выделение из старой системы одного ее среза и его культивирование, то второй путь, наоборот, предполагает представление старой системы как одного среза новой системы, как ее частный случай. Например, в релятивистской физике Эйнштейна традиционная физика Ньютона является частным случаем более общих закономерностей. Этот второй путь мы называем культурной верлибризацией (верлибр — это стиховая система, которая строится из «осколков»-цитат из всех предшествующих метрических систем). Верлибризация была процессом достаточно универсальным, захватывающим не только физику, но и искусство. Здесь уместно ввести также понятие «неомифологизм», — сам термин получил распространение после выхода книги Е. М. Мелетинского «Поэтика мифа» *[Мелетинский 1976 (2-е изд. — 1996)]*. Неомифологизм — это такое художественное и философское мировоззрение, когда основное

содержание текста получает дополнительную систему «подсветок», аналогий, почерпнутых либо из традиционной мифологии (наиболее яркое произведение неомифологизма в этом смысле «Улисс» Джойса), или из народных легенд («Доктор Фаустус» Томаса Манна), или из предшествующей городской и литературной мифологии («Петербург» Андрея Белого).

Наиболее явственно, так сказать, в наиболее чистом виде, эти две противоположные тенденции прослеживаются на примере истории развития музыкального искусства конца XIX — начала XX вв. (что имеет непосредственное отношение к творчеству Витгенштейна не только потому, что он был меломан, но и потому, что одна из этих линий, о которой мы будем говорить, родственна ему историко-генетически; кроме того, композицию «Трактата» связывают с музыкальным построением — конечно, логаэдического типа).

Так вот, в конце XIX века в развитии европейской музыки также происходил кризис. Классическая система противопоставления минора и мажора (диатоника), то есть принцип, согласно которому из 12 полутонов европейского темперированного строя в композиции выбирался только определенный набор из семи полутонов (тональность), эта система была сильно расшатана романтическим музыкальным искусством. Композиторы стали позволять себе все более смелые модуляции (переходы из одной тональности в другую), так что к началу XX века стало возможным употреблять в композиции все 12 полутонов *[Веберн 1972],* что было равносильно краху диатоники и музыкальной системы вообще, потому что для того, чтобы система могла существовать, необходимы запреты, правила. Вообще любую систему, в частности, культуру, можно определить как систему норм и запретов *[Лотман 1992],* то есть, в конечном счете, тех же витгенштейновских языковых игр, или *форм жизни.*

И вот музыка XX века явственно пошла двумя противоположными путями — редукционистско-логаэдическим и неомифологическо-верлибристским.

По первому пути пошли земляки Витгенштейна, австрийские композиторы «нововенцы» — Арнольд Шенберг и его ученики Альбан Берг и Антон Веберн. Шенберг разработал правило, которое позволило найти выход из атонального тупика. В соответствии с этим правилом в композиции должны были пройти подряд все 12 неповторяющихся звуков европейского звукоряда в любом порядке, но после этого установившийся «случайно», по воле композитора, порядок (серия) мог варьироваться только по строгим законам классического

контрапункта, то есть серия могла идти от конца к началу (ракоходный порядок), быть инверсированной по горизонтали и быть ракоходно-инверсированной. Плюс к этому можно было начинать серию от любого звука, сохраняя исходную структуру последовательности тонов и полутонов. Таким образом, в распоряжении композитора было 48 разновидностей серии, или суперзвуков *[Гершкович 1973]*. Этот тип музыки стали называть композицией на основе 12 тонов, или додекафонией (о связи додекафонии с общим развитием венской культуры начала века, в частности, с «Трактатом» Витгенштейна см. книгу *[Janic-Toulmen 1973]*).

Противоположный, неомифологический путь развития музыки был положен в основу творчества композиторов — представителей европейского музыкального неоклассицизма, в первую очередь, И. Ф. Стравинского. Его произведения неоклассицистического периода строятся как система цитат, подсвечивающих основной музыкальный сюжет. Так музыкальная структура одного из известнейших произведений Стравинского «История солдата» строится как варьирование русских народных мотивов скоморошьего склада, отзвуков бытовых напевов, предвестий джаза (танго, рэгтайм), помпезных военных маршей и протестантского хорала *[Друскин 1973]*.

Разумеется, не следует думать, что эти два противоположных механизма не имели смычек. Феномен венского экспрессионизма (как показали исследования *[Janic-Toulmen 1973, Руднев 1997a]* и как будет показано ниже в главе 4, имеющий к Витгенштейну непосредственное отношение, в целом является редукционистским — его суть в том, что он деформирует объект изображения путем доведения до абсурда именно наиболее закономерные его черты (особенно это характерно для творчества Франца Кафки). Но, тем не менее, экспрессионистский текст полон скрытых или явных неомифологических черт (у того же Кафки — см. [Мелетинский *1976]*).

Однако в обоих противоположных случаях развития культурных явлений начала XX века, идут ли они раздельно или смыкаются, общим является всегда одно — «лингвистический уклон» *[Грязное 1991]* — поиск лингвистических структур, их выявление и анализ. Поэтому в культуре XX века с самого начала начинает играть такую большую роль языкознание, прежде всего, структурная лингвистика, а также семиотика как наука об универсальных свойствах знаковых систем, наука, которая изучает любой объект лингвистическими методами *[Ревзин 1971]*.

Отсюда ясным становится, почему для философов-аналитиков языка ключевой фигурой стал не кто иной, как

математик и логик из Иены Готлоб Фреге, основатель логической семантики, дисциплины, изучающей отношения знаков к их значениям (денотатам).

В 1879 году Фреге опубликовал работу «Исчисление понятий», которая была началом современной математической логики. В другой работе, «Основания арифметики» 1884 года (которую, по всей вероятности, читал молодой Витгенштейн), Фреге показал, что арифметика производна от логики, что «каждая арифметическая теорема является логическим законом, хотя и производным» *[Грязнов 1985: 26]*. Особое место в творчестве Фреге и для последующего развития логической семантики XX века сыграла его статья 1892 года «Смысл и денотат» *[Фреге 1977]* (Витгенштейн читал и перечитывал эту статью на протяжении всей жизни). Здесь Фреге вводил разграничение значения знака, или предмета, на который знак указывает, обозначая его (Bedeutung) и смысла (Sinn) как способа реализации значения в знаке. Например, планета Венера, видимая утром, говорит Фреге, называется Утренняя звезда, а та же планета, видимая вечером, — Вечерняя звезда. Оба этих выражения имеют одно значение, или денотат (планета Венера), но два различных смысла.

Фреге впервые сформулировал очень важное правило, в соответствии с которым знаки, тождественные по значению, но различные по смыслу, могут не быть взаимозаменимы salva veritate — с сохранением истинности. То есть выражение «Утренняя звезда — это Вечерняя звезда» не является тавтологией, каковой является выражение «Утренняя звезда — это Утренняя звезда».

Поэтому в контексте мнений, выраженных придаточным изъяснительным, предложение «Он думал, что утренняя звезда это не вечерняя звезда» не является ложным, если он действительно так думал (сходные идеи Фреге развивал также в статье «Мысль. Логическое исследование» *[Фреге 1987])*. Происходит это потому, что в косвенном контексте придаточного предложения — и этот закон тоже открыл Фреге — знак лишается своего истинностного значения (термин, введенный Фреге), то есть, другими словами, придаточное предложение не является ни истинным, ни ложным, потому что значение в нем заменяется смыслом.

Фреге рассматривал предложения как разновидности имен, у которых может быть всего два значения — Истина и Ложь. Витгенштейн с этой доктриной был уже не согласен. Он считал, что имена лишены смысла, они только указывают на объект. А предложения, независимо от своего истинностного значения,

могут обладать смыслом. «Имена — точки, предложения — стрелки», как писал он в «Трактате».

Рассел развил логико-семантические идеи Фреге прежде всего в так называемой теории определенных дескрипций. Эта теория развивалась в полемике с учением немецкого мыслителя Алексиуса Майнонга, согласно которой выдуманные объекты — такие, как Пегас, Золотая гора, Санта Клаус, единорог, круглый квадрат — на самом деле существуют в некоем мире вымышленных объектов, которому Майнонг придавал статус реальности. Однако во времена Рассела эта теория выглядела как идеалистическая, а Рассел и Мур в начале века, в обстановке засилья в Кембридже философов — представителей так называемого абсолютного идеализма, яростно боролись против всяческих идеалистических — и шире — монистических теорий.

Трудность в описании семантики слов и выражений типа «Золотая гора» или «Пегас» состоит в том, что если мы говорим, что Золотой горы не существует, то мы одновременно употребляем глагол «существовать» и как квантор, и как предикат, то есть мы утверждаем, что существует, имеется такая вещь, как Золотая гора, которая не существует, что противоречиво. Теория дескрипций описывала такие слова и выражения косвенно. Выражение «Золотая гора» описывалось при помощи двух составляющих — «сделанное из золота» и «являющееся горой», — и их конъюнкция объявлялась ложной. То есть неверно, что существует нечто золотое, являющееся одновременно горой *[Рассел 1996]*.

Наиболее важным противоречием между логикой Рассела и логикой Витгенштейна была теория типов, которую Рассел разработал для снятия парадокса теории множеств.

Вот как он сам излагает ее суть в книге «Мое философское развитие»:

> Проще всего проиллюстрировать это на парадоксе лжеца. Лжец говорит: «Все, что я утверждаю, ложно». Фактически то, что он произносит, есть утверждение, которое относится к тотальности его утверждений, и, только включив его в эту тотальность, мы получаем парадокс. Мы должны будем различить суждения, которые относятся к некоторой тотальности суждений, и суждения, которые не относятся к ней. Те, которые относятся к некоторой тотальности суждений, никак не могут быть членами этой тотальности. Мы можем определить суждения первого порядка как такие, которые не относятся к тотальности суждений; суждения

второго порядка — как такие, которые отнесены к тотальности первого порядка и т. д. ad infinitum. Таким образом, наш лжец должен будет теперь сказать: «Я утверждаю ложное суждение первого порядка, которое является ложным». Он поэтому не утверждает суждения первого порядка. Говорит он нечто просто ложное, и доказательство того, что оно также и истинно, рушится. Такой же точно аргумент применим и к любому суждению высшего порядка *[Рассел 1993: 25–26]*.

По мнению Витгенштейна, теория типов является излишней, так как необходимо, чтобы логическая запись сама показывала противоречивость того или иного суждения.

Наиболее полно Витгенштейн полемизирует с теорией типов в «Логико-философском трактате»:

> 3.33 В логическом синтаксисе значения Знаков не должны играть никакой роли; он должен предполагать лишь описания выражений, без всякого упоминания о значении.
>
> 3.331 Исходя из этого замечания, рассмотрим «Theory of Types» Рассела. Естественно, что Рассел оказался в тупике: разрабатывая знаковые правила, он должен был говорить о Значении Знаков.
>
> 3.332 Ни одна Пропозиция не может свидетельствовать о самой себе, поскольку пропозициональный Знак не может содержаться в самом себе (вот и вся «Theory of Types»).
>
> 3.333 Функция не может быть собственным аргументом, поскольку Знак Функции уже содержит в себе Протокартину своего аргумента, которая не может содержать самое себя. Предположим, например, что Функция F (fx) могла бы быть собственным аргументом; тогда должна была бы иметь место Пропозиция: «F (F (fx))», и в ней внешняя Функция F и внутренняя функция F должны обладать разными значениями, так как внутренняя Функция имеет форму **ø** (fx), а внешняя ψ (ø (fx)). Общим у них является лишь буква «F», которая сама по себе ничего не означает.

Витгенштейн исходит из того, что Знак Функции (переменной) содержит в себе Протокартину (прототип, образец) своего аргумента, то есть, скажем, Знак Функции «X — жирный» содержит в себе возможный аргумент «свинья». Эта Протокартина не может содержать самое себя, так как она уже не является

переменной. Таким образом, нельзя построить Функцию функции, потому что иначе получится свинья свиньи. Но что будет, если попытаться построить такую саморефлексирующую функцию? Это будут просто две разные функции. Вот как подробно комментирует это место «Трактата» его исследователь Мунк:

> Может ли в функции «x — жирный» сама функция (x) занять позицию своего аргумента «x»? Допустим, что может. Тогда ее можно записать как F (f). Но, говорит Витгенштейн, то, что занимает эти две позиции, является не одним символом, а двумя. Тождество знака, как надо помнить, гарантируется не его физической наружностью, но употреблением. Знаки, имеющие совершенно различную наружность, но одно и то же применение, являются одним и тем же символом; знаки, которые имеют одинаковую наружность, но по-разному применяются, являются различными символами. Но в случае, когда знак «F» находится за скобками, он является другим символом по сравнению с тем случаем, когда он находится внутри скобок, поскольку он имеет разное применение. Однако тогда мы не сможем построить выражение, в котором один и тот же символ выступает одновременно и как функция, и как ее собственный аргумент. Идея Витгенштейна состоит в том, что в корректной записи будет видна невозможность такой конструкции, и именно это и устраняет расселовскую теорию типов. Другими словами, в корректной записи нельзя построить самореферирующую пропозицию без того, чтобы не стало очевидно, что внутренняя пропозиция содержит функцию, отличную от функции, содержащейся во внешней пропозиции. Но тогда станет очевидным, что нельзя построить самореферирующую пропозицию. Ибо, совершая такую опрометчивую попытку, мы с очевидностью убеждаемся, что у нас получается не одна самореферирующая пропозиция, но две разные пропозиции. Короче, теория типов совершенно не обязательна, поскольку в корректном символизме проблема, с которой имел дело Рассел, просто не возникает. Она исчезает в самой операции со знаками *[Mounce 1981:55–56]*.

Анализ теории типов Рассела Витгенштейном служит ярким примером практического применения витгенштейновской теории, разграничивающей то, что может и должно быть сказано, от того,

что может быть только показано или обнаружено, в логической структуре пропозиции или любой другой Картины. Следуя бритве Оккама, Витгенштейн как бы говорит: язык, если его правильно применять, сам обнаруживает невозможность самореференции — никакие теории тут не нужны.

Наиболее важные открытия в области оснований логики Витгенштейн сделал в конце 1913 — первой половине 1914 года, когда он неожиданно покинул Кембридж и поселился в Норвегии в полном одиночестве.

Норвегия

Как и можно было ожидать, — пишет Монк, — Рассел расценил план Витгенштейна остаться в Норвегии еще на два года как очередное безумство. В одном из писем Рассел писал:

> Я сказал ему, что его настигнет мрак, а он сказал, что ненавидит дневной свет. Я сказал, что ему будет одиноко, а он сказал, что он проституировал свой рассудок разговорами с интеллигентными людьми. Я сказал, что он сумасшедший, а он сказал, что Бог убережет его от здоровья (Бог, конечно, так и сделает.) *[Monk 1990: 91]*.

До отъезда в Норвегию Витгенштейн сумел продиктовать секретарю Рассела Филиппу Джордану свои соображения по логике. К этому добавились машинописные страницы, продиктованные в Бирмингеме, куда Витгенштейн ездил прощаться с Пинсентом. Все вместе составляет так называемые «Заметки по логике» — первый оригинальный философский текст Витгенштейна. Среди прочего там было написано следующее:

> В философии нет дедукций: она является чисто дескриптивной.
>
> Философия не дает никакой картины реальности.
>
> Философия ни подтверждает, ни опровергает научное исследование.
>
> Философия состоит из логики и метафизики: логика является ее основой.
>
> Эпистемология есть философия психологии.
>
> Недоверие к грамматике является первой основой философствования *[Wittgenstein 1980: 94]*.

Поскольку Витгенштейн нуждался в одиночестве, он нашел для этого идеальное место: деревню под названием Скьолден, к северу от Бергена. Здесь он общался с почтальоном и несколькими фермерами, которые стали его друзьями и много лет подряд после того, как он уехал из Норвегии, посылали ему открытки. Витгенштейн вскоре научился говорить по-норвежски. Он считал время, проведенное в Скьолдене, самым продуктивным в своей жизни. Здесь он разработал теорию о том, что нечто может быть сказано, а нечто лишь показано, теорию логических пропозиций как тавтологий (подробно см. в главе о «Трактате») и

вплотную подошел к критике расселовской теории типов.

Жизнь в одиночестве так привлекала его, что ему даже не хотелось ненадолго приехать на Рождество в Вену, но он не мог этого не сделать, так как его очень ждала мать.

15 декабря он писал Расселу:

> Пребывание здесь в одиночестве так хорошо для меня, что я не представляю, как бы я мог жить среди людей. […] Мои дни проходят между занятиями логикой, свистом, прогулками и депрессией. […] Я прошу у Бога дать мне больше интеллекта, и тогда все станет ясным для меня — или я не смогу больше жить *[Monk: 126]*.

Между тем, в марте 1914 года между Витгенштейном и Расселом разыгралась эпистолярная ссора. Рассел собирался ехать с лекциями в Америку, и Витгенштейн написал ему в письме следующее:

> Лучшие пожелания к Вашим лекциям в Америке! Возможно, это даст Вам по крайней мере более благоприятную возможность рассказать им о своих *мыслях,* а не *просто* сокращенных и сухих результатах. ЭТО именно то, что было бы наибольшей ценностью для Вашей аудитории — узнать Ваши *мысли,* а не сокращенные и сухие результаты [Monk 127].

Очевидно, Расселу не понравился менторский тон этого письма. В письме к леди Оттолине Рассел написал, что ответил Витгенштейну «в резкой манере». Что именно он ответил, мы не знаем. Но в своем ответе на это неизвестное нам письмо Витгенштейн писал:

> Мы часто в наших разговорах испытывали неудобство, касаясь определенных тем. И это неудобство возникало не от недостатка чувства юмора с одной или другой стороны, но от значительного различия наших натур. Я со всей искренностью говорю, что не хотел упрекать Вас ни в чем или читать Вам морали. Я только хочу высказаться о наших отношениях в ясных словах, *чтобы прийти* к *какому-то заключению.* — Наша последняя ссора тоже не была результатом Вашей чувствительности или моей неосмотрительности. Она идет глубже — из того факта, что мое письмо должно было показать Вам, насколько различны наши взгляды,

например, на научную работу. Это было, конечно, глупо с моей стороны писать в такой манере Вам об этих материях: я должен был сказать себе, что такие фундаментальные различия не могут быть разрешены в письме. И это только ОДИН случай из многих. […]

Я буду благодарен Вам и обязан ВСЕМ СЕРДЦЕМ на *всю мою оставшуюся жизнь, но я не стану больше писать Вам и Вы никогда не увидите меня больше.* […] Я желаю Вам всего самого хорошего и прошу Вас не забывать меня и думать обо мне часто с дружескими чувствами. До свидания!

Всегда Ваш

Людвиг Витгенштейн [Monk: 131].

Однако Рассел ответил на это письмо, по словам Витгенштейна, таким добрым и теплым письмом, что Витгенштейн не мог ему не ответить. Отношения внешне восстановились, но былой сердечной привязанности не было суждено вернуться никогда.

Тем не менее, в своем уединении Витгенштейн давно ни с кем не обсуждал своих идей. Впоследствии сам он говорил своему верному Друри, что философ, который не вступает в дискуссию, все равно, что боксер, который не выходит на ринг. Тут-то Витгенштейн вспомнил о своем старом добром друге и апостольском старшем брате Джордже Эдварде Муре, который всегда с ним во всем соглашался; и вот Витгенштейн начинает уговаривать Мура, которому в ту пору уже перевалило за 40 лет, настоятельно уговаривать уже почтенного профессора срочно приехать к нему в Норвегию с тем, чтобы обсудить сокровенные логико-философские проблемы, ибо только он, Мур, остался на всем белом свете, кто в состоянии понять его, Витгенштейна. *«Вы должны* (! — *В. Р.) приехать, как только закончится триместр»,* — пишет он Муру 18 февраля 1914 года. В намерения Витгенштейна входило написать работу и передать ее Муру с тем, чтобы ее зачли как диссертацию на степень бакалавра. Мур поначалу отнекивался, ссылаясь на то, что ему надо писать статью. Но Витгенштейн был неумолим. В марте он пишет Муру:

Почему ради всего святого Вы не можете писать свою статью *здесь'?* Вы будете иметь *гостиную* с прекрасным видом из окна В ПОЛНОМ СВОЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ, и я буду оставлять Вас одного ровно настолько, насколько это Вам понадобится (фактически на *целый день, если это будет необходимо).* С другой стороны, мы *могли бы*

> видеть друг друга, как только мы этого захотим. И мы *могли бы* даже обсудить Вашу работу (какое великодушие! — *В. Р.)* (что было бы просто здорово). Или вам нужно *так* много книг? Поймите — Я сам ПО ГОРЛО занят, так что ничуть Вас не побеспокою [Monk: 137].

Наконец, старый добрый Мур сдался и — поехал. 24 марта он уже плыл к Бергену, а через несколько дней они уже «дискутировали», то есть Витгенштейн говорил, а Мур слушал. («Он дискутировал», — с добродушной иронией записал Мур в своем дневнике.)

Первого апреля 1914 года Витгенштейн начал диктовать Муру работу под лапидарным названием «Логика», опубликованную в 1980 году как «Заметки, продиктованные Муру». Заметки начинались так:

> Так называемые логические пропозиции *показывают* логические особенности языка и, следовательно, мироздания, но ничего *не говорят [Wittgenstein 1980: 185].*

По сути дела здесь в одной фразе заключалась целая доктрина, отличающая логико-философские построения Витгенштейна от всех других логических построений. Различием между сказанным и показанным Витгенштейн решал проблему теории типов, отбрасывая необходимость иерархии метаязыков (подробно см. в главе о «Трактате»). Однако практически никто из последующих логиков эту доктрину не принял, потому что она не является чисто логической, — это скрытая метафизическая, онтологическая теория, романтическая (или постромантическая — экспрессионистская!) по своей сути. Рассел впоследствии совершенно не принял этой доктрины, но Мур, похоже, принимал ее или, во всяком случае, понимал. Этот человек принимал Витгенштейна таким, каков он был, не подгоняя его под свои мерки. Что позволило ему в будущем, когда Витгенштейн отказался от ряда жестких положений своей теории, уже в тридцатые годы стать вторым после Рассела его учителем и до конца жизни Витгенштейна (Мур пережил его на семь лет, он умер в 1958 году) оставаться самым любимым и незаменимым в дискуссиях собеседником (см. статью *[Малкольм 1987],* весьма оригинально интерпретирующую позднейшие дискуссии Витгенштейна с Муром).

Вернувшись в Кембридж, Мур, проинструктированный Витгенштейном, представил «Логику» на соискание ученой

степени бакалавра. Однако научное сообщество Тринити-колледжа, не будучи в курсе психологических проблем Витгенштейна, а также его непременного желания написать, так сказать, логическую «Девятую симфонию», отказалось признать эту работу «диссертабельной» на том основании, что к работе не были приложены введение, обзор и список использованной литературы, на которой базируется подобное исследование.

Ничего не поделаешь, Муру пришлось в письме объяснять ситуацию Витгенштейну. Витгенштейн был взбешен и, как в старые времена, когда гонцам, приносившим дурные вести, рубили головы, он разразился следующим посланием:

> Дорогой Мур,
>
> Ваше письмо вызвало у меня раздражение. Когда я писал *Логику*, я не сообразовывался с Кембриджскими циркулярами, поэтому, я полагаю, было бы справедливо, если бы вы (видимо, в данном случае в лице Мура, как члена Совета Тринити-колледжа: Витгенштейн обращается ко всему Кембриджу — *В.Р.)* присудили мне мою степень без всех этих бюрократических соответствий с циркулярами! Вроде Введения и Примечаний; я думаю, мои экзаменаторы и так с легкостью увидят, сколько я списал у Бозанкета. — Если я не могу рассчитывать, чтобы для меня сделали исключение даже в таких ИДИОТСКИХ деталях, то я вообще могу отправляться прямо к ДЬЯВОЛУ; если же я вправе рассчитывать на это, а Вы этого не сделали, то — ради Бога — можете сами отправляться к нему (к дьяволу! — *В. Р.)*.
>
> Все это настолько глупо и противно, чтобы писать об этом — Л. В. *[Monk: 151]*.

Через два месяца Витгенштейн опомнился и написал Муру спокойное письмо, в котором попросил нечто вроде извинения. Но все это уже было слишком — даже для Мура. «Думаю, мне не следует ему отвечать, — записал Мур в дневнике, — потому что я не хочу его больше видеть».

Так Витгенштейн покончил с Муром и Кембриджем — на долгие 15 лет.

Мур по прошествии времени остался самим собой. Витгенштейн защитил в Кембридже диссертацию на степень доктора философии в 1929 году при активном содействии Мура и Рассела, которые были его, выражаясь привычным нам языком, «оппонентами». О том, как происходила «защита», мы расскажем в главе, посвященной второму — Большому кембриджскому периоду в жизни Витгенштейна.

Второе рассуждение о формах жизни

С предзакатных зияющих вершин нашего более чем сомнительного постмодернизма с грустью и удивлением взираем мы на дела и манускрипты былых времен. Мы видим — впрочем, довольно неясно — остроконечные шпили Кембриджа — града Китежа, уплывающего в бесконечное. С грустью потому, что, несмотря или благодаря потугам запечатлеть прошедшее, а то и дерзостным попыткам повернуть стрелу времени вспять, что пытался сделать еще в то незабвенное время сэр Артур Эддингтон, за что и был нелицеприятно оборван героем нашего правдивого повествования, записавшим однажды: «когда Эддингтон говорит, что время может изменить свое направление, то это означает не более того, что мы можем изменить направление своих прогулок» («Культура и ценности» *[Wittgenstein* 1982]), несмотря на все это или благодаря всему этому, прошедшее как было, так и остается прошедшим. И нет уже никакого Витгенштейна, а есть только книги, но кто их написал, достоверно доказать уже невозможно.

С удивлением же взираем мы на остроконечные башни кембриджского кремля потому, что и сами эти наши зияющие вершины тоже скоро пропадут в неведомом паттерне нового столетия, нового тысячелетия и новой эры, эры Водолея (а Людвиг, родившийся 26 апреля 1889 года, был Тельцом, а мы с вами, читатель, навеки неизбежные и неизбывные Близнецы, и ни ему, ни нам, быть может, как это ни грустно, не найдется места в новой, некоторым легкомысленно кажущейся многообещающей, эпохе). И еще удивляемся мы, что к высотам этим ведут (малопроходимые, впрочем) тропы из тех самых времен, когда Бертран и Людвиг, когда Людвиг и Дэвид, когда Джон Мейнард и Джордж Эдвард, когда Джеймс и Марсель, Франц и Уильям… Да, именно тогда ковалась наша эпоха, в сырых кварталах Дублина, в потных апостольских кембриджских кельях, в Тринити-колледже и в Колледже Тела Христова, в Клубе Моральных Наук и в Совнаркоме, в Венском филармоническом оркестре и в трагическом выстреле придурка Гаврилы Принципа-Градуса, и в последнем вздохе невинного эрцгерцога.

И напрасно Эдуард VII пытался навести порядок в Европе, напрасно Людвиг Излюбленный плевался от «Саломеи» Рихарда Штрауса и от всех девяти с половиной симфоний Малера вместе взятых в отдельно взятой стране Австро-Венгрии. Где та страна, Людвиг? Кто покажет ее и на какой карте? Кто машет наганом над Венским филармоническим, на какой сидиром пишут

евангелическую Четвертую симфонию патлатого Густава? И к чему пришли мы? Наша реальность — знаковая система! Наши страсти — интенциональные состояния; наши «А не передадите ли мне перцу?» — косвенные речевые акты; наши «Я вас любил. Любовь еще, быть может»— одна только грамматика и симулякр.

Да и как мы можем знать, что такое реальность, когда не знаем, что с нами произойдет завтра? Так говорил дерптско-базельский Заратустра с усами Луиса Карвалана, писавший про нас, что мы, в общем, способные парни, но только не любим работать. Сам себе Витгенштейн, он никогда не читал Людвига, но это не имеет никакого значения.

20 ноября 1997 года, восемь часов 45 минут — утра, читатель, не вечера. Книга о Витгенштейне застыла на невнятных дескрипциях сомнительных апостолов, на не принятом еще решении, писать или нет о том, был Людвиг или не был. А книги пишутся, как время течет — отнюдь не по порядку. И капризно уезжая в Норвегию, и бросая любимого друга, не зная, что видит его последний раз, и помыкая любимым учителем и покорным Муром, не знал он, что не пройдет и полгода, как небо ему покажется с овчинку и от страха, отвращения и вшей потянет к кастрированному Л. Н. Толстым Евангелию, и бессонные ночи в Монте-Касино, и денщик Константин, и шарлатан Оствальд, и как с иголочки сшитый Фрэнк Рамсей (вот кого бы за милую душу, прости Господи!), и трубка Дэвида, и кисточка Бертрана, и обе руки Джорджа Эдварда, и Венский филармонический, и Берлинский филармонический, и Сталин на стене и Гитлер на диване, и *Бьется в тесной печурке Лазо* и Румпельштильцхен из сказки немецкой, и плотник А, и плотник Б, и дождь идет, но я так не считаю. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Er muss diese Sätze überwinden, dann sieht er die Welt richtig. И не только Welt, но иногда даже и Wirklichkeit.

Глава 3.
Война (1914–1918)

Перед войной в Вене. Филантропия Людвига

В июне 1914 года Витгенштейн поехал в Хохрайт с намерением провести там раннее лето. После этого он собирался посетить старых английских друзей, в частности, съездить к Экклзу в Манчестер, к старому приятелю Уильяму Экклзу, у которого только что родился сын, а потом, в конце августа или начале сентября, встретиться с Дэвидом в Гранд Отеле на Трафальгарской площади и там решить, ехать ли на этот раз в Испанию или куда-нибудь еще. Оба ждали этой встречи. Но война перевернула все планы и зачеркнула многие судьбы.

28 июня в Сараеве был убит эрцгерцог Фердинанд. Европа начала готовиться к войне.

Между тем, вернувшись на Родину, Витгенштейн осознал, что он обладает огромным состоянием. Первой, «довоенной» реакцией была благотворительность, второй, «послевоенной» — отказ от денег вообще. Между этими двумя столь различными действиями была мировая война. Она резко изменила характер Витгенштейна, сделала из него совершенно другого человека. Об этом наш рассказ в этой главе.

Еще живя в Норвегии, Людвиг, читая журнал Карла Крауса (главного лидера и теоретика австро-венгерского модернизма) «Die Fackel», прочел там заинтересовавшее его эссе последователя Крауса Людвига фон Фикера, который сам издавал в Инсбруке «краузианский» литературный журнал «Der Brenner» («Знамя»), 14 июля Витгенштейн написал фон Фикеру письмо с предложением послать сто тысяч крон, чтобы тот распределил их между нуждающимися литераторами. Фикер был, естественно, ошарашен таким предложением от незнакомого и никому неизвестного человека (правда, с хорошей фамилией). Он в своем ответе поинтересовался, не шутка ли это предложение, — так как это были очень большие деньги. В ответ Витгенштейн известил его о том, что переводит ему эту сумму. Тогда Фикер приехал в Вену, чтобы познакомиться с Витгенштейном и дать ему отчет в том, как он собирается распределить эту сумму. Витгенштейн объяснил ему свое решение пожертвовать сумму денег на австрийских литераторов не только чистой филантропией, но и тем, что он хочет таким своеобразным путем войти в круг венской интеллигенции. Однако известно, что в основном те, кто получал части из этой суммы, не знали имени жертвователя. Хотя, конечно, Витгенштейн действительно нуждался в собственных

корнях, особенно теперь, когда, как он думал, с Кембриджем покончено. Итак, они встретились с Фикером, и разговор был достаточно нейтральный. Витгенштейн рассказал ему о Расселе и Фреге, о своих занятиях логикой, о том, как он жил в уединении в Норвегии.

Будучи в Вене, фон Фикер познакомил Витгенштейна с архитектором Адольфом Лоосом, на которого Витгенштейн произвел огромное впечатление и показался чрезвычайно близким по культурно-философским позициям. Впрочем, и это знакомство не переросло в дружбу, а после войны Витгенштейн и вовсе охладел к Лоосу.

С немецкой пунктуальностью Фикер начал распределять деньги, высчитывая, кому сколько полагается, исходя из культурной значимости реципиента и степени его потребности в деньгах. Наибольшие суммы (по 20 000 крон) получили трое — Райнер Мария Рильке, Георг Тракль и Карл Даллаго. Последнего мы не знаем. Монк пишет, что это «была богемная фигура, известный писатель и философ, постоянно публиковавшийся в журнале фон Фикера и исповедовавший восточную мистику» *[Monk 1990: 108]*.

Из оставшихся 30 000 крон по 5 тысяч получили Карл Хауэр (друг Тракля и сотрудник «Факела») и впоследствии знаменитый художник-экспрессионист Оскар Кокошка. Еще 4 тысячи крон получила Эльзе Ласкер-Шулер, поэтесса, регулярно писавшая в «Факел». По 2 тысячи крон досталось архитектору Адольфу Лоосу и писателям Теодору Хакеру, Теодору Дёблеру, Людвигу Эрику Тезару, Рихарду Вайсу и Францу Краневиттеру. И наконец, по тысяче крон получили также ничего не говорящие нам фигуры — Герман Вагнер, Йозеф Оберкофлер, Карл Хайнрих и Гуго Найгебауэр *[Monk 1990: 108–109]*.

Мы просим читателя не испытывать чувства неловкости оттого, что перед ним проходят совершенно незнакомые ему фамилии. Дело в том, что, скорее всего, Витгенштейн сам ничего не знал о творчестве большинства тех деятелей австрийской культуры, кому он анонимно передал деньги.

Интересно, что один из бенефициариев, Теодор Хакер, известный тем, что своими переводами из Киркегора, опубликованными в журнале фон Фикера, ввел фигуру датского мыслителя, столь много значащего впоследствии для Витгенштейна, в немецкую культуру, отказался принять деньги для себя лично, предложив оплатить его дальнейшие переводы Киркегора. Фикер, разумеется, согласился на это условие.

Только о трех людях из тех шестнадцати, кому достались витгенштейновские деньги, можно сказать, что Витгенштейн

хорошо их знал и восхищался их произведениями. Это Адольф Лоос, Райнер Мария Рильке и Георг Тракль. Да и то, он говорил, что ему нравится «тон» (наверное, он имел в виду ритмико-мелодическую сторону) поэзии Тракля, в то время как содержания стихов, как он признавался, он не понимает; он не любил поздней поэзии Рильке; что касается Лооса, то после войны Витгенштейн со свойственной ему «римской прямотой» и честностью, которая часто оборачивалась жестокостью, объявил Лооса шарлатаном.

Между тем, Рильке написал Витгенштейну письмо, в котором благодарил его, и Витгенштейн говорил об этом письме как о «добром и благородном». Когда фон Фикер прислал ему стихи Тракля, о котором Витгенштейн раньше не слышал, то, прочитав их, Витгенштейн ответил, что он ничего не понял в них, «но их тон сделал его счастливым».

В то время как Витгенштейн занимался благотворительностью, эрцгерцога Фердинанда уже не было в живых. 23 июля Австро-Венгрия объявила ультиматум Сербии, срок которого истек 25-го в 6 часов вечера. Ответа не последовало, и началась война, то есть, как писал Л. Н. Толстой, «совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие».

Первая мировая война играет огромную, можно сказать, ключевую роль в культуре XX века. То, что было до войны, было лишь преддверием XX века, — это было, так сказать, культурной обманкой.

Прозорливая Анна Ахматова недаром писала в поэме «1913 год» (первой части «Поэмы без героя»):

А по набережной легендарной
Приближался некалендарный,
Настоящий двадцатый век.

Двадцатый век начался с Первой мировой войны. Как все изменилось!

Вспомним, как тяжко страдал Людвиг в благополучном Кембридже. И из-за чего? Из-за каких-то «интрижек», из-за несогласий с Расселом, он «надувался» из-за малейших неудобств, причиняемых ему жизнью, ссорился с любившими и помогавшими ему людьми. Война все переменила, она сделала Витгенштейна *совершенно другим человеком.* Да и всех людей она сделала совершенно другими. Появилось целое поколение деятелей культуры, по большей части литераторов, которое принято называть «потерянным поколением» — это прежде всего

английский писатель Ричард Олдингтон, американцы Скотт Фицджералд, а также совсем молодые тогда Уильям Фолкнер, Эрнест Хэмингуэй, Эрих Мария Ремарк. В своих романах они отразили ту совершенную растерянность, утрату нравственных ориентиров и ценностей, которая имела место в Европе и Америке после и в результате Первой мировой войны. В России феномена потерянного поколения не было, его отодвинули революции, — в России было скорее «потрясенное поколение», например Михаил Булгаков, Андрей Платонов, Илья Зданевич, Осип Мандельштам.

Витгенштейн, непосредственно прошедший войну, безусловно, как будет видно из дальнейшего изложения событий его жизни, принадлежал к потерянному поколению. И поэтому к произведениям, навеянным войной — «Прощай, оружие» Хемингуэя, «На западном фронте без перемен» Ремарка, «Смерть героя» Олдингтона, «По эту сторону рая» Фицджеральда, «Солдатская награда» Фолкнера и другим — можно *mutatis mutandis* отнести и «Логико-философский трактат» Витгенштейна.

Первая мировая война, как ни парадоксально и для кого-то, может быть, кощунственно прозвучит это суждение, была страшнее второй. Как же так? Ведь не было газовых камер, бомбежек, массового геноцида, уничтожения мирного населения. Но это была *Первая* мировая война, которая началась на достаточно благополучном культурном фоне. Люди вообще не ожидали, что такое может произойти, что фактически вся планета может быть втянута в огромную войну. Кроме того, Первая мировая война очень многим казалась бессмысленной — не только социал-демократам, но и, например, тому же лорду Расселу, который подвергался гонениям в демократической Англии за пропаганду пацифизма. Только потом стало ясно, что мировая война ведется в конечном счете из-за огромных денег, земель и что, опять-таки пользуясь выражением из романа «Война и мир», «не порох решает дело, а те, кто его выдумал». Скорректируем это выражение применительно к XX веку: «те, кто выгодно вложил в него свой капитал».

Кроме того, война 1914–1918 годов была ужасной тем, что в ней психологически не было победителей. Даже Америка вышла из этой войны «ободранной» и озлобленной. Потому что, повторяем, людям неискушенным непонятно было, «за что они проливали кровь». Прямым следствием Первой мировой войны было зарождение тоталитарных режимов в главных странах-участницах этой войны — России и Германии. Также очень болезненным для многих, в том числе и для Витгенштейна, был раскол Австро-Венгрии как результат поражения в войне.

А теперь посмотрим, что происходило во время Второй мировой войны. Да, Освенцим и геноцид, да, бомбежки и ленинградская блокада. Но преступления против человечности были опять-таки следствием того, что основными участниками Второй мировой войны были тоталитарные Германия и Россия, то есть второй войны не было бы, не будь первой. Особенностью Второй мировой войны была абсолютная ясность для большинства людей, участвовавших в ней на стороне противников Гитлера: враг ужасен, но он перед тобой, он не прячется, нужно уничтожить его военную и политическую мощь (уничтожить хотя бы германский тоталитаризм и ограничить советский). Американцы, к сожалению, не успели освободить *всю* Европу, поэтому вторую задачу решить удалось лишь отчасти. Но представьте себе, что было бы, если бы СССР «освободил» не только Польшу, Венгрию Болгарию, в общем, страны будущего Варшавского договора, но и, например, Францию и *всю* Германию. А то и Англию, хотя это гораздо труднее себе представить.

Позитивным результатом Второй мировой войны было не только уничтожение тоталитаризма в Германии, но и посредством выдвижения в мировой политике на первый план Соединенных Штатов — ограничение и в определенном смысле начало уничтожения тоталитаризма в России, которое затянулось, правда, на 45 лет.

Человек с Библией

Психологическое восприятие людьми, которые родились в XIX веке, начала Первой мировой войны также резко отличалось от психологического восприятия Второй мировой войны. Люди, родившиеся в XIX веке, пережили много войн, некоторые из которых втягивали несколько стран, — наполеоновские войны, Крымская война, война на Балканах, — но все это были не войны, а *кампании,* в них участие принимали только армии, а мирное население не было или почти не было затронуто вовсе. (Толстовская «дубина народной войны», во-первых, была педагогическим преувеличением — «Война и мир» родилась из рассказов по русской истории, которую Толстой преподавал в яснополянской школе, — а во-вторых, партизанское движение в 1812 году было в каком-то смысле праобразом, репетицией партизанского движения Великой отечественной войны со всем его героизмом и обоюдными жестокостями.)

Итак, в 1914 году люди в Европе не понимали, что предстоит нечто страшное, и хотя война была уже объявлена, Дэвид Пинсент в письме от 29 июля, беззаботно и счастливо предвкушая встречу с Людвигом в лондонском Грандотеле, которая была даже намечена на 24 августа, спрашивал, куда они отправятся на сей раз. Может быть, на Андоры, а может быть, на Мадеру? Нет, все-таки в Европе война, лучше на Андоры не ехать — трудно будет возвращаться.

Под эту милую эпистолярную воркотню друга, который находился официально уже на вражеской территории, Витгенштейн подумывал, что ему предпринять. Главное, уехать из Австрии — это ему было ясно. Но куда: в Англию или в Норвегию, где ему уже к тому времени построили дом? Однако узнав, что он уже не может никуда уехать по военно-административным причинам, Витгенштейн решительно вступил в австрийскую армию добровольцем (от военной службы он был освобожден еще летом 1913 года — при обследовании в венском госпитале у него обнаружили грыжу, что, конечно, может вызвать только горький смех, — депрессии тогда еще в расчет не принимались). «Думаю, что это великолепно, что он пошел в армию, но в высшей степени печально и трагично». Так в своей обычной, одновременно банальной и искренней манере прокомментировал это известие Дэвид в своем дневнике.

Хотя Витгенштейн был безусловно патриотом *[Monk 1990: 111],* его решение идти на войну было продиктовано не только естественным желанием защитить свою родину. В соответствии с

парадоксальной логикой шизотимного мышления, для того, чтобы выжить не только физически, но и душевно и духовно, Людвиг нуждался в серьезном испытании, так как он чувствовал, что он должен измениться, превратиться совершенно в другого человека, чувствовал это еще с января 1914 года. Впрочем, может быть, ничего парадоксального в этом не было. Ведь Витгенштейн был человеком, родившимся и получившим воспитание в XIX веке, поэтому желание пройти этот естественный для мужчины обряд инициации с такой точки зрения не вызывает никакого удивления. Опять-таки вспоминается Л. Н. Толстой (который через год станет для Витгенштейна своеобразным ангелом-хранителем), описывавший в романе «Воскресение» (этот роман, кстати, был написан уже почти в XX веке — в 1899 году — и во многом с позиций XX века), как Нехлюдов, приехавший к своим тетушкам перед тем, как отправиться на войну, был горд и преисполнен какого-то особого благоговения оттого, что он едет на войну и его могут убить. Конечно, Людвиг, как и никто на Земле, не мог себе представить, что эта война не будет похожей ни на одну другую, как не мог он представить и того, что он вернется с фронта «совершенно другим человеком».

Конечно, можно сказать, что Витгенштейн пошел на войну не только для того, чтобы очистить свою душу опасностью и смертью. Война для него была также своеобразным обрядом инициации, то есть таким моментом, который переживает юноша в традициональном обществе, когда он уходит из семьи в инициационный лес и подвергается там серьезным мучениям и смертельной опасности. Витгенштейн был готов к смерти, да и на войне умереть проще и почетнее, так как культура оценивает высоко гибель воина на поле боя, и, как правило, очень низко — самоубийство отчаявшегося в жизни человека. А Витгенштейн, вернувшись из Кембриджа, продолжал думать, писать и говорить, что хотел бы покончить с собой, травмируя этим намерением семью и товарищей.

К тому же, Витгенштейн хотел быть храбрым. Перед первым своим боем в 1916 году он писал: «Теперь у меня есть шанс стать *приличным* (decent) (курсив мой — *В. Р.)* человеком» *[Monk 1990: 112]*. Приличным, то есть полноценным мужчиной, человеком, которого уважают в обществе. Интересно, что когда Витгенштейн возвратился из Англии вновь на родину, в нем взыграл сын миллионера, буржуазного аристократа. Как говорил себе князь Андрей Болконский в «Войне и мире», когда рядом вертелась бомба, вот-вот готовая взорваться, и все солдаты попрятались: «Я не могу бояться, я не должен бояться».

Витгенштейн вступил в Австрийскую армию простым

солдатом-добровольцем, вольноопределяющимся, как говорили в России в XIX веке. 7 августа, через день после того, как Австрия объявила войну России, Витгенштейн был приписан к артиллерийскому полку, расквартированному в Кракове, на Восточном фронте. 9 августа он писал из Кракова: «Смогу ли я здесь работать??! Я слишком тревожусь о том, что происходит вокруг». Из этого можно сделать вывод, что Витгенштейн собирался на войне продолжать занятия логикой. Так оно и было. Первые полтора года войны Витгенштейн не участвовал в военных действиях. Он служил на военном корабле. Он возобновил переписку с друзьями и даже отсюда продолжал заниматься благотворительностью. Так, он назначил (техническое исполнение было возложено на Кейнса) стипендию профессору Джонсону, чтобы тот мог продолжать свой многотомный труд по логике. Активными адресатами Витгенштейна стали его берлинские друзья супруги Йоллес и… Готлоб Фреге. Станислас и Жюли Йоллес были очень горды тем, что их «маленький Людвиг» оказался на войне. Профессор Йоллес писал Витгенштейну: «Я никогда не думал о тебе так часто и с такой радостью в сердце».

По-видимому, во всех поколениях советских людей официальная пропаганда настолько убила идею искреннего патриотизма, что мы не можем понять, как эти люди могли радоваться, что любимый ими человек оказался на войне и его могут убить. Между тем, даже Фреге писал Витгенштейну, что он рад его решению, правда, тут же сетовал, найдется ли у Людвига время для занятий логикой.

Однако, как пишет Монк, от самоубийства его спасли не подбадривающие письма, которые он получал от Йоллесов и Фреге, а конечно, тот личностный переворот, который с ним произошел. В это время он был, так сказать, «спасен словом» (из дальнейшего контекста ясно, что под словом разумеется Слово Божие, причем в редакции Льва Николаевича Толстого — *В. Р.)*.

Когда его полк был передислоцирован в Галицию (нынешнюю западную Украину), Витгенштейн зашел в книжный магазин и купил там толстовское переложение Евангелий (конечно, немецкий перевод; русский язык Витгенштейн выучил значительно позже, в середине 1930-х годов, когда собрался ехать в Россию на постоянное жительство). Что это была за книга? Л. Н. Толстой, когда с ним произошел религиозно-этический переворот и он отказался от своего художественного творчества и осудил его, придумал свое очищенное христианство, без церкви, без духовенства и без чудес (несколько веков назад все это обозначили бы весьма точным и исчерпывающим словом — «ересь»). Главным компонентом религии Толстого, кроме

пресловутого непротивления злу насилием, которое эксплицитно содержится в самих канонических Евангелиях — да, собственно, Толстой и претендовал только на то, что он *правильно* раскрыл содержание Евангелия, — был крестьянский идеал простой, не замутненной умствованием жизни (звучит странно — но это был, так сказать, мирный вариант народовольчества; недаром Толстой — противник насилия! — все время писал царю письма, требуя помиловать убийц (видимо, чувствовал в чем-то своих). С Евангелиями же Толстой сделал нечто в высшей степени кощунственное, и не только с ортодоксальной православной точки зрения, но и с точки зрения филологической. Он слил четыре Евангелия в одно (специально для этого на старости лет выучил древнегреческий язык!), убрал оттуда все, по его мнению, ненужное (например, воскресение Лазаря или пир в Кане галилейской, на котором вода превращалась в вино по слову Божию) и в таком виде преподнес этот подарок своему народу. (Если бы автор этой книги при всей искренней любви к Толстому и восхищении им как личностью — предположим невозможное — был бы членом Синода, который отлучил Толстого от церкви, боюсь, что именно из-за этих «раннепостмодернистских» препарирований Священного Писания он голосовал бы «за».)

Но Витгенштейну нравилось; он не только не расставался с приобретенной книгой, за что солдаты и прозвали его человеком с Библией, но настоятельно рекомендовал ее друзьям и знакомым, например, фон Фикеру. И самое интересное, что фон Фикер тоже купил Евангелие Толстого и тоже им восторгался. Похоже, Л. Н. сделал подарок не православным мужикам, а утонченной австрийской интеллигенции. Так или иначе, но именно Евангелие от Толстого было первым толчком в том духовном перерождении, которое Витгенштейн пережил на войне.

В ноябре 1914 года он записал в дневнике:

> Стань независим от внешнего мира, и тогда ты не будешь знать страха, что бы с тобой ни случилось *[Витгенштейн 1994а: 138]*.

Высказывание в духе восточной философии (например, учения санкхья, развитого в «Бхагаватгите»), которой сильно увлекался и Толстой. Символично, что на военном корабле, на котором служил Витгенштейн, его работа заключалась в том, что он обслуживал ночной прожектор. «И свет во тьме светит» — этой евангельской цитатой называлась автобиографическая пьеса Л. Н. Толстого, посвященная перипетиям его духовного перерождения.

Через две недели после приобретения толстовского Евангелия, Витгенштейн записал в дневнике: «Я на пороге

великого открытия».

Великим открытием оказалась логико-философская теория, в соответствии с которой предложение является картиной реальности. Как рассказывал впоследствии Витгенштейн своему приятелю и ученику, в будущем знаменитому логику профессору Георгу фон Вригту (после смерти Витгенштейна Вригт написал о нем очень благородный и адекватный биографический очерк *[Вригт 1994]*), он (Витгенштейн) однажды рассматривал в иллюстрированном журнале статью об автомобильной катастрофе в Париже, катастрофа была изображена в виде комиксов. Витгенштейну пришло в голову, что так же, как на этих картинках изображения маленьких лошадей, автомобилей, людей, перекрестка, домов соответствуют реальным лошадям, автомобилям и т. д., так и в предложении каждая его часть соответствует тому факту, который это предложение изображает. Например, предложение «Мальчик ест мороженое» имеет три части — два имени и глагол. Соответственно, в том факте, что некий мальчик ест мороженое, тоже три составляющих — сам мальчик, мороженое, которое он ест, и действие поедания мороженого. Между частями предложения и частями факта устанавливается отношение изоморфизма. Эта концепция почти в неизменном виде вошла в «Логико-философский трактат» (см. главу 4).

Между тем, в конце 1914 года произошла трагическая история с Георгом Траклем. Витгенштейн получил от него известие из Кракова, что он лежит в военном госпитале с психическим расстройством. Корабль, на котором служил Витгенштейн, возвращался в Краков. У Тракля в Кракове не было никого, кто бы мог прийти к нему и поддержать. Тракль очень просил Витгенштейна прийти к нему в больницу и поговорить с ним, прежде чем его (как он предполагал) снова отправят на фронт. Витгенштейн радовался предстоящему визиту, но, когда он появился в госпитале, было уже поздно. Георг Тракль, выдающийся австрийский поэт-экспрессионист, покончил с собой, приняв огромную дозу кокаина. Это произошло 3 ноября, за два дня до прихода Людвига. Витгенштейн был потрясен: «Wie traurig, wie traurig!!!» («Какое несчастье, какое несчастье!!!») — вот все, что записано у него в дневнике по этому поводу.

После смерти Тракля мысли Витгенштейна все больше обращались к Дэвиду. «Как часто я думаю о нем! Думает ли он обо мне хотя бы вполовину так, как я о нем?» В письмах он называл его «любимый Дэвид». Ждал с нетерпением его писем. Когда однажды письмо пришло после нескольких недель задержки, он поцеловал его. В его дневнике постоянно мелькали

две фразы: печальная — «Keine Nachricht von David» («Никаких новостей от Дэвида») и радостная — «Lieber Brief von David» («Дорогое письмо от Дэвида»).

30 апреля 1915 года он получил очередное Lieber Brief von David, в котором тот сообщал, что написал работу по философии, «наверно, абсолютный вздор», о том, что такое логика в целом и что такое «истина» и «знание»: «Как бы я хотел, чтобы ты был здесь, — добавлял он, — и мы бы могли обсудить все это».

Весной 1915 года Витгенштейн служил уже не в Кракове, а в Галиции под Лембертом (теперь этот город принято называть Львов), в местечке Сокал. Это был довольно удачный период в его военной жизни. Он познакомился и подружился с неким доктором Максом Билером, который работал в госпитале Красного Креста, расположенном в хвостовом вагоне поезда, где жили военные.

Вот как Билер вспоминает о своем знакомстве с Витгенштейном:

> Уже во время первого завтрака среди офицеров я заметил худого, быстрого в движениях человека, не имевшего чина, в возрасте около 25 лет. Он мало ел и пил и совсем не курил, в то время как остальные набивали себе глотки едой и было очень шумно. Я спросил своего соседа по столу, кто этот человек, и мне сказали, что его зовут Людвиг Витгенштейн. Я был рад встретить среди молодых пустоголовых офицеров человека с университетским образованием и, кроме того, столь симпатичного. У меня сложилось впечатление, что он чужой во всей этой компании: он был здесь, потому что должен был быть. Мне кажется, симпатия была взаимной, потому что после трапезы он пригласил меня посетить его закуток в поезде. Так началась наша дружба, которая продолжалась несколько месяцев (почти год), с ежедневными многочасовыми беседами без виски и сигарет. Через несколько дней он предложил мне перейти с ним на «ты» *[Monk 1990: 133]*.

Это была очень тесная и счастливая фронтовая дружба. Они говорили о философии и, вероятно, о религии. Во всяком случае, Витгенштейн однажды сказал Билеру, что он может быть хорошим послушником, но не пророком. В своих воспоминаниях Билер комментирует это высказывание так: «Я мог бы сказать о нем, что он обладал всеми чертами именно пророка, но отнюдь не послушника» *[Monk 1990:133]*.

На фронте и в плену

В конце марта 1916 года Витгенштейн был отправлен в соответствии с его желанием в боевое подразделение — на Русский фронт. Он был зачислен в артиллерийский полк Седьмой Австрийской армии, занявшей боевые позиции в южной части Восточного фронта, возле румынской границы. Витгенштейн готовил себя физически и духовно встретить смерть лицом к лицу. «Бог просветит меня. Бог просветит мою душу», — записал он 30 марта. И на следующий день: «Делай все, что в твоих силах. Ты не можешь сделать большего — и будь веселым. […] Помогай себе и другим со всей отдачей. И все равно будь веселым! Но как много сил нужно одному, и как много — для других? Трудно жить хорошо! Но славно жить хорошо. Так или иначе, да будет не моя, но Твоя воля» (цит по *[Monk 1990: 137])*. Последняя фраза — цитата из Евангелия, знаменитого эпизода Моления о чаше, когда Иисус на секунду заколебался, зная какие страшные муки ему уготованы. Вот этот фрагмент:

> И вышед пошел по обыкновению на гору Елеонскую; и за ним последовали и ученики Его.
>
> Пришед же на место, сказал им: молитесь, чтобы не впасть в искушение.
>
> И Сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колена, молился,
>
> Говоря: Отче! О, если бы Ты благоволил пронесть чашу сию мимо Меня! *впрочем не Моя воля, но Твоя да будет [Лука 22, 39–42]* (курсив мой — *В. Р.)*.

Можно убедиться, таким образом, что многочисленные утверждения других людей о том, что Витгенштейн был похож на святого, пророка и даже на самого Христа (особенно в послевоенный период, см. *[Бартли 1994];* см. также главу 5), похоже, не были лишены основания и совпадали с (возможно, бессознательными) ощущениями Людвига. Впрочем, вряд ли только бессознательными. Писал же Людвиг Энгельманну, что он должен был бы быть *звездой на небе!*

Незадолго до наступления командир предупредил его, что поскольку Витгенштейн все-таки нездоров (на фронте у него постоянно был дифтерит), его могут отправить в тыл. «Если это произойдет, — писал Витгенштейн, — я убью себя». 15 апреля ему объявили, что он будет допущен к боевым действиям. Витгенштейн считал дни и молил Бога ниспослать ему храбрости.

Он выбрал себе самое опасное место — наблюдательный пост, чтобы уж непременно попасть под огонь русских. «Я был обстрелян, — писал он 29 апреля. — Мысли о Боге. Боже, Ты все сделаешь. Бог со мной». А 4 мая, когда он был ночью на наблюдательном посту и огонь был шквальным на протяжении всей ночи, он написал следующее:

> Только теперь война действительно начнется для меня […]. И — быть может — и жизнь тоже. Возможно, близость к смерти принесет мне свет жизни. Может, Бог просветит меня. Я червь, но через Бога я становлюсь человеком. Бог со мной. Аминь.

И еще он записал следующий афоризм: «Только смерть придает жизни ее смысл».

Отношения с окружающими его солдатами — грубыми, ограниченными, недалекими, вечно пьяными и ненавидящими в нем чужого — были не менее серьезным испытанием, чем храбрость под огнем противника. Витгенштейн чувствовал, что ненавидит их, но, ненавидя их, он чувствовал разлад с Богом. Он внушал себе, что должен понять и принять их такими, какие они есть (вновь толстовский мотив — Пьер Безухов). Наконец, он пришел к тому, что уже не ненавидит их, хотя они продолжали его «доставать».

Летом 1916 года произошел знаменитый Брусиловский прорыв на восточном (с точки зрения России — западном) фронте, и Австрийской армии пришлось несладко. В этот момент записи Витгенштейна по логике, которые теперь принято называть «Тетрадями 1914–1916», приняли совершенно иной характер. Витгенштейн резко повернул от технических вопросов логики к онтологическим и этическим проблемам в духе Шопенгауэра и Ницше. Несомненно, что к этим записям о Боге и смысле жизни побудил Витгенштейна его фронтовой опыт, это была, так сказать, «философия под огнем». Над этими записями Витгенштейн работал все лето 1916 года. Вот наиболее характерные фрагменты:

8 июля 1916

Я могу сделать себя независимым от судьбы.
Есть два божества: мир и мое независимое Я.
Я либо счастлив, либо несчастлив, вот и все.
Можно сказать: добро и зло не существуют.

> Человек, который счастлив, не должен бояться.
>
> Даже перед лицом смерти.
>
> Только тот человек счастлив, который живет не во времени, а в вечности.
>
> Для жизни в настоящем не существует смерти.[…]
>
> Страх перед лицом смерти — лучший знак ложной, то есть дурной жизни *[Витгенштейн 1994а: 196]*.

Здесь несомненны — возможно, через посредство Шопенгауэра — принципиальные переклички с восточными философиями: буддизмом, санкхья, даосизмом. Так, Кришна в «Бхагаватгите» учил, что смерти не имеет смысла бояться, потому что она представляет собой иллюзию человеческого сознания; а стремление к хорошей, славной жизни (а не к суровому аскетизму) носит буддистский характер (восьмеричный путь).

Между тем, война продолжалась и делалась все более ожесточенной. 26 июля он получил письмо от Пинсента, в котором тот сообщал, что его брат погиб во Франции. Австрийцы были отброшены русскими к Карпатам, условия существования стали очень тяжелыми.

Ужасно трудно не потерять себя, — писал Людвиг. — Ибо я слабый человек. Но Святой Дух поможет мне. Лучше всего, если бы я заболел, тогда это даст мне кусочек мирной жизни.

Здесь важно не то, что Витгенштейн проявляет слабость, не то, что холод, голод и дождь оказалось тяжелее переносить, чем огонь русских. Важно то, что впервые Витгенштейн *захотел жить*. Как характерно меняется его описание опыта нахождения под огнем:

> Вчера я был под огнем. Я был напуган! Я боялся смерти. У меня теперь такое желание жить. И трудно отдавать жизнь, когда наслаждаешься ею. (Но тут же начинается самоосуждение в религиозном духе. — *В. Р.)* Это именно то, что называется 'грехом', неразумная жизнь, ложный взгляд на жизнь. Время от времени я становлюсь *животным*. Тогда я не думаю ни о чем, кроме еды, питья и сна. Ужасно! И страдаю я в это время, как страдают животные, не имеющие возможности спасения, идущего изнутри (цит. по *[Monk 1990: 142])*.

Несмотря на все эти внутренние самобичевания, Витгенштейн на самом деле показал завидную храбрость и был за это представлен к награде. «Своим достойным поведением», — говорилось в рапорте, — «он заражал своих товарищей спокойствием и хладнокровием» *[Monk 1990: 146]*.

В конце августа Витгенштейн был отправлен в Ольмюц для подготовки к представлению на офицерский чин. В этом городе он встретил молодого человека, который стал одним из его ближайших друзей второго докембриджского периода. Это был Пауль Энгельманн, студент, организовавший группу молодых людей, составлявших культурный оазис в городе. Энгельманн считал себя учеником Крауса и Лооса. Впоследствии он сам стал архитектором и помогал Витгенштейну проектировать дом на Кундмангассе, который Витгенштейн построил для своей сестры Гретль (Маргарет Стонборо).

Дружба между Витгенштейном и Энгельманном была основана на том, что оба они пережили духовное религиозное пробуждение. Энгельманн писал об их дружбе:

> Во мне Витгенштейн нашел человека, который, подобно многим из молодого поколения, остро страдал от несоответствия между тем, каков мир есть и каким он должен быть […], но мы склонны были видеть источник несовершенства мира скорее в самих себе *[Engelmann 1968: 74]*.

То, что совершенно не доходило до Рассела в витгенштейновском «Трактате» — учение о различии между тем, что может быть сказано, и тем, что само проявляет себя, то есть мистическая сторона этого текста — было как раз наиболее близким Энгельманну.

В феврале 1917 года в России произошла революция, а Витгенштейн получил серебряную медаль за доблесть. Война потихоньку подходила к концу, несмотря на милитаристские устремления («Война до победного конца») правительства Керенского. Осенью в России к власти пришли большевики, а в марте 1918 года Ленин и Троцкий подписали Брест-Литовское мирное соглашение. Витгенштейна перевели на итальянский фронт. 1 февраля 1918 года он был произведен в лейтенанты и награжден медалью за Военную Службу с лентой и Мечами. В конце октября итальянцы захватили у австрийцев 7 тысяч боевых орудий и взяли в плен 500 тысяч человек. Среди них был Витгенштейн. Вначале его содержали в лагере для военнопленных в Комо, где он познакомился с двумя венцами — скульптором Михаэлем Дробилем, который впоследствии вылепил бюст Витгенштейна, и учителем Людвигом Хенцелем, который оказал ему моральную поддержку, когда Витгенштейн готовился стать учителем младших классов в деревне. С образованным Хенцелем они вели дискуссии по философии, занимались символической логикой и вместе читали «Критику чистого разума». В январе всех

троих перевели в другой лагерь — в Монте-Касино. Из лагеря Витгенштейн мог писать открытки. Так он связался с Расселом и Кейнсом. Кейнс сразу вызвался устроить Витгенштейну досрочное освобождение, но Витгенштейн от этого категорически отказался по этическим соображениям.

Рассел же в эту пору был увлечен пацифистским идеями, за что даже один раз угодил на шесть месяцев в тюрьму. Названия его книг этих лет говорят сами за себя: «Принципы социальной реконструкции», «Пути свободы». Правда, в тюрьме он написал серьезную книгу «Введение в математическую философию». Но чего не напишешь, сидя в тюрьме! «Утешение философией», например. Или «Что делать?»

В зрелые годы, рассуждая о Расселе и его произведениях, Витгенштейн сказал Друри, что будь его воля, он поделил бы все книги Рассела на две части и те книги, которые посвящены логике и философии, вменил бы в обязанность читать всем студентам, а другую часть книг — о феминизме, свободе и борьбе за мир — вообще запретил бы читать. Рассел радостно написал Витгенштейну, что тот, слава Богу, оказался жив. (В одном из примечаний к «Введению в математическую философию» Рассел, ссылаясь на «своего ученика Витгенштейна», пишет, что ему неизвестно даже, жив он или нет.) Следующее предложение его письма содержит просьбу написать о логике. Витгенштейн ответил, что он решил все проблемы, волновавшие его, и закончил книгу в августе 1918 года, за два месяца до плена, что он хочет переправить копию Расселу, но не знает, как это сделать. В результате копии получили три человека: Рассел, Фреге и Энгельманн. Откуда взялось столько копий, непонятно.

Витгенштейн был освобожден из плена 21 августа 1919 года.

История публикации «Трактата»

Летом 1918 года, когда еще продолжалась война, а Витгенштейн еще не попал в плен, он гостил у своего дяди Пауля в Халайне близ Зальцбурга. Здесь он закончил главную книгу своей жизни — «Логико-философский трактат». Это была рукопись примерно из 60-ти страниц, состоящая из предисловия и, как правило, коротких проиндексированных афоризмов. Предложение 1 поясняется предложением 1.1, оно, в свою очередь, предложениями 1.1.1 и 1.1.2 и так далее. Каждый афоризм по своей ригористичности выглядит, по остроумному замечанию Рассела, «как царский указ».

Радость от завершения книги (если она вообще имела место) была омрачена страшным для Людвига известием. Он получил письмо от миссис Фанни Пинсент, которая сообщала Людвигу, что Дэвид 8 мая погиб в воздушном бою. «Я хочу сказать вам, как он любил Вас и ценил Вашу дружбу до самого конца».

> Это был мой первый и единственный друг, — писал ей Витгенштейн. — Я знал многих молодых людей моего возраста, и у меня были хорошие отношения с некоторыми из них, но лишь в нем я нашел подлинного друга; часы, проведенные с ним, были лучшими в моей жизни, он был для меня другом и братом. Каждый день я думал о нем и надеялся увидеть его. Господь да упокоит его душу. Если я доживу до конца войны, я приеду повидать Вас и мы поговорим о Дэвиде *[Monk I990: 209]*

В конце письма он сообщал, что закончил философский труд и посвящает его памяти Дэвида.

Несмотря на самое мрачное настроение и острый приступ суицидальной депрессии, Витгенштейн послал рукопись «Трактата» издателю Карла Крауса некоему Яходе. Через некоторое время он получил отказ.

Вернувшись из плена, Витгенштейн, оказался одним из самых богатых людей Австрии. Капитал его отца был надежно защищен и не только не пострадал от инфляции во время войны, но и увеличился.

Обычно решение Витгенштейна отказаться от наследства объясняют его личным бескорыстием и примером Л. Н. Толстого. Все это так. Но нам, выросшим в СССР, не до конца понятно, что деньги — это не только роскошь, но и большая ответственность. В семье знали, что Витгенштейн склонен к самоубийству (пример

старших братьев был у всех на памяти). Если бы Витгенштейн внезапно умер, не оставив завещания, возникло бы очень много проблем с наследством. К тому же, человек с неуравновешенной психикой с трудом мог бы управлять таким огромным капиталом. Поэтому решение Витгенштейна поделить деньги между двумя сестрами — Ленкой и Мининг — и братом Паулем (Гретль была и без того богата) было воспринято семьей в целом положительно. 10 сентября Витгенштейн съехал с Аллеегассе и отныне стал жить один.

Через несколько дней после своего возвращения из плена Витгенштейн отдал рукопись «Трактата» венскому издателю Вильгельму Браумюллеру, который в свое время издал «Пол и характер» Вайнингера. Поскольку издатель ничего не понимал в философии, Витгенштейн обратился в письме к Расселу с просьбой дать ему рекомендацию. После того, как это было сделано, Браумюллер обещал опубликовать книгу на том условии, что Витгенштейн сам заплатит за типографские расходы и бумагу. Но, во-первых, к этому времени у Витгенштейна уже не было денег, а во-вторых, он справедливо рассудил, что его дело — писать, а дело издателя — издавать.

Дожидаясь ответа от Браумюллера, Витгенштейн получил письмо от Фреге с первыми критическими замечаниями к «Трактату». В целом Фреге чрезвычайно точно ухватил основное стилистическое зерно «Трактата», поэтому Витгенштейн был явно не прав, утверждая, что Фреге не понял там ни слова. Фреге писал:

> Удовольствие от чтения Вашей книги возникает не от содержания, которое уже известно (то есть Фреге, хоть и в мягкой форме, но в целом отказывает Витгенштейну в оригинальности — *В. Р.),* но лишь от особой формы, которую избрал автор. Книга поэтому становится скорее художественным, чем научным достижением; то, что сказано в ней, занимает второстепенное место по сравнению с тем, как это сказано *[Monk 1990: 212].*

(Сравним это с суждением современного лингвиста и философа В. В. Налимова, вряд ли знавшего это письмо Фреге:

> Автор «Трактата» (…) ткет из слов кружево, заставляющее читателя задуматься не над тем, что выражено в словах […], а над тем, что стоит за этими словами, если смысл их сильно расширить. Слова здесь не доказывают мысль автора — они просто заставляют задуматься над тем, что же должно находиться в

> сознании человека, оказавшегося способным так осознать проблему *[Налимов 1979:245].)*

Витгенштейн не обиделся на критику, но наоборот, обратился к Фреге с просьбой поискать издателя. К этому времени от Браумюллера был уже получен отказ. Фреге пытался, но не смог помочь.

Тогда Витгенштейну пришла в голову мысль обратиться к своему предвоенному знакомому, издателю журнала «Der Brenner» Людвигу фон Фикеру. Он написал ему длинное письмо, рассказав всю историю написания и публикации книги.

Фон Фикер ответил со смешанным чувством воодушевления и осторожности. Все письмо его дышит двусмысленностью. С одной стороны, он заверяет Витгенштейна, что заинтересован издать его книгу не только как издатель, он имеет к ней глубокий интерес. С другой стороны, если до войны «Der Brenner» он издавал исключительно из любви к искусству, то теперь у него жена и дочь, которых надо кормить, а экономическое положение в Австрии оставляет желать лучшего (что была истинная правда). В заключение он просит прислать рукопись и обещает сделать все, что в его силах.

Витгенштейн был ободрен письмом Фикера и, посылая рукопись (это уже четвертый экзмпляр), ответил ему одним из самых знаменитых в будущем своих писем. Вот его наиболее известный фрагмент:

> Я хотел написать, что моя книга состоит из двух частей: одна из них перед Вами, все остальное не написано. И именно эта вторая часть является самой важной [*Wittgenstein 1969: 72*].

Дальше Витгенштейн не вполне тактично советует Фикеру прочитать предисловие и заключение (вероятно, он имел в виду последние афоризмы шестого раздела). Этим он дал понять, что всего остального Фикер не поймет. Нечего сказать, это была превосходная аттестация книги для издателя, который собирается ее публиковать и думает при этом о жене и детях.

Как и следовало ожидать, ответ фон Фикера был прохладным. Он писал, что о публикации в журнале говорить не приходится, но что он посоветуется с Рильке насчет какого-либо другого издателя. Переговоры с фон Фикером продолжались долго, закончились ничем и вконец измотали Витгенштейна.

В декабре 1919 года Витгенштейн встретился в Гааге с Расселом после пятилетней разлуки. Встреча была приятной. С точки зрения Рассела, Витгенштейн совершенно не изменился. Он

не терял попусту ни минуты в общении с Расселом. Утром он стучался в его дверь и, не дожидаясь ответа, входил и начинал говорить о логике, в то время как Рассел был еще в постели. Рассел согласился написать введение к «Трактату», чтобы его имя, тогда уже знаменитого философа и общественного деятеля, придало вес книге никому пока неизвестного Витгенштейна.

Следующим издателем «Трактата» был некто господин Реклам из Лейпцига, которого посоветовал Энгельманн. Витгенштейн тут же забрал рукопись у фон Фикера и послал ее Рекламу. Введение, которое Рассел написал довольно быстро, поначалу сдвинуло дело с мертвой точки, но Витгенштейн был разочарован им. К тому же перевод на немецкий, как писал он Расселу, лишил этот текст той стилистической прелести, которая была в английском оригинале. Здесь Витгенштейн опять совершил ошибку, написав издателю, чтобы он рассматривал это введение лишь как ознакомительный материал, который не будет опубликован. И сразу получил отказ. Рассел в письме спрашивал Витгенштейна, может ли он опубликовать «Трактат» в Англии по-английски со своим предисловием. В ответ Витгенштейн уже довольно истерично ответил, что Рассел может делать с рукописью *«все, что угодно»*.

В результате Витгенштейн после серии депрессий в 1921 уехал в деревню учительствовать. И как только он уехал, «Трактат» был издан. Причем два издания последовали одно за другим. Первое (1921) вышло по-немецки. Его издал в Германии Вильгельм Оствальд в «Анналах натурфилософии». Второе (1922) — по-английски в переводе Огдена и Рамсея и с предисловием Рассела вышло в Лондоне. От первого издания Витгенштейн пришел в бешенство, ибо там было очень много ошибок. Второе издание было более приличным, Витгенштейну даже прислали корректуру. Но он все равно был недоволен. Да и занят он уже был совершенно другими проблемами (о них мы расскажем в главе 5). Между тем, если немецкое издание прошло незамеченным, то английское принесло Витгенштейну мировую славу. В 1929 году он приехал в Кембридж легендарно-знаменитым философом.

Был ли Витгенштейн гомосексуалистом?

Этот вопрос начал широко дискутироваться в печати после того, как в 1973 году вышла книга Уильяма Уоррена Бартли III «Витгенштейн» [Бартли 1994], в одной из глав которой автор, ссылаясь на анонимные источники, поведал всему миру, причем убедительно и талантливо, о гомосексуальных похождениях Витгенштейна в сентябре 1919 года, когда Людвиг перестал жить на Аллеегассе и переселился на Унтер Виудуктгассе.

«Этот чистый и сильный гений, — пишет Бартли о Витгенштейне, — был гомосексуалистом, предававшимся странным, безудержным и беспорядочным связям». Далее Бартли пишет:

> Витгенштейн вдруг обнаружил, что третий район, который он выбрал из-за удобства расположения, подходит ему по еще одной совершенно неожиданной причине. Десять минут ходьбы на восток […] — и Витгенштейн добирался до парковых лужаек Пратера. Там грубые молодые люди всегда были готовы удовлетворить его в сексуальном отношении. […] По нескольку раз в неделю Витгенштейн вырывался вечером из своей квартиры и быстро шел в Пратер. Он говорил своим друзьям, что в такие минуты им овладевал дьявол, которого невозможно было остановить. Витгенштейн явно предпочитал грубых и сильных гомосексуалистов, прогуливавшихся по дорожкам и аллеям Пратера, всем тем лощеным молодым людям, которые посещали бар «Сирк Эке» на […] границе внутреннего города. […] Нечто подобное происходило и годы спустя в Англии, когда он время от времени пытался избегать светских молодых интеллектуалов, готовых предложить ему свои услуги в Кембридже. Витгенштейн предпочитал компанию грубых парней в лондонских пабах *[Бартли 1994: 165–166]*.

Витгенштейн переселился в семью Сёгренов, друзей его отца. Он подружился с сыном старика Сёгрена, Арвидом, и его жизнь в этом доме была бы счастливой и приятной, если бы не случилось нечто трагикомическое: мать Арвида влюбилась в Витгенштейна. Людвиг бежал от этой ситуации и переселился на Разумовскигассе. Эта улица была еще ближе к Пратеру.

Бартли пишет: «В сексуальной жизни Витгенштейна наступил

наиболее беспорядочный период» *[Бартли: 166]*. В качестве подтверждения своих тезисов Бартли ссылается на письма Витгенштейна к Энгельманну, где встречаются такие выражения, как «Я упал на самое дно» или «Больше года я был морально мертв». При желании эти выражения можно рассматривать как косвенные подтверждения рассказанному Бартли. Но прямо о гомосексуализме в них не говорится. В своем дневнике Пауль Энгельманн после смерти Витгенштейна писал, что его часто спрашивали о гомосексуализме Витгенштейна, но он нечего не мог ответить на это — они с Витгенштейном этих вопросов не обсуждали *[Monk 1990: 185, сноска]*.

Вот, собственно, и все шокирующие подробности, которые рассказал Бартли в своей книге. В сущности, единственное, что вызывает сомнение — это отсутствие источников. Но Бартли, естественно, написал по этому поводу, что он не имел права раскрывать имена людей, которые ему поведали о столь интимных вещах. По правде сказать, с точки зрения историка это звучит крайне неубедительно. Это все равно что сказать, что Гитлер был тайно влюблен в Любовь Орлову, но при этом скрыть источник, который сообщил эту волнующую информацию. В остальном же книга Бартли чрезвычайно интересна, она открывает много неизвестного из жизни Витгенштейна в деревне и также предлагает ряд остроумных концепций по поводу творческих установок позднего Витгенштейна.

Однако появление книги Бартли в англосаксонских кругах вызвало целую бурю эмоций. Одни бушевали праведным гневом, другие, наоборот, заявляли, что лишь теперь, узнав, что Витгенштейн был гомосексуалистом, они, наконец, по-настоящему поняли его творчество.

Рэй Монк, автор капитальной монографии о жизни Витгенштейна, на которую мы так часто ссылаемся, приложил к своей книге специальное исследование, посвященное книге Бартли и вопросу о гомосексуализме Витгенштейна (важно, что книга Бартли к этому времени вышла очередным изданием в 1985 году — вообще это, безусловно, был интеллектуальный бестселлер, — и в ней под давлением общественного мнения Бартли в послесловии написал, что он отказывается от своего утверждения, что молодые люди на Пратере были проститутками).

Цель приложения Монка не в том, чтобы доказать, что Витгенштейн не был гомосексуалистом, а в том, чтобы доказать, что наиболее шокирующие повествования о похождениях Витгенштейна на Пратере не поддаются никакой проверке реальными источниками и поэтому, скорее всего, выдуманы

автором.

По мнению Монка, Бартли имел доступ к закодированным дневникам Витгенштейна, которые носили чрезвычайно интимный характер. Например, он писал там (во время войны): «Вчера я опять мастурбировал». То есть нельзя сомневаться, что если бы эпизод с Пратером существовал, то он безусловно был бы записан. Но о нем в дневниках Витгенштейна нет ни слова. Доказательством же того, что Бартли пользовался именно этими материалами, а не рассказами мифических приятелей Людвига, служит то, что многое из того, о чем говорит Бартли, присутствует в этих дневниках. Например, дословно совпадают тексты двух снов Витгенштейна, которые Бартли приводит, якобы, опять-таки со слов тайных информантов, которые помнили эти витгенштейновские сны через 50 лет слово в слово.

Какова же позиция самого Монка по поводу гомосексуализма Витгенштейна? Действительно, Витгенштейн в дневниках пишет о своей любви к Дэвиду Пинсенту, а позже к Фрэнсису Скиннеру и Бену Ричардсу. Но это ничего не подтверждает и ничего не опровергает. В этих записях, насколько можно понять, нет никаких откровенных заявлений, вроде: «Вчера мы с Дэвидом (Фрэнсисом, Беном) всю ночь занимались любовью». Да разве Витгенштейн, каким мы его уже знаем, мог такое написать! Он писал не о сексе, а именно о любви, нежности, интимной человеческой близости. По мнению Монка, если Витгенштейн и вел гомосексуальную жизнь, то лишь в своем воображении. Он приводит такой пример. В одном месте закодированного дневника Витгенштейн пишет, что *изменил* Фрэнсису Скиннеру с неким Кейтом Кирком *[Monk 1990:585]*. Монк встретился с этим человеком и узнал от него, что ничего подобного не было. Конечно, тот мог сказать неправду. Гораздо интереснее другое: возможно, Витгенштейн реально вообще не был гомосексуалистом! Эта идея чрезвычайно сильно подкрепляется фактом влияния на Витгенштейна Отто Вайнингера, который писал, что лучше вообще жить вне секса, да и, кроме того, нам приятен образ чистого человека, может быть вообще невинного, такого «агнца Божьего», каким мы можем себе представить Витгенштейна.

А может быть, Бартли писал правду, и это не менее интересно высвечивает столь противоречивую личность Витгенштейна.

Третье размышление о формах жизни

Итак, в течение десяти лет — с 1911 до 1921 года — Людвиг прошел через две большие и совершенно не похожие *формы жизни,* языковые «суперигры» — обучение в Кембридже и участие в мировой войне. И надо сказать, что, как ни странно, в войну он научился играть лучше, чем в студента Тринити-колледжа и апостольского брата. Капризный, неуправляемый, самоуверенный, нетерпимый, помешанный на своей исключительности и поэтому считающий, что все ради него должны все бросать. Хороший игрок с таким характером может выжить в обществе, если он уже обладает по меньшей мере мировой славой. Так, например, Бобби Фишер в 1993 году наплевал на все санкции ООН и запреты шахматной ассоциации и поехал играть в шахматы в Югославию, где тогда, если помните, шла война, только для того, чтобы показать своей молодой возлюбленной, какой он храбрый и независимый. И еще для того, чтобы показать мировому сообществу, что для гения не существует санкций и запретов. И мировое сообщество в общем и целом восхищалось Бобби Фишером, так же как восхищались в 1930-е годы экстравагантным поведением Витгенштейна его кембриджские студенты.

Вероятно, можно сказать, что различие между человеком, который ощущает себя гением, и обыкновенным человеком в плане *форм жизни* состоит в том, что обыкновенные люди выучивают уже существующие языковые игры (а если они их не выучивают или нарушают, общество применяет к ним различного рода санкции). Гений создает собственные языковые игры и навязывает их обыкновенным людям. Это проблематика Раскольникова и Ивана Карамазова, имеющая прямое отношение к Витгенштейну, который недаром ставил Достоевского выше всех писателей на свете (изучая русский язык, он, по свидетельству Фани Паскаль, его учительницы, проставил в русском издании «Преступления и наказания» ударения во всех словах, то есть читал не халтурно). Любимыми героями Витгенштейна у Достоевского были старец Зосима и Алеша Карамазов. Но, возможно, Витгенштейн не читал поздней новеллы Конан Дойля, в которой Шерлок Холмс, размышляя над «Братьями Карамазовыми», пришел к выводу, что отца убил Алеша (ср. *[Руднев 1995]).* Да и действительно, Достоевский в третьем томе собирался сделать Алексея Карамазова убийцей царя (что то же самое, что отца), отсюда перекличка фамилий Карамазов и Каракозов *[Гроссман 1965].* В образе же старца Зосимы очень

важен динамический аспект, процесс перерождения из офицера в святого, в будущем подобное в какой-то мере переживал и Витгенштейн, но он не прошел эту дорогу до конца. Ибо когда в душе у гения только Бог и гармония, он, как правило, перестает создавать новые произведения (классический пример — Джером Селинджер), для этого ему в той или иной степени нужен дьявол *[Руднев 1994а, 1996а]*.

И вот война была дана Витгенштейну для того, чтобы показать, что принцип «Все дозволено» работает только в атмосфере Тринити-колледжа, что на войне все равны, всех могут убить, все рабы Божьи.

Вот и Витгенштейн пришел на войне к Богу, хотя, конечно, до конца своей гордыни он преодолеть не мог, иначе бы он так не изматывал себя, пытаясь опубликовать «Трактат». Вспомним: стоило ему бросить эти хлопоты и уехать в деревню, как «Трактат» как будто сам собой опубликовался, причем одно издание последовало за другим. Мораль, к которой Витгенштейн пришел, видимо, в конце жизни, — та, что дает Кришна Арджуне в «Бхагавадгите»: не быть привязанным к результату своих действий, а просто выполнять свой долг.

Витгенштейн, конечно, разбирался во всех этих проблемах, потому что кроме того, что он был гением, он был еще довольно умным человеком (это ведь совсем не одно и то же; я хорошо знал одного гения, который во многих отношениях был не умен, и хотя его уж нет в живых, я, конечно, не назову его имени — sapienti sat!).

Но во время и после войны языковая игра Витгенштейна с Богом только начиналась. Кстати, рассмотрение религии как совокупности языковых игр изучается в особом ответвлении аналитической философии, естественно, с отсылкой к Витгенштейну, — лингвистической апологетике (см. *[Hudson 1975, Philips 1977])*. Молитва там рассматривается как речевой акт. Но чтобы речевой акт был успешным (чтобы Бог услышал молитву и внял ей), необходим ряд условий, которые изучает теория речевых актов (см. *[Остин 1986, Searle 1969, Серль 1986, Арутюнова 1991, Грайс 1985]),* тоже являющаяся ответвлением аналитической философии, которое разработал Дж. Остин. И хотя он, будучи оксфордцем, не ссылался на Витгенштейна, трудно себе представить, что он не читал «Философские исследования» и хоть в какой-то мере не был под влиянием витгенштейновской поздней философской позиции. Прежде всего, чтобы молитва дошла до Бога, она должна быть искренней и духовно продвинутой. Не уверен, правы ли те, кто считает Витгенштейна великим мистиком. Даже в «Трактате» мистика — это нечто вроде

фигуры умолчания, немой сцены. Ведь уже Фреге заметил, сколь важно эстетическое начало в «Трактате», поэтому здесь вполне уместна риторическая терминология. Молчание — это только видимость, кажимость молчания. Внутри молчащего субъекта, если он не святой, который умеет отключать свое сознание, разыгрываются сложнейшие языковые игры, но только они имеют не семиотический, дискретный, а семантический, континуальный характер *[Шапир 1990]*. Дж. Серль в своих поздних работах называет эту область интенциональными состояниями *[Searle 1983, Серль 1987]*.

Итак, война лишь поставила перед Витгенштейном проблему, как достичь гармонии с самим собой. Первый шаг на пути решения этой проблемы был сделан в период 1921–1926 годов в деревне. После общения с грубыми солдатами и необразованными офицерами, после крови и смертей, а потом унизительных попыток опубликовать свою книгу, только общество простых душ, деревенских детей, могло гармонизировать душу Витгенштейна. Отчасти это так и происходило, если бы ему не портили кровь родители и коллеги-учителя.

Быть храбрым и смотреть в лицо смерти недостаточно, чтобы гармонизировать психику. Война одновременно и очищает, и оскверняет душу. Вспомним выражения — афганский и чеченский синдром. Это означает, что человек так привык к жесткой военной жизни, что не может адаптироваться к жизни мирной. После Первой мировой войны такой синдром и назывался «потерянным поколением».

Что касается того, что Витгенштейн так суетился с публикацией «Трактата», то надо понимать, какую удивительную книгу он написал. Уникальность «Трактата» состоит прежде всего в том, что он представляет собой огромный нравственный парадокс. В предисловии Витгенштейн не без самонадеянности заявляет (вспомним, однако, что книга была завершена в 1918 году, то есть автору было всего 29 лет), что в ней он разрешил все проблемы жизни. А между тем, он в то же самое время находился на грани самоубийства. Но еще более удивительно другое. Книга написана высокомерно, непонятно, противоречиво, да и о жизни-то в ней говорится очень мало — и тем не менее ее тянет читать и перечитывать. И, по-видимому, никто из живущих на Земле людей не может сказать, что полностью понял все содержание «Трактата». И есть еще одна очень интересная закономерность. До конца 1950-х годов о «Трактате» было написано всего две заслуживающих внимания работы — «Введение» Рассела к английскому изданию и рецензия Фрэнка Рамсея. Между тем,

«Трактат» знали и обсуждали не только в Венском логическом кружке. Это звучит нелепо, но Н. И. Бухарин, приехав на какой-то западный конгресс, критиковал «Логико-философский трактат». Изучение же «Трактата», причем систематическое и углубленное, началось после Второй мировой войны, которая открыла для философов какие-то новые возможности размышления, да и дала жизнь многим научным направлениям, имеющим отношение к жесткой логико-философской модели «Трактата» — началась разработка проблем искусственного интеллекта, машинного перевода, кибернетики, теории информации, произошел взрыв семиотического и структуралистского мышления в гуманитарных науках.

Начиная с первой монографии, написанной ученицей Витгенштейна госпожой Энком *[Anscombe 1959],* книги о «Трактате» последовали одна за другой и одна другой лучше *[Maslov 1961, Stenius 1962, Favrholdt 1964, Black 1966, Copi-Beard 1966, Moran 1973, Parkinson 1976, Fogelin 1976, Finch 1977, Baker-Hacker 1980, Mounce 1981, von Wright 1982, Malcolm 1986]*. Разумеется, я перечислил только лучшие, выдающиеся исследования. Но судьба «Трактата» имеет еще одну характерную особенность. Его с охотой изучают, пытаются разобраться в нем, но на его основе, оттолкнувшись от него, не делают сколько-нибудь фундаментальных открытий. В этом отношении судьба «Философских исследований» — прямо противоположная, у этого исследования очень много эпигонов, но мало хороших интерпретаций (одно из счастливейших исключений книга Крипке «Витгенштейн о правилах и индивидуальном языке» *[Kripke 1982],* о которой, впрочем, трудно сказать, что это изучение «Исследований» Витгенштейна). Однако, в противоположность «Трактату», «Философские исследования» породили не только массу подражаний. Как остроумно пишет У. Бартли, в духе позднего Витгенштейна «два поколения английских и американских философов писали книги под такими названиями, как «Язык политики», «Язык морали», «Логика морального дискурса», «Логика исторического объяснения», «Язык литературной критики», «Логика социальной науки», «Язык образования» *[Бартли 1994:254–255]* и т. д. Но кроме этого, «Философские исследования» породили ряд серьезных направлений в рамках аналитической философии: теорию речевых актов, лингвистическую философию, аналитическую философию сновидения *[Малкольм 1993],* лингвистическую терапию *[Wisdom 1953, Lazerowitz 1968],* аналитическую философию, ориентированную на марксизм, ставший вновь популярным на западе в 1980-е годы *[Rubinstein 1981],* уже

упоминавшуюся нами лингвистическую апологетику, лингвистическую философию вымысла *[Woods 1974, Lewis 1983, Castaneda 1981]* и в определенной мере семантику возможных миров (во всяком случае, один из основателей последней, Я. Хинтикка, считает своим учителем Витгенштейна и часто ссылается на него *[Хинтикка 1980])*.

В чем же причина такой «тупиковости» «Трактата»? Можно просто сказать, что это произведение настолько сложно, совершенно и уникально, что подражать ему бессмысленно. И это, конечно, так. Вторая причина состоит в том, что логика, построенная Витгенштейном в «Трактате», слишком утонченна и в некоторых местах не слишком конструктивна, поэтому математическая логика XX века последовала не за Витгенштейном, а за Фреге и Расселом с их более простыми и компактными системами. Если мы возьмем какой-нибудь классический учебник по математической логике, например, учебник Черча или Клини *[Чёрч 1959, Клини 1970],* то имя Витгенштейна там будет упомянуто всего один раз в связи с его учением о логических пропозициях как тавтологиях (см. об этом следующую главу).

Причина в том, что, как еще в 1919 году отметил Фреге, «Трактат» — это не столько логический дискурс, сколько своеобразное художественное произведение на логическую тему, и в этом его величие, то есть «Логико-философский трактат» является философским произведением в том же смысле, в каком им являются «Бхагавадгита», «Алмазная праджняпарамита сутра», «Чжуан-цзы», «Дхваньялока» и т. д. Кому же придет в голову подражать «Бхагавадгите», ее можно только бесконечное количество раз пытаться перевести, понять, вжиться в нее. Витгенштейн как будто заложил в «Трактат» не только свои размышления по логике, но и весь мучительный жизненный опыт, как кембриджский, так и военный. Вспомним, как удивлялся Рассел, что для Витгенштейна логика и его личные проблемы неразделимы.

И, наконец, последнее и самое главное заключается в том, что Витгенштейн был по натуре консерватором и своим жестким дискурсом бессознательно пытался сохранить и защитить те ценности, которые ему были дороги — ясность, позитивность, которая шла от XIX века (первый позитивизм Конта и Спенсера и второй — Маха и Авенариуса). Третий позитивизм Венского кружка потому и оказался неуспешным как философская доктрина, что защищал ясность и верификационизм. Культура XX века с ее политическими и литературными надувательствами, симулякрами и прочими qui pro quo не могла принять ясную

стратегию венцев. Ей гораздо больше подходил фальсификационизм Поппера *[Поппер 1983],* потому что он шел в ногу с фундаментальной культурой XX века, при помощи него можно было осмыслить философские результаты, полученные, например, квантовой механикой.

Приведем один, но очень характерный пример. И в «Трактате», и в доктрине Венского кружка (см. *[Шлик 1993])* рассматриваются только предложения в изъявительном наклонении, индикативы. Именно их возможно верифицировать (хотя и далеко не все). Но ведь мы в реальной жизни употребляем императивы, задаем вопросы, что-то восклицаем, просто кричим, то есть делаем все то, что Витгенштейн потом назвал языковыми играми. Однако еще в 1920-е годы Кларенс Льюис, а за ним другие философы поняли, что пропозициональная логика, которой придерживался Витгенштейн, не адекватна реальной речевой деятельности, и была построена так называемая модальная логика, точнее целый ряд модальных логик, в частности, логика императива *[Ross 1940],* логика вопроса *[Хинтикка 1980],* логика норм *[фон Вригт 1986]* и оценок *[Ивин 1972],* логика пропозициональных установок, в частности, предложений со словами «Я знаю, что» и «Я полагаю, что» *[Hintikka 1962],* логика вымысла *[Woods 1974],* логика речевых актов *[Searle-Vanderveken 1984].* Об этом в «Трактате» нет ни слова, «Философские исследования» в основном посвящены именно этому.

Основную культурную коллизию XX века можно определить как поиск границы между подлинным и воображаемым, сном и явью, вымыслом и реальностью. Об этом романы «В поисках утраченного времени» Пруста, «Процесс» и «Замок» Кафки, «Голем» Майринка, «Шум и ярость» Фолкнера, «Доктор Фаустус» Томаса Манна, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Волхв» Фаулза, большинство новелл Борхеса, романы Кортасара и Маркеса, «Хазарский словарь» Павича, «Школа для дураков» Соколова, «Бесконечный тупик» Галковского, «Норма» Сорокина, «Чапаев и Пустота» Пелевина, фильмы Бунюэля, Феллини и Годара, картины сюрреалистов, в особенности Магритта. Недаром специфическим искусством XX века стало кино, которому как никакому иному искусству дано представлять иллюзию как реальность и наоборот. Другой символ XX века, с которым Витгенштейн постоянно находился в состоянии «выяснения отношений», психоанализ, провоцировал ту же проблематику. На уровне сознания происходит одно, в бессознательном — противоположное. В этот же культурный паттерн входят и принцип дополнительности Бора, в соответствии с которым

адекватно понять феномен микромира можно, только если одновременно представлять его в двух дополнительных системах описания: как волну и как частицу.

«Логико-философский трактат» стоит в стороне от всего этого как некий прекрасный хрустальный дворец, на который нельзя налюбоваться, но в котором невозможно жить. «Логико-философский трактат» — это такая *форма жизни,* которая оборачивается своей противоположностью. Эта спящая красавица, которую еще никому не удавалась до конца разбудить.

Экскурс I. «Логико-философский трактат»

4.014 Граммофонная пластинка, музыкальная тема, нотная запись, звуковые волны — все это находится между собой в таком же внутреннем отношении отображения, которое имеется между языком и миром.

Все они имеют общий логический строй.

(Как в сказке о двух юношах, их лошадях и их лилиях. Все они в определенном отношении одно.)

Идея, в соответствии с которой мифологический (чаще говорят — мистический) канал играет в «Трактате» не меньшую роль, чем логический, не раз подчеркивалась при изучении этого текста: существуют наблюдения и целые концепции о связи идей «Трактата» с буддизмом, даосизмом и дзеном *[Canfield 1986, Gudmunsen 1977, McGuinnes 1966],* рассуждения о мифологической креативности его идеологии *[McGuinnes 1989],* музыкальной основе его композиции *[Findley 1984],* о диалектике дискретного и континуального в нем *[Налимов 1979],* но, пожалуй, до сих пор не сделано попытки сказать главного: перед нами не сочинение по философии логики, а развернутый мифопоэтический дискурс, почти ничего, строго говоря, с логикой общего не имеющий (ближе всего к такому пониманию «Трактата» подошел Р. Карнап, назвавший его собранием разрозненных афоризмов *[Carnap 1936],* — король, так сказать, голый (кстати, я убежден, что Витгенштейн интерпретировал бы эту сказку Андерсена апологетически по отношению к королю: о том, что король голый, нельзя сказать, этот факт только может показывать себя; ребенок неправ, он просто не понимает эзотерического языка взрослых, в соответствии с которым король не может быть голым по определению, как его ни раздень)). Зрелая математическая логика середины XX века фактически прошла мимо тончайших постижений Витгенштейна и в целом последовала за раскритикованными им в «Трактате» Фреге и Расселом.

Мы будем исходить из того, что Витгенштейн, живя и мысля в самом эпицентре неомифологической культуры (в Вене первых двух десятилетий XX века), построил гениальный неомифологический проект культурного сознания (о витгенштейновской Вене см. подробно *[Janik-Toulmen 1973]*), который зашифровал в наиболее адекватной для себя форме квазилогических откровений.

Прежде всего, о какой сказке идет речь в 4.014? Этим вопросом, по-видимому, никто не задавался. Во всяком случае, в

наиболее полном справочнике-путеводителе по «Трактату», принадлежащем М. Блэку *[Black 1966],* этот вопрос вообще не рассматривается как не имеющий отношения к делу. Речь же идет, несомненно, о сказке братьев Гримм «Золотые дети» (№ 85). В ней говорится о том, что золотая рыбка, пойманная стариком, предложила ему расчленить себя на шесть частей, две из них дать съесть жене, другие две дать съесть лошади, а оставшиеся две закопать в землю. От съеденных старухой кусков родились два золотых близнеца (те самые два юноши), лошадь родила двух золотых жеребят («их лошади»), а из двух закопанных кусков выросли две золотые лилии. Когда один из братьев был в отъезде, если с ним происходило нечто дурное, лилии привядали, если же один из братьев умер бы, лилии увяли бы совсем, так что второй брат, находясь в разлуке с первым, но имея при себе лилии, всегда мог узнать, как идут дела у брата. Именно в этом отношении юноши, лошади и лилии — одно: генетически, а не только проективно, они все сделаны из одного золотого «слитка», из кусков золотой рыбки.

Прежде всего здесь приходит в голову известное место из книги Л. Леви-Брюля «Первобытное мышление» (1912): «Пшеница, олень и гикули (священное растение) являются в известном смысле для гуичолов одной и той же вещью» *[Леви-Брюль 1994: 102]* (ср. там же об отождествлении племени бороро с красными попугаями).

Эти три мифологические субстанции образуют примерно такой же, как в сказке братьев Гримм, трансформационный круг, когда одно образуется из другого. Книга Леви-Брюля играет особую роль в наших рассуждениях, поскольку (как нами было подробно показано в статье *[Руднев 1995c])* Леви-Брюль часто под видом особенностей первобытного мистического (так же как и Витгенштейн, он предпочитает употреблять слово мистический, а не мифологический) мышления на самом деле описывает рецепцию этого мышления нарождающейся неомифологической культурой, для которой не менее, чем для архаического сознания, важны и ценны неразличение текста и реальности, вера в мистическую силу сновидений, понимание языка как действия (= теория речевых актов) и многое другое. Парадоксальным образом книга, описывающая мышление дикарей, по сути описывает современное ей неомифологическое сознание, а логический трактат Витгенштейна, как мы пытаемся показать, является мифологическим построением.

Но действительно ли раздел 4.014 играет столь важную роль для понимания «Трактата»? Кажется, что это именно так, ибо здесь идет речь об одном из определяющих принципов его

идеологии: о том, что язык является отражением реальности, построен изоморфным по отношению к реальности образом, что элементы языка и реальности взаимно отражают друг друга. Граммофонная пластинка и звуковые волны — это элементы реальности; музыкальная тема и нотная запись суть элементы языка. Тот факт, что Витгенштейн их не разделяет, а приводит вперемежку («граммофонная пластинка, музыкальная тема, нотная запись, звуковые волны…»), весьма многозначителен. Витгенштейн тоже не противопоставляет язык и реальность. У него нет идеи, что звуковые волны и пластинка, с одной стороны, и музыкальная тема и нотная запись, с другой, суть онтологически противоположные объекты. Для Витгенштейна нет проблемы разделения материи и сознания, реальности и текста, так как он не является ни материалистом, ни идеалистом в традиционном смысле: в одном месте «Трактата» он прямо говорит, что идеализм (солипсизм) и материализм (реализм) — это одно и то же, если они строго продуманы (5. 64; ср. также сходную формулировку в «Тетрадях 1914–1916» *[Wittgenstein 1982]*).

Что же получается? Пластинка и звуковые волны, реализм и солипсизм, этика и эстетика (6.422) — все это, если разобраться, одно и то же (подробно о последнем отождествлении см. нашу работу *[Руднев 1992а])*. Но отличаются ли витгенштейновские отождествления каким-либо принципиальным образом от доктрины Фреге о смысле и денотате? Разве «Утренняя звезда» и «Вечерняя звезда» — это в определенном смысле не одно и то же? По Фреге, у этих двух выражений один денотат, но два различных смысла. Однако Витгенштейн в «Трактате» говорит, что имена (и дескрипции) не обладают смыслом, различие между смыслом и значением начинается только на уровне пропозиции: «3.142 Выражать смысл могут только факты, класс имен этого не может»; «3.3 Только пропозиция имеет смысл; только в пропозиции имя обретает значение». Итак, Витгенштейн отвергает дихотомию смысла/денотата для имени. Но что же тогда означает различие между «Утренней звездой» и «Вечерней звездой»? Для Витгенштейна музыкальная тема, граммофонная пластинка и нотная запись это разные вещи, хотя, в то же время, они в определенном смысле одно. Можно ли, отказавшись от фрегевской дихотомии, продолжить и усилить эту мысль, заявив, например, что Земля и Луна — в определенном смысле одно? Что они имеют общий логический строй? Мифологическая мысль действует по ассоциации. Земля круглая и Луна круглая. Они логически изоморфны, взаимно отражают друг друга. Когда-то, может быть, они были одним, а потом отделились и теперь

связаны невидимой мистической связью. Можно ли сказать, что Витгенштейн — это письменный стол, на котором лежит «Логико-философский трактат»? Можно ли сказать, что Витгенштейн и «Логико-философский трактат» — это одно и то же? Я могу сказать: «Дай мне, пожалуйста, Витгенштейна, он лежит там, на столе», имея в виду, конечно, книгу «Логико-философский трактат».

Удивительным образом шесть кусков золотой рыбки, превращенные в три пары взаимно изоморфных объектов, соответствуют шести главным онтологическим терминам «Трактата», также разделенным на три пары. Это «простой предмет» (Gegenstand) — наименьшая часть субстанции мира, — которому в языке соответствует «простое имя»; далее это «положение вещей» (Sachverhalt) — элементарная констелляция простых предметов, — которому в языке соответствует понятие «элементарной пропозиции»; наконец, это «факт» (Tatsache) (в возможных мирах ему соответствует «ситуация» — Sachlage) (см. *[Stenius 1960, Fogelin 1976]*) — констелляция положений вещей, основной элемент для построения мира как акцеденции (1–1.2), которому в языке соответствует пропозиция.

Предмет (1) и имя (2) — близнецы, как два юноши; то же самое — положение вещей (3) и элементарная пропозиция (4); то же самое — факт (5) и пропозиция (6). И самое главное, в определенном смысле можно сказать, что все они — одно. Имя не фигурирует в языке самостоятельно, так же как предмет не фигурирует самостоятельно в мире. Имя фигурирует в языке только в составе элементарной пропозиции, а предмет в мире — лишь в составе положения вещей. В этом смысле «стол» и «Это стол» для Витгенштейна одно и то же, потому что не существует такого контекста, где имя «стол» функционировало бы само по себе. Даже в словаре имя существует неразрывно со своим определением. С другой стороны, любая пропозиция логически сводима к элементарной пропозиции, является ее функцией истинности. Поэтому, например, пропозиция «Витгенштейн великий философ» и условно элементарная пропозиция «Это Витгенштейн» — одно и то же. Итак, шесть сущностей: «предмет» Витгенштейн, его картина — «имя» Витгенштейн, «положение вещей» — «Это Витгенштейн», его картина — «элементарная пропозиция» — «Это Витгенштейн», «факт» — «Витгенштейн — великий философ» и его картина — «пропозиция» — «Витгенштейн — великий философ». Все это, по сути, одно и то же.

Обратим внимание на то, что все три пары сказочных объектов, представленных в разделе 4.014, являются объектами

повышенной мифологической значимости. Близнецы — один из наиболее универсальных мифов. При этом близнецы могут представлять собой зеркальную пару — летнее/зимнее, светлое/темное или даже белое/черное *[Иванов 1982а]*. В одной из статей *[Руднев 1995а]* нами было подробно разобрано, что противопоставление черного и белого цвета в «Трактате» соответствует противопоставлению ложных и истинных пропозиций (а также отрицательных и утвердительных пропозиций). Таким образом, два юноши-близнеца (в мифологии они могут быть как союзниками, так и антагонистами; возможно, что в выборе этого образа сыграл также свою роль гомосексуализм Витгенштейна) олицетворяют главную логическую коллизию «Трактата»: членение Реальности на существующее и несуществующее положение вещей и, соответственно, членение речи на истинные и ложные пропозиции. При том пропозициональном фетишизме, который наблюдается в «Трактате», значение этого противопоставления трудно переоценить. Оно, безусловно, является чем-то равнозначным противопоставлению светлого и темного начал инь и ян китайской мифологии «Книги перемен», хотя в мире «Трактата» (и это тоже мифологическая черта), скорее, нет никаких перемен, во всяком случае, никакие перемены не рассматриваются; время изъято из обращения, существует только логическое квазивремя вывода — оно обратимо и симметрично. Трудно себе представить сейчас, в начале XXI века, что такой мощный интеллект, каким обладал Витгенштейн, не чувствовал того, что истинные и ложные пропозиции и пропозиции вообще играют очень скромную роль в жизни языка, оттесненные различными перформативами, вопросами, императивами и другими модальными и интенсиональными контекстами. Учитывая тот факт, что Витгенштейн сам пришел к отрицанию бинарного истинно-значного пароксизма в начале 1930-х годов, можно с большой долей очевидности утверждать, что Истина и Ложь были частью той мифопоэтической картины мира, которую Витгенштейн со свойственным ему максимализмом выплеснул в «Трактате». (Прежде всего я имею в виду его патологическую честность в жизни и предельный нонконформизм, которому сродни отрицание какого бы то ни было намека на логическую полизначность (о честности Витгенштейна и почти анекдотических ее проявлениях см., например *[Паскаль 1994]*).

Конь связан с идеей миротворения, а кстати, и всеобщего отождествления (ср. в «Брихадараньяка-Упанишаде»: «Мир есть конь»), и с мировым древом *[Иванов 1982в]*. Лилия отождествляется одновременно с девственностью и плодородием

[Мейлах 1982]. Напомним, что все шесть объектов — золотые. Что получается вместе? Некие бессмертные Диоскуры на конях и при этом настолько взаимозависимые, что их можно считать проявлением одного начала. Похоже ли это на то, о чем повествуется в «Трактате»?

Кардинальное и фундаментальное отличие мира, о котором говорится в «Трактате», от мифологического мира заключается в том очевидном факте, что в мифологическом мире вообще нет никаких пропозиций и речь вообще не отделена от реальности *[Лосев 1982]*. Витгенштейн же просто обожествляет пропозицию в индикативе: «Дело обстоит так-то и так-то», и сводит к ней все остальные пропозиции. Но ведь мы уже отчасти видели, что Витгенштейн не только противопоставляет пропозицию и факт, но сопоставляет их. С другой стороны, мы ведь и не беремся утверждать, что Витгенштейн строит в «Трактате» некий архаический миф. Мы утверждаем другое: в «Трактате» очень сильны черты мифопоэтического, неомифологического, то есть в очень большой степени утонченно-вторичного мифологического мышления. Да, архаическое мышление не противопоставляет язык миру, а Витгенштейн как будто бы противопоставляет. Но здесь надо сделать существенную оговорку. За 80 лет развития структурной лингвистики мы привыкли представлять «язык» по-соссюровски, как нечто предельно абстрактное, некую систему, противопоставленную живому течению речи. Ничего подобного нет и не может быть в «Трактате». Слово Sprache, согласно тому же Ф. де Соссюру, может означать в немецком языке и язык, и речь *[Соссюр 1977: 52]*. И если вдуматься, то перевод слова Sprache в контексте «Трактата» как «речь» хотя очень сильно изменит стереотип нашего восприятия этого текста, но, возможно, создаст более адекватное звучание некоторых его предложений. Например, не «Язык переодевает мысли», как написано и в старом переводе *[Витгенштейн 1958],* и в новом *[Витгенштейн 1994],* но, скорее, «Речь перелицовывает мысль». Ведь здесь говорится не о языке как системе, а именно о звучащей речи, которая в процессе говорения перелицовывает, искажает мысль до неузнаваемости. Итак, не язык как абстрактная система пропозиций, противопоставленная миру, а речь как секвенция пропозиций (этому образу гораздо ближе музыкальная тема 4.014), сопоставленная с миром.

Остановимся на этом подробнее. Мы знаем, что для Витгенштейна мир состоит из фактов. Логично предположить, что факты — это суть элементы материального мира, во всяком случае не языка; а пропозиции — элементы исключительно языка. Но это не соответствует мысли «Трактата». Для Витгенштейна

фактом является и картина (Bild) (а пропозиция — это и есть логическая картина реальности), и пропозициональный знак (то есть пропозиция как таковая вне своего конкретного употребления). Вот эти контексты:

2.141 Картина — это факт.
3.14 Пропозициональный знак есть факт.

Может быть, имеется в виду факт языка? Нет, не языка — мира. Помимо смысла и значения, любой знак, согласно удачному понятию Ельмслева, обладает планом выражения. То есть любой знак материален, и Витгенштейн подчеркивает это. Пропозиция «Нынешний король Франции лыс», картина, изображающая золотую гору, — такие же факты, как тот факт, что Людвиг Витгенштейн родился в Вене 26 апреля 1889 года, или тот факт, что «Логико-философский трактат» был опубликован в Англии в 1922 году на двух языках с предисловием Бертрана Рассела. В чем смысл утверждения Витгенштейна, что пропозиции и картины суть факты? Тот факт, что пропозиция-картина является фактом, заключается в том (факте), что она является определенной конструкцией, в ней имеется непроизвольное соединение знаков (синтаксис), отражающее, по Витгенштейну, устройство того денотата (факта), картиной которого она является. При этом пропозиция может существовать реально как факт, а отражаемый ею денотат может быть фактом, существующим только в возможных мирах (то есть ситуацией). Так, пропозиция «Нынешний король Франции лыс» является фактом, несмотря на то, что экстенсионально она может быть пуста, а может быть истинной или ложной в разных временных мирах. Фактом является не содержание пропозиции, но тот факт, что любая пропозиция утверждает нечто синтаксически оформленное и интенсионально осмысленное, что может быть переведено на символический язык логики или на любой другой язык, например, на английский.

При этом очень важной для Витгенштейна является мысль, что нет никаких привилегированных фактов. Для него неприемлема идея, что, например, тот факт, что он родился 26 апреля 1889 года, является, так сказать, фактом первого порядка, а пропозиция «Витгенштейн родился 26 апреля 1889 года» — фактом второго порядка. Витгенштейн не признает никакой иерархичности фактов и пропозиций. Опровержение теории типов Рассела было одним из важнейших импульсов для создания «Трактата». Все факты равны, речь и мир взаимно отражают друг друга. И грампластинка, и нотная запись — в равной мере факты. А то, что является более первичным или более вторичным,

обнаруживается, безмолвно показывается в самой структуре факта-пропозиции. Придание гораздо большего значения невидимому и невысказываемому, мистическому, чрезвычайно характерно для архаического мышления, как его понимали современники Витгенштейна — Леви-Брюль, Марр, Фрейденберг, Лосев, Малиновский, Пропп. При этом не только признание пропозиций фактами, но и отрицание идеи метаязыка (то есть отрицание логической иерархии пропозиций) чрезвычайно характерно и близко мифологическому сознанию (подробно об этом см. ставшую классической статью *[Лотман — Успенский 1973]*).

Идея скоординированности фактов-фактов с фактами-пропозициями, идущая от Э. Маха (учение о принципиальной координации) и указавшая торную дорогу третьему позитивизму, освободившемуся от навязчивой идеи противопоставления материализма и идеализма, также реализуется в «Трактате» в положении о том, что солипсизм и реализм это одно и то же (тонкий анализ этих мыслей Витгенштейна см. в книге *[Mounce 1981])*. Нейтрализация, медиация между материей и сознанием, языком и реальностью также является характерной для мифологического сознания, в соответствии с уже послевоенными реконструкциями К. Леви-Строса и А. М. Пятигорского *[Леви-Строс 1983, Пятигорский 1965]*.

Но на все это могут возразить, что ведь в «Трактате» реализуется совершенно антимифологическая, антисинкретическая доктрина логического атомизма, то есть представление о том, что в основе субстанции мира лежат неделимые «простые объекты», гарантирующие стабильность мира. Но кто видел эти простые объекты? Витгенштейн не привел в «Трактате» ни одного примера простого предмета, и его интерпретаторы до сих пор не нашли общей приемлемой точки зрения на то, что, собственно, он имел в виду. Думается, что наибольшее влияние на раннего Витгенштейна оказали не атомизм Аристотеля (которого он, по собственному признанию, никогда не читал *[Drury 1981]*), и не идеализм Платона, как думают некоторые философы (см. *[Malcolm 1986])* и даже не логический атомизм Рассела, а скорее, бурно развивающаяся почти на глазах Витгенштейна квантовая механика со своими микрообъектами, которые также невидимы и неделимы, — элементарными частицами. Но квантовая идеология есть не что иное, как новая научная мифология XX века. Наиболее эксплицитно эту мысль высказал Я. Э. Голосовкер: «Новая наука о микрообъекте создает новую мифологию науки — мир интеллектуализированных объектов» *[Голосовкер 1987]*. Такой же

мифологической ненаблюдаемой фикцией являются и «положения вещей», и скоррелированные с ними «элементарные пропозиции». Ни положения вещей не являются реальными наблюдаемыми объектами мира, ни элементарные пропозиции реально не существуют в речи. Говоря, что в элементарной пропозиции имена непосредственно сцепляются между собой, как звенья в цепи, Витгенштейн говорит о каком-то воображаемом (мифологическом — инкорпорирующем?) языке. В каждом языке, который Витгенштейн знал (немецком, английском, французском, русском), имена не могут сцепляться непосредственно, но лишь посредством связки (если нет глагола). Предложения типа «Зима» или «Вечер» осуществляют в русском языке нулевую связку, что хорошо видно, если перевести их в прошедшее или будущее время «Была зима», «Будет вечер» *[Гаспаров 1971]*. Единственная реальность речи — это пропозиции, единственная реальность мира — факты.

Как же понять мысль Витгенштейна, что фактами являются и пропозиции? «Идет дождь» — это одновременно и факт, и пропозиция, описывающая факт, так как бессмысленно говорить о том, что идет дождь при том, что некому сказать, что идет дождь. Если некому сказать, что идет дождь, то это равносильно тому, что дождь не идет или что неизвестно, идет он или нет.

> *5.1361. Выводить событие будущего из событий настоящего невозможно. Суеверием является вера в такую причинную связь.*

Отсутствие представлений о причинной связи между событиями — одна из наиболее существенных черт первобытного мышления *[Леви-Брюль 1994:59]*. В то же время, все пропозиции-факты в «Трактате» тотально объединены логической связью, которая носит контагиозный характер. Из любой сложной пропозиции можно вывести, посредством применения операции последовательного Отрицания, элементарную пропозицию. Любая пропозиция сводима к общей форме пропозиции «Дело обстоит так-то и так-то». То есть, с одной стороны, все в мире «Трактата» на позитивном уровне причинного здравого смысла разрозненно (тот факт, что завтра взойдет солнце, — лишь гипотеза (6.36311)), но, с другой стороны, все факты-пропозиции связаны тотальной логической связью, они сворачиваются в одну пропозицию, и из одной пропозиции разворачивается весь мир, совокупность истинных пропозиций-фактов. Ясно, что такая картина мира гораздо ближе к «Дао де цзину», «Книге перемен», «Бхагавадгите», «Брихадараньяка-упанишаде», «Дхваньялоке», Библии, чем к «Principia Mathematica» Б. Рассела — А. Н.

Уайтхеда.

Последнее, что чрезвычайно важно в этом плане, — отрицание Витгенштейном валидности закона тождества: a = a; как любая тавтология в «Трактате», это бессмысленное выражение — «сказать о двух предметах, что они тождественны, — бессмыслица, сказать же об одном предмете, что он тождествен самому себе, — это значит вообще ничего не сказать» (5.5303). Исходя из этого, Витгенштейн изгоняет знак «=» из своей логической символики (5.5303-5.534). Конечно, Витгенштейн отрицает тождество предмета самому себе не так, как это делали дикари, согласно реконструкции этнологов XX века, его логическая мифология является гораздо более утонченной. Но она так же далека от системы позитивного мышления XIX века, как далека от нее система мышления дикаря (см. *[Руднев 1994b]*).

Речь и мир взаимно гарантируют друг друга, и в этом смысле как речь является картиной мира, так и мир является картиной речи, ибо одно невозможно без другого. Если пропадает речь, это сигнализирует о том, что пропадает мир; если пропадает мир, это сигнализирует о том, что пропадает речь, «как в сказке о двух юношах, их лошадях и их лилиях».

Итак, мы наблюдаем в «Трактате» некое двоемирие: абстрактный субстанциональный мир простых объектов и имен и реальный мир фактов (возможный мир ситуаций) и пропозиций. Когда включается механизм реального мира, начинается процесс взаимного отождествления: предмет соответствует имени, положение вещей — элементарной пропозиции, факт (ситуация) — пропозиции. При этом все шесть номинаций могут отождествляться перекрестно. Поэтому мир «Трактата» носит черты контагиозной магичности. Имя «стол» соответствует объекту «стол», но имя никогда не встречается отдельно — только в пропозиции, хотя бы в условно элементарной пропозиции «Это стол». Поэтому имя «стол» не существует вне сферы возможности быть данным, «иметься» (gegeben sein). Стол это и есть «Это стол». Стол — это и имя и предмет, и положение вещей и элементарная пропозиция, и факт и пропозиция.

Наконец, необходимо отметить, что «Трактат» сыграл совершенно очевидную медиативно-мифологическую роль в жизни Витгенштейна. Известно, что первые 30 лет жизни Витгенштейн находился на грани самоубийства. Занятия логикой были для него активной и мучительной психотерапией. По свидетельству Рассела, Витгенштейн так же мучительно размышлял о теории типов, как и о своих внутренних психологических и этических проблемах *[McGuinnes 1989]*. Для него логика и собственная внутренняя жизнь тоже были в

определенном смысле одно. Исследуя логические закономерности мира, он занимался сугубо экзистенциальным делом (ср. в «Трактате» отзвуки этого: «Наши проблемы не абстрактны, а пожалуй, наиболее конкретны из всех существующих» (5.5563)). Неслучайно именно на фронте и в плену замысел «Трактата» был окончательно приведен в исполнение. Подобно Лао-цзы, Витгенштейн, завершив свой шедевр, ушел из философии (хотя и остался в жизни; по первоначальному плану он собирался уйти из жизни, закончив «Трактат»; таким образом, «Трактат» спас ему жизнь), чтобы через десять лет вернуться к ней только для того, чтобы распутать тот мифологический клубок, который в годы его молодости парадоксальным образом стал началом нити Ариадны в непроходимом жизненном лабиринте.

Глава 4.
Деревня (1921–1926)

Школьная реформа

1921 год был первым годом из тех, что Витгенштейн провел в Альпийских деревнях — Траттенбахе, Пухберге и Оттертале. Однако было бы наивным видеть в этом чисто романтический порыв, бегство от цивилизации в дикость в духе «Кавказского пленника», Онегина с Печориным и героев, от них происходящих, того же Оленина из толстовских «Казаков». Однако и в этом есть своя доля правды. Романтический герой, погрязший в пороках городской жизни, интуитивно стремился в деревню, чтобы очистить душу. Так Христос постился 40 дней в пустыне перед тем, как начать служение, тем более, что, как пишет Уильям Бартли, сделавший очень много для прояснения подробностей жизни Витгенштейна в деревнях, «трудно отрешиться от мысли, что сознательно или бессознательно, лучше или хуже Витгенштейн подражал Христу» *[Бартли 1994: 193]*.

Так или иначе, на Витгенштейна и его решение очень значительно повлияла школьная реформа, проходившая под руководством министра образования Австрийской республики Отто Глёкеля.

При Габсбургах система образования была традиционной. Из учеников готовили законопослушных, богобоязненных, хотя и просвещенных подданных империи. Основная педагогическая доктрина была направлена на запоминание и воспроизведение материала. Творческие способности учеников не активизировались. Самостоятельная активность не поощрялась.

В противоположность этому Глёкель и его сторонники из Arbeitschulen (рабочих школ) предполагали, что ученик должен стать активным участником учебного процесса. «Sich etwas erarbeiten» означает получение знания путем активной индивидуальной работы, более самостоятельного и независимого мышления.

Среди реформаторов были социалисты, которые считали, что новое направление в образовании политически необходимо. Они хотели, чтобы крестьяне и рабочие в новой республике были свободны от авторитарного давления в школе, так как им предназначено быть гражданами демократического государства, способными самим принимать решения.

Программа казалась на редкость привлекательной, — пишет Бартли. — На нее обратили внимание деятели системы образования во всех странах. Но в полуфеодальном обществе, сохранившемся в Нижней Австрии после Первой мировой войны, далеко за пределами таких крупных промышленных городов, как

Вена и Грац, подобная программа казалась скорее не планом школьной реформы, а программой инакомыслия и революционных преобразований. Людвиг Витгенштейн был далек от того, чтобы горячо поддерживать программу. Несмотря на то, что сам он и члены его семьи лично знали Глёкеля, Витгенштейн часто высмеивал самые примитивные лозунги и пункты программы. Вряд ли можно будет найти лучшую иллюстрацию не только положительного потенциала, но и слабых сторон школьной реформы с политической точки зрения, чем деятельность Людвига Витгенштейна в Нижней Австрии. Дело в том, что многие крестьяне, среди которых он жил, воспринимали самого Витгенштейна и новые методы образования, которым он следовал, как нечто таящее в себе угрозу их привычном образу жизни *[Бартли: 200]*.

Между тем, не только сам Людвиг, но и его семья участвовали в деле образования. Так, Мининг открыла под Веной школу для бедных венских мальчиков. Она помогала Людвигу в его работе в деревенских школах, оплачивала экскурсии его учеников в Вену. То есть все, что делалась в этой семье, как всегда, делалось серьезно и ответственно. К тому же Витгенштейн прошел курсы обучения на учителя начальных классов. Первоначально он хотел преподавать в каком-нибудь маленьком городке под Веной. Так, он однажды поехал в Земмеринг, приятный и сравнительно благоустроенный городок. Но именно это его разочаровало, и он решил здесь не оставаться. Директору он объяснил, что он видел в центре города парк с фонтаном, а это его не устраивает. Ему нужно «нечто сугубо сельское» *[Monk 1990: 192–193]*.

Траттенбах

Деревня, где скучал Евгений,
Была прелестный уголок.

Хотя Траттенбах и разместился в горах, его не назовешь прелестной австрийской деревушкой. Расположенный на высоте 2500 футов над уровнем моря, с севера обрамленный цепью крутых гор (высотой до 5000 футов), а с юга ·— небольшой речкой и громадными горными хребтами, Траттенбах и поныне — неуютное, необжитое местечко с убогими домишками; должно быть, во времена Витгенштейна он являл собой еще более унылое зрелище. Климат там суровый; горные громады препятствуют проникновению достаточного количества солнечного света в деревни, исключая особые дни, когда солнце движется строго с востока на запад, ибо именно в таком направлении и вытянулся Траттенбах *[Бартли: 201]*.

Сначала Витгенштейну очень понравилось в новом месте. Он писал Расселу, находившемуся тогда в Пекине:

> Еще совсем недавно жизнь *ужасно угнетала* и тяготила меня, но теперь я немного приободрился *[Monk 1990: 221]*.

В этом же письме он не без игривости пишет, что, вероятно, он единственный на свете учитель начальных классов, который переписывается с профессором, проживающим в Пекине.

Спустя три недели он пишет Энгельманну восторженно:

> Я работаю в очаровательном местечке Траттенбах. […] Я доволен своей работой в школе; в ней мое спасение, а иначе джин выйдет из бутылки *[Engelmann 1969: 38–39]*.

Но прошел год, и Витгенштейн уже был глубоко несчастен: Траттенбах ему опостылел. Расселу, возвратившемуся в Англию, он пишет:

> Я все еще в Траттенбахе, а вокруг, как всегда, царит пошлость и низость, Я понимаю, что в большинстве своем люди везде ничтожны, но здесь они гораздо никчемнее и безответственнее, чем где бы то ни было. Я, вероятно, останусь в Траттенбахе на этот год, но не

дольше, поскольку даже с учителями у меня натянутые отношения (цит по *[Monk 1990: 224])*.

Рассел в ответном письме возразил на это, что все люди порочны и в Траттенабахе они не лучше и не хуже. На что Витгенштейн ответил:

> Вы правы, в Траттенбахе люди ничуть не хуже остальной части рода человеческого. Но Траттенбах — особенно ничтожная деревушка в Австрии, а с началом войны австрийцы так низко пали, что слишком тяжело говорить об этом (цит по *[Monk 1990: 225])*.

Вероятно, прав Уильям Бартли, когда он говорит, что Витгенштейн ориентировался на идеализированный образ крестьян, по Льву Толстому:

> Вероятно, сильнее всего Витгенштейна задевало то, что крестьяне упорно не желали походить на нарисованный Толстым образ. В «Исповеди» Толстой рассказывает, как по возвращении из-за границы он обосновался в деревне и занялся устройством крестьянских школ, спасаясь от городской лжи. На долю же Витгенштейна выпало изведать крестьянскую ложь и грубость *[Бартли 1994:204]*.

Помимо коренного населения, часть из которого работала на шерстеперерабатывающей фабрике, а часть занималась сельским хозяйством, в Траттенбахе жил священник, управитель фабрики и школьные учителя. Над ними был инспектор Кундт, который жил в центре сельского округа Нойнкирхене. Два школьных учителя — Георг Бергер (он был также и директором школы) и Мартин Шерляйтнер — обосновались в Траттенбахе в 1918 году. Оба не прошли обучения в духе реформы Глёкеля и не сочувствовали ей. У Витгенштена были хорошие отношения с Кундтом и Шерляйтнером, а с Бергером он конфликтовал.

Единственным настоящим другом Витгенштейна как в Траттенбахе, так и в Оттертале, — пишет Бартли, — был священник Алоиз Ноерурер. Он приехал в Траттенбах в 1917 году. Этот «длинноволосый социалист» до мозга костей, этот дерзкий и романтический, под стать самому Витгенштейну, новатор-бунтарь, заботился не столько о традиционных церковных обрядах, сколько о религиозном и нравственном пробуждении своей паствы. Когда один из жителей деревни отказался от соборования, Ноерурер не скрывал восхищения. Он часто служил

мессу не на латыни, а на немецком языке и стоял лицом к молящимся, хотя римско-католическая церковь повсеместно ввела такую литургическую практику только после Второго Ватиканского собора. Когда его действия вызвали нарекания, Ноерурер объявил прихожанам, что все то, что дозволено папе, дозволено и ему. Бывало с кафедры Норурер немилосердно ругал деревенских жителей. И когда Арвид Сегрен наведывался к Витгенштейну (что он делал регулярно) оба друга […] с превеликой радостью отправлялись в церковь, чтобы послушать, как Ноерурер бранит траттенбахцев *[Бартли: 208]*.

Поскольку Витгенштейн часто тушевался в своем общении с крестьянами, а священник с ними не церемонился, Витгенштейну часто приходилось обращаться к нему за помощью. Бартли описывает знаменитое «чудо», которое при посредстве Ноерурера и Бергера сотворил Витгенштейн в Траттенбахе:

> На фабрике остановилась паровая машина. Приглашенные из Вены инженеры не смогли починить машину. Они посоветовали разобрать ее и отправить на ремонт в столицу, чем повергли в уныние директора и рабочих. Тогда Витгенштейн попросил Бергера добыть для него от фабричного мастера разрешение на осмотр машины. Мастер неохотно согласился, и Витгенштейн в сопровождении Бергера появился на фабрике. Он обследовал машину со всех сторон и велел позвать на подмогу четырех рабочих. Следуя указаниям Витгенштейна, рабочие принялись ритмично постукивать по машине, и, к удивлению присуствующих она заработала. Витгенштейн отказался было от предлагаемого ему вознаграждения, но потом, уступив настоятельным просьбам, согласился на то, чтобы фабрика обеспечила детей шерстяной одеждой, а Ноерурер распределил бы ее между ними *[Бартли: 209]*.

Витгенштейн скрывал свое происхождение от учителей, и, в то же время, ему хотелось знать, что они о нем думают. Однажды в присутствии Сегрена и Хензела он спросил Бергера напрямую, что думают о нем коллеги. Бергер нехотя ответил, что они считают его «знатным бароном». Он рассказывал кое-кому из коллег и сельчан о «Трактате», называя его первоначальным названием «Der Satz» и говоря, что они не поймут в нем ни слова. Иногда у него вырывались фразы типа: «Ich hatte einst einen Diener, der hiess Konstantin» (У меня когда-то был денщик по имени Константин). Да и не так давно это было — в 1916 году, это был пленный русский, денщик Витгенштейна, появившийся у

него с того момента, когда его произвели в офицеры. Всего пять лет прошло. А кажется, что это была совсем другая жизнь. Вместо военной формы Витгенштейн, отвергнувший традиционную одежду учителя — шляпу, костюм, галстук и воротничок — носил рубашку с открытым воротом и серые брюки. По улице он ходил с бамбуковой тростью, держа под мышкой блокнот. Жил в очень убогой комнатенке у одной из самых бедных семей, питался же так скудно, что этим приводил односельчан в совершенный ужас. Он обедал в бедной семье Трахтов, с которыми его познакомил священник и которых он полюбил. Позже он посылал им из Англии открытки, и в 30-е годы два раза тайно приезжал в Траттенбах, чтобы навестить больную жену Трахта.

Ученики

О том, что Витгенштейн в сущности никогда не бросал философию, и его занятия с детьми были даже не отдыхом от философии, а латентным периодом зарождения новой философской парадигмы, свидетельствует следующий эпизод. Витгенштейн однажды рассказывал ученикам такую историю (ее пересказал Уильяму Бартли один из учеников Витгенштейна, ставший фермером):

> Однажды проводился такой эксперимент. Двух маленьких, еще не умевших говорить детей поселили в уединенном месте с глухонемой женщиной. Цель эксперимента состояла в том, чтобы определить, научатся ли они какому-нибудь примитивному языку или изобретут собственный новый язык. Эксперимент не удался *[Бартли: 194]*.

Здесь в свернутом виде содержится так называемый private language argument — аргумент против индивидуального языка — одна из ключевых гипотез поздних «Философских исследований», заключающаяся в том, что не может быть языка, который понимал бы один человек. Таким образом, Витгенштейн «проверял тетрадки», а мыслительная работа шла своим чередом.

Витгенштейн устраивал для учеников экскурсии в Вену и Глоггниц. Эти экскурсии оплачивали Мининг и Пауль Витгенштейны. Экскурсии увязывались с ключевыми принципами школьной реформы, прежде всего с принципом «самодеятельности» (Selbstt tigkeit) и комплексного обучения. Учитель должен был развивать у подростков навыки самостоятельного мышления.

Во время экскурсии в Вену дети обычно проводили две ночи в школе Мининг, а потом ехали обратно в Траттенбах.

> Комбинирование принципов, — пишет Бартли, — начиналось только на обратном пути в Траттенбах. Пробираясь через лес, чтобы успеть на идущий из Глоггница поезд, дети собирали известные им по школьным занятиям камни и растения. На улицах Вены Витгенштейн обрушивал на учеников лавину сведений и вопросов, показывая им архитектурные стили, машины и массу других вещей. В Музее техники дети, опираясь на ранее полученные знания, объясняли устройство

различных приспособлений: паровой машины, шкивов и т. д. В Траттенбахе Витгенштейн рассказал ученикам о законах рычага, а на экскурсии учил применять их в необычных ситуациях. Очутившись около собора Св. Стефана, они рассматривали зарисованные некогда на уроках рельефы и архитектурные стили — готику, барокко. Во время прогулок по городу или посещения Дворца Шенбрунн Витгенштейн указывал на колонны и просил детей определить, к какому ордену — ионическому, дорическому или коринфскому — они относятся. Лишь к концу экскурсии стихал «артобстрел» вопросами. Обратный поезд прибывал в Глоггниц ночью, и Витгенштейну вместе с детьми приходилось 20 миль идти по темному лесу. Почувствовав, что кто-то из детей боится, Витгенштейн по очереди подходил к каждому ученику и спрашивал: «Тебе страшно? Ну, тогда думай только о Боге» *[Бартли: 217–218]*.

Ученики, конечно, страшно любили Витгенштейна и ходили за ним как привязанные, чем, естественно навлекли на него ненависть своих родителей, которые считали, что он хочет отвадить их от будущей помощи в земледельческих работах и переманить в город. Были, однако, и конфликты с самими учениками, но проходили они сугубо «по-витгенштейновски».

Бывшая ученица Витгенштейна в Траттенбахе Анна Бреннер вспоминает:

> На уроке арифметики мы сидели на первом ряду. Моя подруга Анна Фёлькерер и я один раз решили не отвечать на вопросы. Витгенштейн удивлялся: «Что с вами?» На вопрос, сколько будет трижды шесть, Анна сказала: «Я не знаю». Меня он спросил, сколько метров составляет километр. Я ничего не сказала. Тогда Витгенштейн сказал: «Если вы не знаете, я спрошу у ребенка из младших классов, который знает». После урока Витгенштейн позвал меня в кабинет и спросил: «Ты не хочешь учить арифметику или не можешь?» Я сказала: «Да, я хочу». Витгенштейн сказал мне: «Вообще ты хорошая ученица, но вот арифметика… Или, может быть, ты больна? У тебя болит голова?» Тогда я солгала: «Да». «Тогда, — сказал Витгенштейн, — пожалуйста, пожалуйста, Бреннер, можешь ли ты простить меня?» Когда он это говорил, он молитвенно сложил руки. Я сразу почувствовала свою ложь и позор (цит по *[Monk 1990: 195–196]*).

Так или иначе, в преподавании математики Витгенштейн достиг ошеломляющих результатов. У десятилетних подростков он вел продвинутый курс алгебры, он также преподавал историю в гораздо большем объеме, чем это предусматривалось программой начальной школы. А на уроках литературы читались не только сказки, но и стихи, и «Путешествия Гулливера», басни Лессинга, притчи Толстого — все это присылал или привозил Витгенштейну по его просьбе Хензел.

Отсюда закономерно вытекало обвинение, которое выдвигали крестьяне против Витгенштейна, что он хочет отвадить их детей от крестьянского труда и сделать так, чтобы они поехали в город учиться. Это обвинение не было лишено оснований, но лишь на первый взгляд. Витгенштейн считал, что молодой сын фермера может получить образование в городе и, вернувшись в деревню, стать грамотным фермером. Об этом он твердил все время родителям, но они не верили ему, этому экстравагантному чужаку, не верили в его добрые намерения.

Особое участие Витгенштейн принял в судьбе трех мальчиков — Эммериха Кодерхольда, Карла Грубера и Оскара Фухса.

Уильям Бартли рассказывает об этом:

> Эммерих Кодерхольд — преуспевающий сын преуспевающего крестьянина. В течение 14 лет после Второй мировой войны он был мэром Траттенбаха. Этот толковый, добродушный малый до сих пор помнит наизусть и часами может распевать разученные еще на уроках Витгенштейна студенческие и прочие песни — многие из них даже на латыни. […] Учитель сразу разглядел способности Кодерхольда и, когда мальчик заканчивал школу […], пригласил его отца для разговора. Витгенштейн сказал, что его сын должен продолжать образование и что он сам готов помочь ему устроиться в Вене. Отец Кодерхольда, ни о чем таком не помышлявший, вежливо объяснил учителю, что ему нужен наследник, которому он доверил бы свое хозяйство. «Разумеется, — ответил Витгенштейн, — но, получив образование, ваш сын и навоз-то будет ловчее таскать». Наконец Витгенштейну удалось уговорить отца Кодерхольда, и тот разрешил сыну посещать гимназию в Вене. Но дальше этого дело так и не продвинулось. Кодерхольд, временно поселившийся у пожилой женщины, был, по-видимому, очень одинок и питался крайне скудно. Через несколько дней он вернулся домой, составив — к великому облегчению своего отца — не

слишком лестное мнение о студенческой жизни в Вене, и в итоге занялся хозяйством *[Бартли: 219]*.

Карл Грубер был любимым учеником Витгенштейна. Это был интровертный мальчик, характером напоминавший самого Витгенштейна. После окончания школы в 1921 году он продолжал частным образом заниматься у Витгенштейна, который преподавал ему продвинутые курсы латыни, древнегреческого и математики. Они вместе ужинали и вообще много времени проводили вместе. Чтобы дать Карлу подобающее образование, Витгенштейн решил при живых родителях… усыновить Карла. Карл, очень привязавшийся к Витгенштейну, согласился. Фрау Грубер была готова принять предложение учителя, но отец отказался в грубой форме. С переездом Витгенштейна в Пухберг контакты прекратились. Но Карл оказался смелее своих сверстников. Он наперекор родне поехал учиться в Вену. Подыскав работу, он пытался найти Витгенштейна, но узнал, что тот уехал в Кембридж. Дело, стало быть, было не ранее 1929 года. Он не сумел найти работу по способностям и, как утверждает Бартли, грустил, что потерял контакт со своим учителем, а то бы он мог также стать профессором философии (не больше и не меньше!).

Оскар Фухс был также способный ученик, но ехать в Вену не хотел, заявив, что станет сапожником, как и его отец. Как и в двух других случаях, родители мешали контактам сына с «этим сумасшедшим». Они даже не разрешили Витгенштейну взять Оскара на Рождество в Вену на какой-то спектакль. Когда Витгенштейн уехал в Пухберг, они с Оскаром полтора года переписывались.

Не следует однако думать, что Витгенштейн сидел в деревне безвыездно. Он был штатным работником, и ему полагался отдых. Летом 1921 года они с Арвидом Сегреном ездили в Норвегию. А зимой 1922 года после восьмилетнего перерыва они встретились в Инсбруке с Бертраном Расселом (Рассел с женой безуспешно уговаривали его приехать в Англию), но настоящего контакта не получилось. Витгенштейн за эти годы стал религиозным, а Рассел — наоборот, еще большим «вольтерьянцем». Рассказывают историю, что, когда Рассел в 1920-е годы хотел примкнуть к «Международной организации за мир и свободу», Витгенштейн его сурово отчитал. Тогда Рассел сказал ему: «Я полагаю, что вы скорее примкнете к «Международной организации за войну и рабство». На что Витгенштейн ответил: «Да, скорее так, скорее так!» *[Monk 1990: 211]*.

В сентябре 1922 года Витгенштейн наконец уехал из

Траттенбаха — сначала в деревню Носсбах, где он продержался только месяц. В ноябре 1922 года он приехал в Пухберг, богатую и процветающую деревню, где ему было лучше всего. Жители Пухберга были состоятельными благодаря тому, что это было курортное место, и они были рады, что учитель занимается с их детьми. К тому же, во время пребывания в Пухберге вышел наконец «Трактат», и Витгенштейн познакомился с его переводчиком, юным математическим гением Фрэнком Рамсеем.

«Трактат» наконец опубликован

Пока Витгенштейн боролся с двоечниками в Траттенбахе, Рассел из Китая писал ему, что оставил в Англии рукопись «Трактата» своей ученице Дороти Вринч, «хорошему математику, занимающейся математической логикой», дав ей инструкции начать «пробивать» «Трактат» в печать, и что если она не справится, то он сам займется этим, как только вернется в Кембридж.

Между тем, у Рассела была непростая семейная ситуация, которую надо было разрешить: его новая избранница Дора Блэк была беременна. Чтобы ребенок не родился незаконным и получил по наследству титул, Расселу нужно было срочно зарегистрировать свой брак с Дорой. Но Рассел еще не был разведен со своей первой женой Элис. Он получил развод 21 сентября 1920 года и через шесть дней после этого женился на Доре. 16 ноября родился новый лорд Рассел, которого назвали Джоном Конрадом.

Уладив личные дела, Рассел вернулся к публикации витгенштейновского «Трактата». Через своего приятеля Огдена (того самого, с которым они пили чай 18 октября 1911 года, когда неожиданно появился юный Витгенштейн) Рассел начал интенсивно организовывать публикацию «Трактата» в издательстве «Кеган Пол» в серии «Международная библиотека психологии, философии и научной методологии», где Огден был одним из редакторов.

Независимо от Рассела, Дороти Вринч вела переговоры с немецкими издательствами. Неожиданно увенчались успехом переговоры с издателем журнала «Анналы натурфилософии» Вильгельмом Оствальдом (которого мы в основном знаем благодаря тому, что его среди прочих «буржуазных философов» пропесочил В. И. Ленин в приснопамятной книге «Материализм и эмпириокритицизм»). Рассел, зная, как Витгенштейн относится к немецкому переводу его Введения, попросил Дороти еще раз попробовать пристроить «Трактат» в английском издательстве, но, после того как родное издательство Кембриджского университета отказало, Рассел решил вести переговоры с Оствальдом.

5 ноября, получив подтверждение от Оствальда и обещание Огдена, Рассел написал Витгенштейну о том, как идут дела. Витгенштейн ответил милостиво:

> Я должен признать, что мне приятно, что моя

> стряпня (stuff) все-таки будет опубликована, даже если Оствальд окажется полным шарлатаном *[Monk 1990: 204]*.

И действительно, Витгенштейн как в воду глядел: в журнале Оствальда «Трактат» был набран крайне небрежно, с опечатками и заменами символики. Например, строка Шеффера «/» была заменена просто восклицательным знаком, а знак «/» был использован вместо тильды «~» как знак отрицания. Материальная импликация обозначалась просто буквой C, в то время как у Витгенштейна она обозначается символом «⊂».

Разумеется, когда Витгенштейн получил журнал, он был в ярости. В письме к Энгельманну он назвал публикацию «пиратской» и до тех пор, пока в 1922 году не вышло английское издание, он не считал «Трактат» опубликованным.

На протяжении зимы 1921–1922 годов «Логико-философский трактат» переводил на английский язык 18-летний математик, студент Королевского колледжа в Кембридже Фрэнк Рамсей, друг Огдена и молодой гений, которому прочили великое будущее. К сожалению, он умер очень молодым, при этом, тем не менее, успев сыграть в судьбе Витгенштейна достаточно серьезную роль.

Витгенштейн получил перевод Рамсея в конце марта 1921 года. Он долго и с трудом редактировал его. После этого долго обсуждали, как назвать книгу. В июне, когда книга была готова к печати, Витгенштейн получил из издательства договор. По этому договору он не получал ни пенни и вообще не имел никаких гонораров.

В 1933 году, когда была предпринята попытка переиздания книги, он попытался вытребовать у издательства гонорар, но ему вообще не ответили, поэтому свою позднюю работу («Философские исследования») он решил отдать в другое издательство.

Когда издатели попросили Витгенштейна сообщить биографические сведения о себе, он ответил: «Пишите, что вам угодно, только я не могу понять, зачем рецензенту нужно знать мой возраст. Возможно, он верит в астрологию, тогда я могу сообщить дату и час своего рождения, чтобы он мог составить мой гороскоп. 26/IV. 1889, 6 вечера» (цит по *[Monk 1990: 26]*).

В ноябре 1921 года, когда Витгенштейн уже был в Пухберге, он наконец получил экземпляры книги. 15 ноября 1921 года он писал Огдену:

> Они выглядят вполне прилично. Хотелось бы, чтобы содержание было так же хорошо, как и внешнее оформление.

Он спрашивал, есть ли книга у профессора Джонсона, его первого официального научного руководителя в Тринити, автора трехтомного труда по логике. «Мне было бы интересно узнать, — писал он, — что *он* думает о ней. Если увидите его, передайте ему заверения в моей любви».

Фрэнк Рамсей и поездка в Англию

Между тем и по мере того, как кембриджская интеллигенция прочитывала «Логико-философский трактат», имя Витгенштейна все чаще было на устах у профессоров и студентов философских отделений. Прежде всего, конечно, заволновался Кейнс, который, со свойственной ему энергией организатора, видимо, решил во что бы то ни стало вернуть блудного сына в Alma Mater. Ответственное задание заполучить Витгенштейна обратно в Кембридж было дано Кейнсом Фрэнку Рамсею.

Из тех кембриджских философов, логиков и математиков, которые изучали «Трактат» в первый год после его публикации, Фрэнк был явно наиболее перспективным. А ему ведь было всего лишь 19 лет, когда в 1923 году редакция одного из самых престижных философских журналов «Майнд» заказала ему рецензию на «Логико-философский трактат» *[Ramsey 1966]*. И надо признаться, что этот текст был во многих отношениях глубже, чем расселовское Введение.

Когда Витгенштейн узнал из письма Огдена, что юный Рамсей собирается приехать в Вену на летние каникулы, он (через Огдена же) пригласил его погостить в Пухберг. Фрэнк с благодарностью и некоторым трепетом принял приглашение, и 17 сентября, «не зная, чего ожидать», как писал он матери, наслышанный о витгенштеновских чудачествах, появился в Пухберге. Он пробыл в гостях у Витгенштейна две недели. Каждый день по пять часов после занятий Витгенштейна в школе они строка за строкой, афоризм за афоризмом кропотливо изучали «Трактат» — примерно по странице в час *[Monk 1990:216]*. Это было важно для обоих. Витгенштейн, видимо, впервые в жизни получил читателя такого высокого класса, возможно, единственного конгениального читателя. (Если бы кто-нибудь и мог стать учеником Витгенштейна, так это Фрэнк. Но судьба распорядилась по-своему: Рамсей умер, когда ему было всего 26 лет.)

Правда, во время их встречи Витгенштейн не без ехидства заметил, что Фрэнк все забудет, как забыл Мур, приехав в Англию в 1913 году, и Фрэнк слегка обиделся.

Рамсей писал матери, что Витгенштейн сказал ему, что больше ничего не сделает в философии, что его интеллект уже активно не функционирует, и что вообще никто не может работать в философии больше пяти лет, а он писал «Трактат» семь лет, и что от Рассела тоже нельзя ждать больше ничего серьезного. (В общем, брюзжал.) Рамсей также писал:

> Он очень беден, по крайней мере, живет, экономя на всем. Он живет один в крошечной комнатенке, выкрашенной белой краской, там стоит кровать, умывальник, маленький стол и один тяжелый стул — больше ничего нет.
>
> Он великий человек, — заключал свое послание Фрэнк. — Я думал, что Мур великий, но только после Витгенштейна (цит по *[Monk 1990: 217]*).

Разговоры с Рамсеем растормошили Витгенштейна. На него пахнуло воздухом Кембриджа. Он вновь почувствовал вкус к философским дискуссиям. Он стал говорить, что доработает до конца года и уедет из деревни, будет работать садовником (как епископ в фильме Бунюэля «Скромное очарование буржуазии») или поедет в Англию и найдет работу там.

Когда Рамсей уехал, они в течение Михайловского (осеннего) триместра постоянно и дружески переписывались. Витгенштейн дал Фрэнку такое же задание, как в свое время Муру. Прозондировать почву насчет того, не дадут ли ему степень бакалавра за «Логико-философский трактат». Но оказалось, как узнал Рамсей, приехав на место, что в Кембридже теперь нельзя получить бакалавра «заочно», однако, если Витгенштейн лично приедет в Англию, он сможет защитить «Трактат» на степень доктора философии.

Кампания по заманиванию Витгенштейна в Англию началась в 1922 году. Кейнс написал ему письмо, где дружески уверял его, что очень хочет его видеть, и выслал на дорогу 20 фунтов. Рамсей подтверждал это, говоря сомневающемуся Витгенштейну, что Кейнс действительно хочет его видеть, но у Витгенштейна был страх, что он настолько переменился за эти годы, и Кейнс настолько переменился за эти годы, и все вообще настолько переменились за эти годы, что из этих встреч не может получиться ничего хорошего. Он всерьез обдумывал поездку в Англию, но ни Рамсей, ни Кейнс не подозревали, что он собирается там жить в одиночестве.

Денег же он, разумеется, не принял. Рамсей писал Кейнсу, что Витгенштейн не принимает даже рождественских подарков от своих родственников и хочет сам заработать деньги на поездку в Англию (см. *[Monk 1990: 220–221]*).

В марте 1924 года Рамсей приехал в Вену, чтобы подвергнуться психоанализу, познакомился там с Гретль, потом с Мининг и Паулем, а потом заглянул на день к Витгенштейну в Пухберг, чтобы поговорить о математике и сделать очередной заход насчет поездки в Англию, но его голова была так забита

психоанализом, что говорить о математике он был не в состоянии.

Между тем, Кейнс решил подобраться к Витгенштейну с другой стороны — он прочитал «Логико-философский трактат». 29 марта 1924 года Кейнс писал Витгенштейну:

> Я еще не знаю, что сказать о Вашей книге кроме того, что я с определенностью чувствую, что это работа исключительной важности и гениальности. Независимо от того, правильна ли ее концепция или нет, она превосходит все фундаментальные дискуссии, которые когда-либо проводились в Кембридже.

Вместе с письмом Кейнс послал Витгенштейну свою книгу «Экономические последствия мирного развития» («The Economical consequenses of peace»).

Витгенштейн на эту удочку не клюнул, он ответил, что считает невозможным свое возвращение к философии, но если он сможет найти в Англии хоть какую-то работу, хотя бы подметать улицы или чистить сапоги, то он приедет с большим удовольствием. В конце он занудно добавлял запавшую в него мысль: «Мы не виделись 11 лет. Я не знаю, изменились ли Вы, но я очень изменился».

Рамсей же продолжал в письмах восхвалять Витгенштейна. «Мы живем в великое время, — писал он матушке, — ведь рядом с нами живут Эйнштейн, Фрейд и Витгенштейн».

В результате, Витгенштейна в Англию сумел вытащить не хитроумный Кейнс, не суперинтеллектуал Рамсей, а простодушный старый приятель, старый добрый Билл Экклз. Витгенштейн вообще не знал, жив ли он, но однажды ранней весной 1925 года он подучил от Экклза первое послевоенное письмо. 10 марта Витгенштейн ему ответил следующее:

> Дорогой Экклз,
> Я был более чем рад услышать тебя, потому что уже начинал думать, что ты вообще убит или что ты ненавидишь всех немцев и заодно австрийцев настолько, что не хочешь больше со мной иметь дело. […] Я хочу и мог бы увидеть тебя, но когда и где, одному Богу известно. Может быть, мы встретимся на летних каникулах, но у меня не будет много времени и совсем не будет денег, чтобы поехать в Англию, я отдал все свои деньги примерно 6 лет назад.

Далее он пишет, что Кейнс предлагал ему оплатить дорогу,

но он отказался. Он должен сам заработать на поездку в Англию. Тем не менее он надеется…

В конце концов, он написал Экклзу 7 мая, что принимает его приглашение.

Тем не менее, в июльском письме Кейнсу он опять начинает спрашивать, уверен ли Кейнс, что искренне хочет его видеть, так как все они переменились и т. д. В ответ Кейнс послал ему 10 фунтов на дорогу.

Витгенштейн прибыл в Англию 18 августа 1925 года. Вначале он поселился в загородном доме Кейнса в Сассексе. Потом поехал к Экклзу в Манчестер. Экклз с женой встречали его на вокзале. Когда он появился на перроне, они поразились перемене в нем. Раньше это был академический сноб, дамский угодник. Теперь перед ними предстала какая-то ветхая фигура в невообразимой одежде, напоминающей униформу бойскаутов.

Витгенштейн посетил и Кембридж, чтобы повидать старину Джонсона. Когда он уехал, Джонсон написал Кейнсу, чтобы тот передал Витгенштейну, что он всегда будет рад его видеть, но вынужден настаивать, чтобы Витгенштейн больше не рассчитывал на дискуссии по основаниям логики.

Повидались они и с Рамсеем и сразу поссорились настолько, что после этого два года не переписывались. В общем, поездка была удачной. Витгенштейн написал Энгельманну, что в случае нужды он, возможно, вернется в Англию.

Конфликты

В сентябре 1924 года Витгенштейн перебирается в последнюю из четырех деревень. Он, видимо, уже устал «от всего этого», поэтому срывается даже на учениках, не говоря уж о коллегах.

Директор школы Йозеф Путре, с которым Витгенштейн дружил еще в Траттенбахе, был социалистом и хорошо к нему относился. Разногласия возникали только на религиозной почве. Директор был атеистом и высказался однажды против обряда целования руки священника. На что Витгенштейн реагировал довольно оригинальным контрдоводом. «Когда люди целуются, — заметил он, — это тоже делается при помощи губ».

Хотя Оттерталь был довольно благополучным местом, Витгенштейн писал, в частности, Хензелю: «Все равно трудно. Моя карьера учителя подходит к концу. Я один против дюжины. Что я могу сделать?»

Оказывается он кое-что мог еще сделать. Именно в Оттертале он написал «Словарь для народных школ» (Woerterbuch fuer Volksschulen), в котором он кодифицировал ту диалектную разновидность немецкого языка, на которой говорили в Австрийских Альпах. В отличие от «Трактата», эта вторая и последняя изданная при жизни Витгенштейна его книга вышла в свет очень быстро, и, так же как «Трактат», имела в своем роде большой успех. Она вышла в 1926 году в издательстве Hoelder — Pichler — Tempsky и была переиздана в 1977 году. Однако Витгенштейн в письмах продолжал твердить свое. Так, в письме Энгельманну в феврале 1925 года он пишет:

> Я страдаю от человеческих, вернее, от нечеловеческих существ, с которыми я живу — короче, все как обычно! (цит. по *[Engelmann 1969: 185]*).

Кончилось же все тем, что Витгенштейн просто был вынужден бежать из Оттерталя. Бартли пишет:

> Повод для окончательной расправы с Витгенштейном в Оттертале в 1926 году нечаянно обнаружился четырьмя годами раньше, в Траттенбахе. Тогда один из любимых учеников Витгенштейна, брат Карла Грубера Конрад, сыграл со своим учителем злую шутку (вспомним признания Анны Бреннер — *В. Р.),* после чего по деревне поползли слухи о «применении им телесных наказаний». Однажды на уроке географии

> Витгенштейн влепил Конраду пощечину за плохой ответ. Конрад тайком расковырял нос карандашом; пошла кровь; дети заволновались. Конраду разрешили выйти из класса и остановить кровотечение. Однако он, по его собственному признанию сорок пять лет спустя, исхитрялся не останавливать кровотечение до конца урока. История о том, как Витгенштейн расквасил Конраду нос, быстро облетела поселок. К тому времени шутник зашел слишком далеко и не осмелился рассказать правду. Но некоторые ученики проведали об истинных событиях и сами начали устраивать подобного рода розыгрыши. Так, например, провинившийся и поставленный в угол ученик стоял-стоял в углу минут пять, а потом симулировал обморок и падал на пол. Тогда-то и заговорили в Траттенбахе и Оттертале о царившей на уроках Витгенштейна палочной дисциплине, в результате которой дети падают в обморок и истекают кровью *[Бартли: 223–224]*.

Похоже, что Витгенштейн действительно прибегал к розгам, но делал он это не чаще других учителей. И чаще всего он наказывал за ложь. Интересна история про пирожки (в духе рассказа Льва Николаевича про сливы; помните: «Мать купила слив»?).

> Витгенштейн находился в Траттенбахе уже второй год, когда во время масленицы […] крестьянин Трахт, как обычно, отправил Витгенштейну вместе с одним его учеником жареные пирожки. Но мальчик, уже стоя у порога комнаты Витгенштейна, съел два пирожка. На следующий день на уроке учитель спросил его: «Сколько пирожков ты вчера съел у меня?» Ученик, пораженный тем, что Витгенштейн узнал о его поступке, густо покраснел и пролепетал: «Я съел два пирожка». Тогда Витгенштейн похвалил его за правдивый ответ и вместо наказания объяснил ему, что Трахт всунул в пакет не замеченный им листок бумаги, на котором стояла цифра «13», чертова дюжина *[Бартли: 225]*.

Справедливости ради следует рассказать противоположного свойства эпизод, поведанный самим Витгенштейном летом 1937 года «на исповеди» Фане Паскаль, которая вспоминает:

> Самая болезненная часть исповеди шла в конце — оживший и требовавший откровенного признания

> травматический опыт. […] В то недолгое время, когда он учительствовал в деревенской школе в Австрии, ему случилось ударить и ранить маленькую девочку из своего класса […]. Когда она пожаловалась директору, Витгенштейн стал отрицать свою вину. […] Это тот случай, когда он солгал, навсегда отяготив свое сознание *[Паскаль 1994: 125]*.

Вернемся в Оттерталь 1926 года. Последний скандал разразился в апреле. Учитель Пирибауэр, по характеру склочник, ненавидевший Витгенштейна, случайно оказался свидетелем очередного «истязания» ребенка и поехал на станцию за полицией. Витгенштейн, узнав об этом, быстро собрал вещи и уехал в Ноенкирхен, где 28 апреля подал инспектору Кундту прошение об отставке. Кундт подбодрил его и посоветовал не волноваться. Однако судебное преследование против Витгенштейна было все же возбуждено. Потом последовал судебный процесс в Глоггнице с унизительным психическим обследованием Витгенштейна. Витгенштейн был оправдан, но с него уже было довольно. Учительская карьера действительно на этом закончилась. Он вернулся в Вену.

Четвертое рассуждение о формах жизни

1926 год, конец пребывания Витгенштейна в деревне, ознаменовал собой окончание длительного подготовительного периода в его жизни, но не как в жизни гения, «конструктора мысли», и не как в жизни клинического психопата, страдающего тяжелой эндогенной депрессией с суицидальным уклоном, но как в жизни человека среди других людей. Гениев в ту эпоху было очень много, а депрессию лечить, в общем, не умели (во всяком случае, фармакологически: антидепрессанты, как и многое другое, были изобретены после Второй мировой войны, а психоанализу, насколько известно, Витгенштейн не подвергался; он вообще был склонен рассматривать свою болезнь как нечто сугубо экзистенциальное, как наказание за грехи, как дьявольское искушение, гордыню, что, в сущности, не так далеко от представлений современной биоэнергетической психотерапии (см. *[Лазарев 1997])*. Витгенштейн прошел через несколько сильно отличающихся друг от друга *форм жизни*. 1. Детство и отрочество (жизнь на Аллеегассе, школа в Шарлоттенбурге, высшее училище в Манчестере). Об этих периодах мы, в сущности, мало что знаем, так как они плохо документированы. 2. Зато чрезвычайно богато документирован второй период жизни Витгенштейна — студенчество в Кембридже. 3. Третий период — военные годы — также хорошо представлен в документах: письмах и дневнике Витгенштена. 4. Деревенский период практически полностью реконструирован Уильямом Бартли на основе устных опросов оставшихся в живых учеников Витгенштейна. Однако этот период считается темным. Все время как будто висит в воздухе вопрос: «Зачем ему это понадобилось?» (как известно, аналогичный вопрос задал себе австрийский дипломат Меттерних, когда умер его французский коллега Талейран: «Интересно, зачем ему это понадобилось?»). Это апофеоз телеологического мышления. Но мы придерживаемся той точки зрения, что детерминизм и телеология суть симметричные *[Рейхенбах 1964],* или дополнительные *[Бор 1962]* системы описания любых феноменов культуры *[Лотман 1978, 1978а, Руднев 1988, 1996]*. В терминах Аристотеля можно сказать, что causa efficiens и causa finalis для нас разновидности одного и того же. Но мы говорим о *формах жизни*. Как сравнить три фундаментальных пакета языковых игр:

— студенчество в Кембридже
— участие в Первой мировой войне
— учительство в австрийской деревне?

Оставим на время вопросы «почему» и «зачем», поговорим о морфологии в том смысле этого слова, в каком его употреблял И. В. Гете в своем учении о цвете и В. Я. Пропп в «Морфологии сказки».

Что такое языковая игра? По-видимому, не что иное, как совокупность речевых актов.

— Принеси мне плед из спальни.

— Вот он, возьми.

(речевой акт успешен)

— Сколько будет 57 прибавить 68 (ср. *[Kripke 1982])!*

— Не знаю!

(речевой акт неуспешен)

— Объявляю вас мужем и женой (священник в церкви).

(речевой акт успешен, но он может быть не валиден, если, например, священник лишен сана; он может быть, наоборот, валиден, но не успешен, когда венчают по ошибке кого-то другого, как в новелле Пушкина «Метель»).

Что лежит в основе речевого акта? Странный вопрос. Пропозиция, разумеется. Без пропозиции *формы жизни* вообще невозможны. Но при помощи одних чистых пропозиций (пропозициональных радикалов *[Stenius 1960])* речевой акт также невозможен. Необходим перформативный зачин, пресуппозиция, модальная рамка.

Приведем такой пример. Вот чистая пропозиция: «Идет дождь». Может ли она в таком виде быть речевым актом? Да, может. Любая пропозиция, в соответствии с перформативной гипотезой Дж. Росса *[Ross 1970, Вежбицка 1985],* является скрытым речевым актом. Суть гипотезы в том, что перформативный элемент не обязательно выступает на уровне поверхностной структуры, но может быть скрыт на уровне глубинной структуры (термины генеративной грамматики Н. Хомского *[Хомский 1962]).* Пропозиция «Идет дождь» может подразумевать различные перформативные элементы. Например:

(1) Я думаю, что идет дождь

(2) Я уверен, что идет дождь

(3) Я (не) сомневаюсь, что идет дождь

(4) Я знаю, что идет дождь

(5) Я слышу, что идет дождь

(6) Сегодня весь день идет дождь

(7) Всю неделю идет дождь

(8) В Ленинграде светит солнце, а в Москве идет дождь

(9) Что это шумит — неужели идет дождь?

(10) Посмотри, какой идет дождь!

(11) Это просто чудо, что в середине января в Москве идет

дождь

(12) В фильме Тарковского «Зеркало» сквозь разваливающийся потолок идет дождь

(13) Фильм Хуциева начинается с того, что идет дождь

(14) Как хорошо, что идет дождь

(15) Как ужасно, что идет дождь

(16) Мне абсолютно все равно, что идет дождь

(17) Поздней осенью так и должно быть, что все время идет дождь

(18) Это нарушение всех законов природы, что зимой в Москве идет дождь.

Не слишком ли много примеров? Как их анализировать? Какое они имеют отношение к жизни Витгенштейна или по крайней мере к *формам жизни?*

Начнем с того, что во всех этих предложениях есть общего: заключенная в них пропозиция «Идет дождь» лишена истинностного значения, то есть не является ни истинной, ни ложной. Все 18 примеров представляют собой фрегевские косвенные контексты, о которых говорилось в разделе 2.4 в связи с занятиями Витгенштейна философией в Кембридже (см. также *[Фреге 1977]*). Истинностное значение в речевом акте заменяется условиями успешности, или иллокутивной силой (см. *[Арутюнова 1990, Остин 1986, Серль 1986]*).

Теперь попробуем найти между этими примерами конструктивные различия. Первые четыре примера объединены тем, что в них идет речь о различных степенях знания. *Думаю, уверен, сомневаюсь* — все это эпистемические глаголы (то есть глаголы, которые могут управлять словом «значение» (см. *[Руднев 1996а]*). В целом, предложения с такими глаголами называются пропозициональными установками (термин этот придумал Рассел *[Russell 1980];* подробный анализ пропозициональных установок с точки зрения семантики возможных миров см. *[Хинтикка 1980]).*

Предложение (5) связано с пространством (точнее, с пространством «там»; подробнее см. раздел 2. 2 нашей книги *[Руднев 1996],* а также статью *[Руднев 1994]),* то есть говорящий слышит дождь, но не видит его. Это означает, что он не может быть *уверен* в том, что идет дождь: может быть, это какой-то другой звук. На уровне глубинной структуры предложение (5) разворачивается следующим образом: **Мне кажется, что я слышу, что идет дождь**.

«Мне кажется» — это уже эпистемический оператор, часть пропозициональной установки. Так чаще всего и бывает, что пространственное высказывание о реальности связано с эпистемическим (ср. также наш разбор витгенштейновского

трактата «О достоверности» в конце этой книги).

Пропозиция (6) имеет модальный оператор *сегодня* и, стало быть, относится к временным = темпоральным модальностям (ср.: всегда идет дождь, вчера шел дождь, иногда идет дождь). Темпоральные модальности (см. также *[Prior 1960, 1967])* часто связаны с пространственными (здесь летом всегда идет дождь). Так, пропозиция (7) является чисто темпоральной, а пропозиция (8) темпорально-пространственной.

Пропозиция (9) на поверхностном уровне выражает вопрос. На глубинном уровне это эпистемическая модальность:

Что это там шумит? → *Я не знаю,* что там шумит.

Пропозиция (9) на поверхностном уровне выражена императивом, на глубинном уровне это приказ, то есть деонтическая модальность (подробно см. *[Вригт 1986, Руднев 1996])*. Высказывание (11) выражает алетическую модальность (необходимое, возможное, невозможное):

Это чудо, что в середине января в Москве идет дождь → Невозможно, чтобы в середине января в Москве шел дождь.

Конечно, в данном случае речь идет не о логической, но психологической невозможности.

Высказывания (12) и (13) на поверхностном уровне выражают эстетическую модальность (см. их анализ в *[Pavel 1976, Lewis 1983, Castaneda 1982, Руднев 1996]),* на глубинном уровне это разные модальности: (12) — алетическая, (13) — темпоральная. Высказывания (14) — (16) выражают аксиологические модальности — ценное, антиценнное и безразличное (подробно см. *[Ивин 1970])*. Высказывания (17) и (18) выражают деонтические модальности — долженствование и нарушение. Таким образом, вся совокупность многочисленных языковых игр имеет в своей основе шесть базовых модальностей: пространство и время, знание и необходимость, аксиологию и деонтику. Впервые последние четыре модальности, назвав их «нарративными», применил к анализу художественного дискурса Любомир Долежел *[Dolezel 1979]*. Полная типология построена нами (см. *[Руднев 1996])*.

Итак, получается, что при помощи шести фундаментальных модальностей можно описать совокупность существующих *форм жизни.* При этом ясно, что каждая языковая игра и даже каждый ход в языковой игре — речевой акт — может быть не одной модальностью, а констелляцией модальностей. Проанализируем такую фразу:

Витгенштейн приехал в Кембридж и познакомился с Бертраном Расселом.

Прежде всего это высказывание о пространстве, причем со

знаком «+», так как Витгенштейн хотел приехать в Кембридж и приехал (если бы он по ошибке приехал в Оксфорд — это было бы высказывание со знаком минус). Стало быть, это одновременно и аксиологически ценное речевое действие, то есть аксиологический речевой акт со знаком «+». Витгенштейн *узнал* Рассела, тогда как раньше он знал его только по книгам, стало быть, это и эпистемическое речевое действие со знаком «+». С деонтической точки зрения это нейтральное высказывание: приезжая в Кембридж, Витгенштейн ни нарушал какого-то обязательства, ни выполнял его. С временной точки зрения это тоже нейтральное высказывание — он ни опоздал, ни приехал раньше. С алетической точки зрения это тоже нейтральное действие — ничего чудесного или невозможного здесь не произошло. И все же в модальном смысле это достаточно сильное речевое действие — три плюса. Суммируя все речевые действия, которые совершал Витгенштейн в Кембридже, мы можем выделить модальную доминанту его пребывания там. Витгенштейн в Кембридже:

— обучался логике (эпистемика +, аксиология +)

— близко познакомился с Кейнсом, Муром, Джонсоном (эпистемика +, аксиология +)

— вступил в общество «Апостолы» (эпистемика+, деонтика +; вступая в общество, он брал на себя определенные обязательства)

— подружился с Дэвидом Пинсентом (эпистемика +, аксиология +)

— ездил в Исландию и Норвегию (пространство +, эпистемика +, аксиология +)

— его одолевала депрессия и мысли о самоубийстве (аксиология «минус»)

— сделал доклад «Что такое философия?» (эпистемика +, аксилогия +)

— поссорился с Расселом и Муром (аксиология «минус»)

— остался жить один в Норвегии (пространство +, аксилогия +).

Доминанта явно положительная: Витгенштейн освоил новые культурные пространства, познакомился со многими людьми, трое из которых сыграли огромную роль в его жизни, ссоры с ними были не окончательными; несмотря на мучившие его суицидальные мысли, он не покончил с собой, а нашел наиболее адекватную для себя форму существования в одиночестве.

Сравним этот результат со следующим периодом — военным. Витгенштейн:

— занялся филантропией (деонтика +, аксиология +)

отказался от денег (деонтика +, аксиология +)

пошел добровольцем на войну (деонтика +, аксиология «минус»)

— пережил там нравственный переворот (аксиология +)

— попал в плен (аксиология «минус»)

— закончил «Трактат» (эпистемика +, аксиология +)

— не мог опубликовать «Трактат» (аксиология «минус»)

— узнал о смерти Пинсента (эпистемика «минус», аксиология «минус»)

— продолжал мучаться депрессией и суицидальными мыслями (аксиология «минус»).

Можно сказать, что военный период, связанный с идеей выполнения долга, характеризуется большей деонтической напряженностью и общей динамикой повышения «минусов».

Наконец, деревенский период.

Здесь Витгенштейн:

— сознательно пошел на социальное самоуничижение, выполняя общественный долг (деонтика +, аксиология «минус» — это как бы продолжение темы войны и родины, Витгенштейн как будто говорит: «Я не желаю оставаться в стороне»)

— уехал из Вены в деревню (пространство «минус»)

— хорошие отношения с учениками (аксиология +)

— плохие отношения с учителями (аксиология «минус»)

— переезд из деревни в деревню (пространство и аксиология «минус»)

— выход «Трактата» (аксиология +)

— написание и выход «Словаря» (эпистемика и аксиология +)

— знакомство с Рамсеем (эпистемика +, аксиология +)

— поездка в Англию (пространство +, аксиология +)

— козни учеников и Пирибауэра, судебный процесс, уход с поста учителя (эпистемика «минус», аксиология и деонтика «минус»).

Интересно, что в целом, судя по количеству минусов, этот период еще менее удачный, чем военный. Во время войны Витгенштейну давала хороший жизненный допинг опасность. Там он от телесного осознания себя, как в Кембридже — когда он постоянно жаловался на депрессию и думал о суициде — перешел к духовному. И то, что на телесном плане мы обозначали как «аксиология «минус» на духовном превращалось в «аксиологию +». Вернувшись с войны, он опять «зацепился» за земное: прежде всего, за публикацию «Трактата», поэтому пришлось вновь очищаться духовно через в каком-то смысле более мучительные испытания в деревне.

Попробуем обобщить все сказанное об этих трех периодах на языке модальностей. Прежде всего, в этот период в жизни Витгенштейна из шести модальностей задействованы всего четыре. Он не был святым, и поэтому в его жизни не было чудес — отсутствие алетики, которая в житиях святых играет определяющую роль. Второе — это отсутствие временного фактора. Витгенштейн был человеком пунктуальным и никогда никуда не опаздывал. Напротив, чувство времени, как можно думать, было развито у него чрезвычайно высоко (мы сейчас говорим о внутреннем биологическом времени; в том, что касается исторического времени, Витгенштейн все время тянулся назад, в XIX век).

Расположим оставшиеся четыре модальности в виде таблицы и посмотрим, что получится:

	эпистемика	пространство	аксиология	деонтика
Кембридж	+	+	+ /-	**0**
война	- / +	—	- / +	+
деревня	+	—	- / +	+

Наиболее четкие разграничения несут пространство и деонтика. Англия для Витгенштейна была хорошим пространством, но он там не выполнял долга; в Австрии он только и делал, что выполнял долг, но это было для него чрезвычайно мучительно.

Интересно, что родина несла Витгенштейну всегда только опасности и разочарования, Австрия для него — лишь полигон для испытаний. Свет всегда идет из Англии (ср. наши интерпретации дюркгеймовских обобщений по поводу того, как влияет перемена этноса на самоубийство в разделе 1. 5). В Австрии Витгенштейн только отдавал, а в Англии всегда получал. Так, Фреге его до конца не понимал, Рассел создал ему реноме великого философа. Издание «Трактата» в Австрии было жалким и прошло незамеченным. Издание «Трактата» в Англии сразу выдвинуло Витгенштейна в ряд ведущих философов века. К своим самозваным ученикам из Венского кружка Витгенштейн относился чаще всего иронически (см. следующую главу) — к своим кембриджским ученикам он относился серьезно и искренне любил их. Поэтому есть все основания быть несогласными с авторами книги «Витгенштейновская Вена», считающими Витгенштейна австрийским философом *[Janic-Toulmen 1973]*, и есть все основания вернуться к традиционной точке зрения, что Витгенштейн принадлежит к англосаксонской философской традиции.

Глава 5.
Вена (1926–1929)

Дом, который построил Витгенштейн

Витгенштейн не сразу вернулся в Вену. Процесс и унижения, связанные с ним, сделали для него невозможным появление в обществе. В Англию он тоже не мог сразу поехать в таком состоянии. Со свойственным ему максимализмом, он решает сделаться монахом. К счастью, настоятель монастыря, к которому он обратился, был умен и отговорил его от этого шага, сказав, что мотивы, которыми руководствуется Витгенштейн, не соответствуют критериям хорошего послушника. В качестве альтернативы Витгенштейн устроился садовником в монастыре в Хюттельдорфе, неподалеку от Вены. И эта работа повлияла на него психотерапевтически, так что в конце лета он уже почувствовал себя способным вернуться в Вену.

3 июня 1926 года, — пишет Монк, — когда Витгенштейн еще работал садовником, после недолгой болезни умерла его мать; она скончалась в фамильном доме на Аллеегассе, оставив Гермину в качестве главы семьи. Именно с этого времени очень сильно переменились установки Витгенштейна по отношению к семье. Фамильные рождественские торжества, с 1914 года наводившие на него тоску, он теперь встречал с энтузиазмом и тщательно готовился к ним: дарил подарки сестрам и племянникам, и каждую зиму, вплоть до 1938 года, когда Австрию захватили нацисты и выезд из Англии стал невозможным, он приезжал в Вену на семейные рождественские торжества.

Приехав в Вену летом 1926 года, Витгенштейн почувствовал, что не может сидеть, сложа руки, и стал искать какую-то работу. Тогда-то Гретль и попросила его стать партнером Пауля Энгельманна в проектировании и постройке ее нового дома. Энгельманн уже до этого сделал кое-что для семьи Витгенштейнов. Так, он обновил фамильный дом на Нойевальдеггергассе и сделал в доме на Аллеегассе пристройку по просьбе Пауля для выставки его коллекции фарфора. В конце 1925 года Гретль пригласила Энгельманна быть архитектором ее нового дома, который она задумала построить на Кундманнгассе, в Третьем районе Вены. Витгенштейна, еще когда он был в Оттертале, заинтересовал этот проект, и каждый раз, когда он приезжал в Вену, он обсуждал его с Гретль и Энгельманном с такой заинтересованностью и пониманием, что Энгельманну казалось, что Витгенштейн понимает, чего хочет Гретль лучше, чем он сам.

И хотя за год пребывания Витгенштейна в Оттертале

первоначальные планы изменились, Энгельману и Гретль казалось естественным вновь пригласить Витгенштейна. Энгельманн писал, что несмотря на то, что основной план уже был готов к тому времени, когда Витгенштейн был приглашен, именно Витгенштейн, а не он, Энгельманн, стал подлинным архитектором этого дома *[Monk 1990:236]*.

Окончательный план был подписан 13 ноября 1926 года. Подписи стояли такие: «П. Энгельманн и Л. Витгенштейн. Архитекторы». Витгенштейн никогда не учился на архитектора, но именно так он всерьез стал подписывать свои бумаги и даже в городской книге стояло: «Пауль Энгельманн и Людвиг Витгенштейн. Архитекторы, Вена III. Паркгассе 18».

Роль Витгенштейна в оформлении дома состояла по большей части в декорировании окон, дверей, оконных ручек и радиаторов. Но это были не такие мелкие детали, как может показаться на первый взгляд, поскольку именно эти детали придавали дому его неповторимую прелесть.

В сущности, любой дом весь состоит из деталей, — пишет Монк, — и Витгенштейн руководил их построением почти с фанатической скрупулезностью. Когда слесарь спрашивал его: «Скажите мне, господин Инженер, неужели для вас так важен каждый миллиметр?», Витгенштейн, еще не дождавшись конца вопроса, рычал: «Да!» […] Радиаторы, которые задумал Витгенштейн, ставились целый год, потому что в Австрии не нашлось того, чего хотел Витгенштейн, и детали пришлось выписывать из-за границы *[Monk 1990: 236]*.

Маргарет могла въехать в новый дом в конце 1928 года. По мнению Гермины, Гретль вошла в новый дом, как рука входит в перчатку. Дом был продолжением ее личности — и в этом, конечно, была заслуга Людвига, и именно это имел в виду Энгельманн, говоря, что Витгенштейн был подлинным архитектором этого дома.

Сама Мининг относилась к этому дому совершенно иначе:

> Несмотря на то, что я восхищалась домом, — писала она, — я всегда знала, что никогда не захотела бы и не смогла жить в нем сама. Он больше походил на жилище богов, чем простых смертных, подобных мне, но поначалу мне даже хотелось победить слабое сопротивление «величественной логике этого дома», как я это называла, этому совершенству и монументальности (цит по *[Monk 1990:237])*.

Сам Витгенштейн писал о своем архитектурном произведении следующее:

> … мой дом для Гретль — плод бесспорного музыкального слуха, *хороших* манер, выражение большого *понимания* (некоей культуры и т. д.). Но в нем нет *первобытной* жизни, *дикой* жизни, стремящейся вырваться наружу. Можно было бы сказать также, что в нем отсутствует *здоровье* (Кьеркегор). (Тепличное растение.) *[Витгенштейн 1994:447]*.

Несмотря на все эти качества или благодаря им, дом на Кундмангассе имел несчастливую судьбу. Менее чем через год после того, как Гретль въехала в него, началась Великая Депрессия, и хозяйка вскоре была вынуждена принимать гостей не в величественном зале, а на кухне. В 1938 году, после аншлюса, она уехала в Нью-Йорк, оставив дом пустым (за. ним присматривал единственный слуга). В 1945 году, когда в Австрию пришли русские, дом использовался как временное жилье для солдат. Гретль вернулась в 1947 году и жила в доме вплоть до своей смерти в 1958 году, когда дом стал собственностью ее сына Томаса Стонборо. Дом оставался пустым до 1971 года, когда Стонборо решил продать его на снос. Дом был спасен одним из скупщиков и затем был признан национальным памятником; ныне в нем располагается департамент культуры Болгарского посольства. Внутренний антураж дома, конечно, изменился. Все то, что так любовно делал Витгенштейн, «каждый миллиметр» — от этого не осталось ни следа. Возможно, считает Монк, если бы Витгенштейн мог увидеть, что сделали с его домом, он предпочел бы, чтобы он был снесен.

Маргарита

После постройки дома на Кундмангассе Витгенштейн был втянут свой сестрой Гретль в Венское общество. Ее старший сын Томас Стонборо только что вернулся из Кембриджа и работал над диссертацией на степень доктора философии, которую он собирался получить в Венском университете. В Кембридже он встретил девушку из Швеции — Маргариту Респингер — и пригласил ее в Вену. По-видимому, это была единственная женщина, в которую Витгенштейн оказался влюблен, с ней у него был серьезный роман, длившийся до 1931 года, и даже одно время он собирался жениться.

Маргарита была живая, артистичная молодая леди из богатой семьи, не имеющая ни интереса к философии, ни той набожной серьезности, которую Витгенштейн считал необходимой предпосылкой всякой дружбы. Первоначально их отношения подбадривала Гретль, несмотря на то, что другие знакомые и родственники были скорее озадачены этими отношениями, чем приятно удивлены. Маргарита впервые увидела Витгенштейна, когда он, повредив себе ногу на стройке дома для Гретль, лежал, выздоравливая у нее в семье. Она входила в группу молодых людей, которая включала в себя Томаса Стонборо, братьев Сегренов, Талле и Арвида, которые собирались вокруг витгенштейновой кровати послушать, что он читал вслух. В тот вечер он читал что-то из шведского писателя Йохана Петера Хебеля, и она сказала: «Я вновь почувствовала себя дома благодаря этому чтению с таким пониманием». К большому неудовольствию и даже ревности Арвида Сегрена, Витгенштейн обратил на нее внимание. На другом вечере, когда Витгенштейн спросил свою аудиторию, что ей почитать, явно обращая свой вопрос к Маргарите, Арвид бросил: «Совершенно все равно, что читать, она все равно ничего не понимает» *[Monk 1990: 238–239]*.

Несмотря на неодобрение Арвида, Витгенштейн и Маргарита стали видеться почти ежедневно. Будучи в Вене, Маргарита посещала художественную школу, а после уроков шла на Кундмандгассе, туда, где строился новый дом для Гретль, чтобы встретиться там с Витгенштейном. Они шли вместе в кино, смотрели вестерн и заходили в кафе закусить — яйца, бутерброды и стакан молока. Это была, по правде сказать, не та еда, к которой она привыкла. И для нее, респектабельной молодой дамы, требовалась определенная доля мужества, чтобы постоянно находиться в обществе Витгенштейна, одетого в шерстяной жакет, рубаху с открытым воротом, пузырящиеся

брюки и тяжелые ботинки.

Он был почти в два раза старше ее.

Она бы, конечно, предпочла компанию более молодых и лучше одетых молодых людей, вроде Томаса Стонборо или Талле Сегрена. Это озадачивало и злило Витгенштейна. А их, в свою очередь, озадачивало, что может быть общего между Маргаритой и Витгенштейном, почему они стремятся уединиться. В этой ситуации особенно пострадал Пауль Энгельманн, которого Маргарита невзлюбила просто за то, что он *«слишком* еврей» *[Monk 1990:239]*. Отношения между Витгенштейном и Энгельманном в это время, естественно, ухудшились, они стали реже видеться.

Отношения с Маргаритой энергично поддерживала Гретль, которой казалась, что ее общество оказывает на Витгенштейна успокаивающее и «нормализующее» влияние. Наверное, так оно и было, тем более, что Витгенштейн попросил Маргариту не пытаться проникнуть в его внутренний мир — требование, которое она с легкостью выполняла.

В это время Витгенштейн работал в мастерской скульптора Дробиля (с которым он познакомился в итальянском плену). Он слепил бюст молодой женщины, — моделью была Маргарита. Но это не был ее портрет, как утверждал и сам Витгенштейн, и это не было произведение искусства в полном смысле слова, это было для Витгенштейна «прояснением» того, что делал Дробиль, стиля его работы. Эта скульптура была как бы воплощением цитаты из книги Вайнингера:

> Любовь к женщине возможна только тогда, когда она не касается ее реальных качеств, и тогда становится возможным заменить подлинную физическую реальность другой, воображаемой реальностью (цит. по: *[Monk 1990: 216])*.

Когда бюст был закончен, он был поставлен в новом доме Гретль: они очень подходили друг другу по стилю.

В конце 1929 года отношения между Маргаритой и Витгенштейном стали менее ровными. Когда он первый раз приехал из Кембриджа в Вену провести Рождество в своей семье, она даже не захотела поцеловать его. Маргарита охладевала к нему. В своем дневнике он отметил это, отметил, что это болезненно, но не делает его несчастным. Он также заметил, что его задевают не ее чувства, а его собственные. «Я животное, и все же я не несчастлив», — писал он в день Рождества. «Есть опасность, что я стану еще более поверхностным. Но Господь убережет меня от этого!» *[Monk 1990: 281]*. Если оставить язык

этики (тем более, что Витгенштейн сам утверждал, что такого языка не существует) и перейти на язык психологии, то можно сказать, что, во-первых, к 40 годам, а именно столько ему было в 1929 году, Витгенштейн эмоционально окреп, и, во-вторых, «вайнингерианское» переживание женщины, которое безусловно было присуще Витгенштейну, сделало для него этот опыт гораздо менее болезненным, чем его дружеские отношения с мужчинами, начиная с Рассела и Дэвида Пинсента и кончая Френсисом Скиннером и Беном Ричардсом.

Однако отношения с Маргаритой на этом не кончились. Их заключительный аккорд звучит в чисто витгенштейновской тональности. Ранним летом 1931 года Витгенштейн пригласил Маргариту в Норвегию, чтобы подготовить ее, как он полагал, для будущей совместной жизни. В его намерения входило, чтобы они проводили время по отдельности, размышляя над тем серьезным шагом, который им предстоит, чтобы подготовить, так сказать, духовную почву для совместной жизни.

Соответственно Витгенштейн жил в своем доме, который был построен для него еще в 1914 году, а Маргарита жила в фермерском доме Анны Ребни, семидесятилетней женщины, которая жила со своей престарелой матерью. На протяжении двух недель Маргарита видела Витгенштейна очень мало. Распаковав свои вещи, она обнаружила там Библию и письмо, в котором особо подчеркивалось значение рассуждений Святого апостола Павла в Первом послании к коринфянам о природе и ценности любви. Этот прозрачный намек на тип времяпрепровождения Маргарита не приняла. Вместо медитаций, молитв и чтения Библии — в которых, несомненно, проводил время Витгенштейн — она гуляла по Скьолдену, купалась во фьорде, понемногу знакомилась с крестьянами и учила норвежский язык. Через две недели она попросту уехала к подруге в Рим. Не только она не хотела жить такой жизнью, которую предлагал ей Витгенштейн, но и он не согласился бы жить той жизнью, которую могла предложить ему она. К тому же, Витгенштейн не хотел иметь детей, считая, что это означает приносить еще одно существо в мир страданий и несчастий. Визит в Норвегию положил конец идее женитьбы, но не дружбе, которая продолжалась еще два года (пока Маргарита не влюбилась в Талле Сегрена и не вышла за него замуж в 1933 году). Так, в начале 1930-х годов по совету Витгенштейна Маргарита училась на курсах медсестер в Берне.

Описывая день своей свадьбы в воспоминаниях, Маргарита пишет:

Мое отчаяние достигло своего зенита, когда Людвиг

пришел повидать меня в воскресенье утром за час до свадьбы. «Ты садишься в лодку, когда на море волнение, чувствуй всегда мою поддержку, и твоя лодка никогда не перевернется», — сказал он мне. До этого момента я не осознавала ни его поддержки, ни, возможно, его обмана. На протяжении многих лет я была как мягкая глина в его руках, над которой он работал, чтобы слепить лучшее существо. Он был как добрый самаритянин, дающий новую жизнь падшему (цит. по *[Monk 1990: 339])*.

Логический позитивизм Венского кружка

Польза от пребывания в Вене в конце 1920-х годов не ограничилась для Витгенштейна упражнениями в архитектуре и любовью к Маргарите. Именно в этот период он вернулся к философии. И вновь решающую роль катализатора сыграла здесь Гретль, которая познакомила Витгенштейна с председателем Венского логического кружка, профессором философии Венского университета Морицем Шликом. Но прежде, чем рассказать об отношениях Витгенштейна с Венским логическим кружком, расскажем о самом кружке и обрисуем ту философскую идеологию, которую он исповедовал. Этой идеологией был логический позитивизм (см. также раздел 2.4 настоящей книги).

Венский кружок образовался в 1922 году на базе семинаров, устраиваемых Шликом. Это была группа венских интеллигентов, в основном представителей естественнонаучного знания, стремящихся выработать новую научную и философскую идеологию. Первоначально в Венский кружок входили преподаватели и студенты университета, потом он был расширен и стал международным. Ядром Венского кружка были такие мыслители и ученые, как Отто Нейрат, Фридрих Вайсманн, Курт Гедель, Герберт Фейгль. С Венским кружком тесно сотрудничали Ганс Рейхенбах, Альфред Айер, Эрнст Нагель. В 1926 году в него вошел Рудольф Карнап, в работах которого идеи кружка получили наиболее полное и логически строгое выражение.

Современный исследователь лингвистической философии пишет:

> Идеи логического позитивизма исходили из эпистемологии Эрнста Маха, согласно которой научно осмысленными могут считаться только высказывания, могущие быть представленными в форме высказываний о наблюдаемых феноменах. Несмотря на некоторые разногласия, представителей Венского кружка объединяла общая цель — подвергнуть все наличное (как научное, так и философское) знание критическому анализу с позиций требования принципа *верификации.* Инструментом такого анализа является аппарат математической логики, а моделью «очищенного» от метафизики знания — модель логически строгого языка, представленная Витгенштейном в «Логико-философском трактате». Эти программные задачи нашли отражение в манифесте кружка «Научное понимание мира. Венский

кружок», опубликованном в 1929 г. Карнапом, Ганом и Нейратом. К 1930 г. происходит организационное оформление Венского кружка. С 1930 по 1939 г. выпускается специальный журнал «Erkenntnis», а с 1938 г. — периодическое издание «Международная энциклопедия унифицированной науки» и «Библиотека серии унифицированной науки», которые печатают работы по созданию логически строгого языка науки. […] В начале 2-й мировой войны Венский кружок прекратил существование в связи с гибелью Шлика и отъездом ряда его участников из Австрии *[Пугачев 1991: 58–59]*.

Логический позитивизм претендовал на анализ и решение актуальных философско-методологических проблем, выдвинутых в ходе научной революции начала XX века и касающихся роли знаково-символических средств научного мышления, соотношения теоретического аппарата и эмпирического научного базиса, природы и функции математизации и формализации научного и философского знания. Противопоставляя науку философии, логические позитивисты считали, что единственным заслуживающим доверия в философском смысле является научное знание. Традиционные проблемы философии они объявляли бессмысленными, основным предметом философии считался язык, а основной проблемой — как устранить из естественного языка неясности и ошибки и построить логически совершенный язык науки.

Научно валидными, таким образом, считались лишь так называемые «протокольные предложения», то есть те, истинность или ложность которых можно проверить на опыте, а главным эпистемологическим принципом — принцип верификационизма.

Согласно этому принципу, всякое *осмысленное* высказывание может быть сведено к совокупности протокольных высказываний (как у Витгенштейна — всякая пропозиция может быть сведена к элементарной пропозиции), фиксирующих данные «чистого опыта» и выступающих в качестве фундамента любого знания. Вот несколько характерных высказываний Шлика о протокольных предложениях и принципе верификационизма:

> Первоначально под «протокольными предложениями» понимались — как это видно из самого наименования — те предложения, которые выражают факты абсолютно просто, без какого-либо их переделывания, изменения или добавления к ним чего-либо еще, — факты, поиском которых занимается всякая

наука и которые предшествуют всякому познанию и всякому суждению о мире. Бессмысленно говорить о недостоверных фактах. Только утверждения, только наши знания могут быть недостоверными. Поэтому если нам удается выразить факты в «протокольных предложениях», то они станут, наверное, абсолютно несомненными отправными точками знания. […]

Наука делает предсказания, которые опыт проверяет. Ее существенной функцией является предсказание. Она говорит, к примеру: «Если в такое-то и такое-то время вы посмотрите в телескоп, направленный туда-то и туда-то, вы увидите, что световая точка (звезда) пересеклась с черной риской (перекрестием)». Допустим, что, выполняя эти функции, мы действительно сталкиваемся с предсказанным опытом. Это означает, что мы получаем предвиденную констатацию, мы высказываем ожидаемое суждение наблюдения, мы получаем тем самым ощущение свершения, особого удовлетворения. […] Когда предсказание подтверждено, цель науки достигнута: радость познания есть радость верификации *[Шлик 1993а: 34, 45–46]*.

В дальнейшем, на рубеже 1930-х—1940-х годов логический позитивизм Венского кружка себя исчерпал. Высказывания науки, той же физики, например, стали настолько тонкими, а их объекты настолько неуловимыми, что сведение опыта к протокольным высказываниям стало нереалистичным. Какие могут быть протокольные высказывания об элементарной частице, у которой нет массы покоя? Витгенштейн во многом опередил своих коллег. Суть коллизии между ним и Венским кружком заключалась в том, что они опирались на некоторые положения «Логико-философского трактата» и хотели найти в Витгенштейне внятного собеседника и истолкователя собственных максим. Но Витгенштейн в это время уже ушел вперед, он мыслил уже в какой-то другой, возможно, ему самому пока непонятной парадигме, в парадигме поздней аналитической философии, и это приводило к взаимонепониманию. Об отношениях Витгенштейна и членов Веского кружка наш рассказ в следующем разделе.

Именно Гретль, сделавшая много хорошего своему брату в этот период, познакомила его с Морицем Шликом. Впрочем, они были уже знакомы.

Шлик появился в Вене в 1922 году, когда Витгенштейн был в Пухберге, и был одним из первых, если не первым в Вене, кто прочитал и оценил «Трактат». Летом 1924 года Шлик встретился в доме у Гретль с Франком Рамсеем и после этого написал Витгенштейну в Пухберг большое письмо:

> Будучи поклонником Вашего *Логико-философского Трактата,* я имел давнее намерение войти в контакт с Вами. Мои профессиональные и другие обязанности вынуждали меня откладывать мое намерение почти все те пять семестров, что я был призван на преподавание в Вену. Каждый зимний семестр я имел регулярные встречи с коллегами и одаренными студентами, интересующимися проблемами оснований логики и математики, и Ваше имя часто называлось в этой группе, особенно с тех пор, как мой коллега-математик профессор Райдемастер доложил о Вашей работе в лекции, которая произвела большое впечатление на всех нас. Итак, здесь находится большое количество людей — и я в их числе, — кто сознает важность и правильность Ваших фундаментальных идей и кто чувствует большое желание играть определенную роль в более широком распространении Ваших взглядов (цит по *[Monk 1990: 256])*.

В заключение Шлик попросил аудиенции у Витгенштейна в Пухберге. Витгенштейн милостиво согласился. Шлик сразу написал подтверждение своего намерения приехать, но выбрался он лишь через пятнадцать месяцев после переписки, в апреле 1926 года.

Жена Шлика так описывала его подготовку к этому паломничеству (теперь это уже был Оттерталь):

> Это было похоже на то, как если бы он готовился к паломничеству к святым местам. Как он мне объяснил с благоговением, Витгенштейн — один из величайших мыслителей современности (цит по *[Monk 1990: 258])*.

Можно представить себе абсурд ситуации, когда университетский профессор со своими самыми избранными студентами прибыл в резиденцию великого философа, зарабатывающего на хлеб уроками в начальной школе, и им сообщили, что господина учителя нет дома, ибо он в эти часы находится в школе, где исполняет свой служебный долг…

Итак, Шлик был в восторге, когда в феврале 1927 года Гретль пригласила его на ужин, где будет присутствовать… Людвиг Витгенштейн! Правда, тут было очень печальное для Шлика условие: Витгенштейн отказывался обсуждать философские проблемы. Об этом Гретль предупредила Шлика письмом:

> Он просит передать Вам самый теплый привет и извинения за то, что чувствует себя совершенно неспособным концентрироваться на логических проблемах, так как весь поглощен той работой, которую делает сейчас и которая отнимает у него всю энергию (имеется в виду постройка дома на Кундмангассе — *В. Р.)*. Он определенно не мог бы встречаться с большим количеством людей. Он чувствует, что если бы Вы были с ним наедине, дорогой профессор Шлик, он, может быть, был бы в состоянии обсуждать такие материи (цит по *[Monk 1990: 258])*.

После встречи с Витгенштейном, вспоминает жена Шлика, «он возвратился в состоянии экстаза, говорил мало, и я чувствовала, что не надо задавать вопросов». Витгенштейн же на следующий день после встречи со Шликом сказал Энгельманну следующее: «Я думаю, что мы оба сочли друг друга сумасшедшими».

Вскоре после этого Шлик и Витгенштейн стали встречаться для дискуссий регулярно. Согласно Энгельманну, Витгенштейн находил Шлика развитым и понимающим партнером в дискуссии, и более всего потому, что он увидел в Шлике высоко культурную личность (см. *[Engelmann 1969: 118]*).

Но Витгенштейн не дал себя уговорить посещать встречи Кружка, он говорил Шлику, что может дискутировать с человеком, только когда тот «держит его руку».

Тем не менее, летом 1927 года Витгенштейн посещал группу, которая встречалась по понедельникам и составляла тщательно отобранную Шликом часть кружка. Сюда входили Фридрих Вайсманн, Герберт Фейгль и Рудольф Карнап. Успех этих встреч был обусловлен тем, что Шлик тщательно контролировал ситуацию. Карнап впоследствии вспоминал:

> Перед первой встречей Шлик настоятельно предупредил нас не затевать дискуссии того типа, которые приняты в Кружке, потому что Витгенштейн в таких обстоятельствах этого не захочет. Мы должны были также быть осторожны, задавая вопросы, потому что Витгенштейн очень чувствителен и его легко можно вывести из себя прямым вопросом. Лучше всего было бы дать Витгенштейну говорить, о чем он хочет, а потом с осторожностью задать вопросы, необходимые для дальнейшего прояснения проблемы (цит по *[Fann 1967: 34})*.

Шлик уговорил Витгенштейна посещать эти встречи, сказав, что дискуссии не будут носить сугубо философский характер, что он может говорить, о чем угодно. Витгенштейн, воспользовавшись этой carte blanche, порой позволял себе просто издеваться над ними. Так, он мог повернуться спиной к собранию и начать читать стихи, подчеркивая этим, — при обсуждении «Трактата», — что гораздо важнее то, что не высказано. Он читал им мистические стихи Робиндраната Тагора, индийского поэта, популярного тогда в Вене. Вскоре членам Кружка стало ясно, что Витгенштейн совершенно не является логическим позитивистом, что его установки во многом противоположны их установкам. Карнап вспоминал:

> Когда мы в Кружке читали книгу Витгенштейна, я ошибочно полагал, что его установка по отношению к метафизике была сходной с нашей. Я не обращал особенного внимания на те положения его книги, которые касались мистики, потому что его ощущения и мысли в этой области были слишком отличными по отношению к моим собственным. Лишь персональный контакт с ним помог мне ясно увидеть его установки на этот счет. […]
>
> Его установки и точка зрения на людей и проблемы, даже теоретические проблемы, были скорее похожи на установки художника, нежели ученого; можно даже сказать — на установки пророка или ясновидца. Когда он начинал формулировать свой взгляд на те или иные специальные философские проблемы, мы часто ощущали внутреннюю борьбу, происходившую в нем в эти минуты, посредством которой он пытался выйти к свету из тьмы при помощи интенсивного и болезненного напряжения, выражавшегося на его лице (цит по *[Fann: 36]*).

Несмотря на различие темпераментов и установок, Витгенштейн провел с членами Венского кружка ряд интересных дискуссий, посвященных, в частности, статье Рамсея «Основания математики», опубликованной в «Трудах Лондонского Математического общества» в ноябре 1925 года. В этой статье Рамсей нападал на интуитивизм, называя его «большевистской угрозой» (см.: *[Monk 1990: 245})*. Между тем, именно интуитивизму и, в частности, его основоположнику Броуэру пришлось сыграть решающую роль в возвращении Витгенштейна к философии. В марте 1928 года Броуэр приехал в Вену и прочитал там лекцию «Математика, наука и язык». Витгенштейн был на этой лекции вместе с Гербертом Фейглем. Потом они с ним сидели несколько часов в кафе. Фейгль вспоминал:

> Я был поражен той перемене, которая произошла в Витгенштейне в тот вечер. Он стал вдруг чрезвычайно разговорчивым и начал набрасывать в разговоре те идеи, которые были основанием его поздней философии. […] Этот вечер ознаменовал возвращение Витгенштейна к устойчивому интересу к философии и философской деятельности (цит. по *[Monk 1990: 249])*.

Философская позиция Броуэра была близка «континентальному антирационализму», например, Шопенгауэру, которому Витгенштейн всегда симпатизировал и, в частности, защищал его от критики со стороны Шлика. Витгенштейну были также близки такие черты броуэровой позиции, как отрицание того, что математика нуждается в логике как своем основании (позиция Рассела и самого Витгенштейна времен «Трактата»), отрицание зависимости математики от личности математика, то есть математический номинализм. Математик, по Броуэру, — не первооткрыватель, а креатор: математика — не совокупность фактов, а некая концептуальная конструкция, существующая в сознании ученого.

Эти идеи разбудили, по-видимому, дремавшие в Витгенштейне сходные мысли, которые он начал развивать в своих поздних работах кембриджского периода.

В начале января 1929 года Витгенштейн поехал в Англию, но не подметать улицы, а заниматься философией с Фрэнком Рамсеем.

С переездом в Англию контакты между Витгенштейном и Венским кружком не ослабели, хотя Витгенштейн по-прежнему шокировал венцев своими взглядами на философию, в частности, своей любовью к Святому Августину, Киркегору и даже признанием права быть философом за Хайдеггером (!), чьи труды

члены Венского кружка считали образцом метафизической бессмыслицы.

В конце 1929 года Фридрих Вайсманн, наиболее близкий Витгенштейну по темпераменту, задумал написать книгу «Логика. Язык. Философия», в которой он собирался изложить основы философии «Логико-философского трактата» со всеми позднейшими модификациями и поправками. Для этого было предложено сотрудничество Витгенштейну, на что он согласился.

Дискуссии проходили в доме у Шлика. Вайсманн делал ясные и полные заметки по тому, что говорил Витгенштейн, отчасти затем, чтобы использовать их для будущей книги, отчасти для того, чтобы информировать остальных членов Венского кружка (с которыми Витгенштейн отказывался встречаться) о новейших идеях Витгенштейна. Эти последние члены кружка потом цитировали витгенштейновские идеи в своих докладах на философских конференциях. И таким образом Витгенштейн приобрел репутацию некоего влиятельного, но какого-то «теневого вкладчика» в австрийские философские дебаты. Среди некоторых австрийских философов даже ходила легенда, что этот «Доктор Витгенштейн», о котором они так много слышали, но которого никто из них не видел, есть не более чем плод воображения Шлика, мифологический персонаж, введенный в качестве номинального главы Кружка *[Monk 1990: 284]*. (Интересно, что подобные же слухи ходили в среде русских структуралистов, особенно тартуских и ленинградских, о фигуре Владимира Николаевича Топорова, одного из крупнейших филологов мира, который неправдоподобно для одного человека много писал и пишет, но никогда или почти никогда нигде не выступал (не выступает).)

Однако пока книга делалась, взгляды Витгенштейна менялись все более радикально. Кончилось это тем, что Витгенштейн вообще отказался участвовать в этом предприятии, тем самым оно было закрыто. Таким образом, книга вышла только в 1965 году, после смерти и Витгенштейна и Вайсманна, под названием «Принципы лингвистической философии». К этому времени были опубликованы «Философские исследования» Витгенштейна, и поэтому данный труд уже устарел. Более интересны записи живых разговоров Витгенштейна с Вайсманном и Шликом, собранные и опубликованные Вайсманном в книге «Витгенштейн и Венский кружок» *[Waismann 1967]*.

Философскую позицию, которая раскрывается из монологов Витгенштейна в Венском кружке, можно охарактеризовать как переходную. С одной стороны, Витгенштейн заявляет, что есть только один язык — обыденный, и никакой искусственный язык

не нужен. Он критикует некоторые ключевые идеи «Трактата». Например, он говорит, что был неправ, утверждая, что любой вывод носит тавтологический формальный характер, так, например, предложение «Рост этого человека 2 метра, следовательно не 3 метра» имеет нетавтологический содержательный характер. Он также отказывается от идеи, что элементарные пропозиции независимы друг от друга. Например, предложение «Эта роза красная» зависит от предложения «Эта роза не зеленая». Вообще он склонен отказаться от догматики элементарных пропозиций. Но тогда все хитроумное построение «Трактата» рушится как карточный домик.

С другой стороны, Витгенштейн заявляет себя сторонником принципа верификации. Но как тонко он это делает и как это не похоже на шликовские «протокольные предложения» и тому подобное:

> …если я никогда не смогу полностью верифицировать смысл предложения, тогда я не смогу ничего под предложением подразумевать. Тогда предложение вовсе ничего не означает.
>
> Для того, чтобы установить смысл предложения, я заранее должен знать вполне определенный прием, устанавливающий, когда предложение должно считаться верифицированным.
>
> Повседневный язык для этого слишком шаток — гораздо в большей степени, чем язык научный. Здесь существует известная свобода, и это означает не что иное, как: символы нашего повседневного языка не могут быть определены недвусмысленно.
>
> Верификация порой очень трудна, например: «Зейтц был избран бургомистром». Как, собственно, я должен приступить к верификации этого предложения? Состоит ли правильный метод в том, что я пойду и наведу справки? Или опрошу людей, которые при этом присутствовали? Но один видел это из первых рядов, другой — с задних. Или я должен прочитать об этом в газете? *[Вайсманн 1998: 135]*.

Во всем этом ясно видится уже стиль мышления и проблематика позднего Витгенштейна.

А вот как виртуозно объяснил Витгенштейн, что такое верификация. В начале 1930-х годов к Витгенштейну в Вену приехал философ и психолог Г. Ф. Стоут специально, чтобы с ним поговорить, но они никак не могли встретиться. Когда профессору уже надо было срочно ехать на вокзал, он успел

забежать к Витгенштейну и задать ему единственный вопрос: как Витгенштейн понимает принцип верификации. Витгенштейн ответил такой параболой (времени на долгую дискуссию не было):

> В некоем городе от полицейских требуется, чтобы они получили от каждого жителя информацию относительно его возраста, предыдущего места жительства, характера занятий и т. д. Эти сведения записываются и каким-то образом используются. И вот полицейский узнает от одного жителя, что тот *ничем* не занимается. Полицейский записывает эти сведения, потому что *это тоже* полезная информация о человеке! *[Малкольм 1994: 68]*.

Ранним летом 1930 года Витгенштейн со Шликом и Вайсманном собирались в доме Шлика для того, чтобы подготовить лекцию Вайсманна, которого Кружок делегировал на конференцию по теории знания. Конференция должна была проводиться в сентябре в Кенигсберге (это была та самая конференция, на которой присутствовали супруги Йоссель и после которой Адель Йоссель написала из Берлина письмо Витгенштейну, которое мы цитировали в конце первой главы этой книги; на этой конференции много раз произносилось имя Витгенштейна). Лекция Вайсманна называлась «Природа математики: Точка зрения Витгенштейна». Это была четвертая лекция из серии, отражающей главные точки зрения на основания математики: Карнап докладывал о логицизме, Рейтинг — об интуиционизме, фон Найман — о формализме. Но все эти выступления затмил доклад Курта Геделя, в котором он впервые рассказал о знаменитых в будущем теоремах о неполноте. В соответствии с первой, в любой полной формальной системе арифметики есть предложения, истинность или ложность которых не может быть доказана; согласно второй, полнота арифметической системы не может быть доказана внутри этой системы. Витгенштейн критиковал взгляды Геделя с позиций своего семантического контекстуализма (см. *[Витгенштейн 1994а: 53–58]*).

На протяжении лета Витгенштейн также диктовал Вайсманну «Тезисы», которые должны были представлять собой модернизированный вариант философии «Трактата», однако дело не было закончено, так как Витгенштейн все более и более охладевал к своим ранним взглядам.

Отношения с Кружком кончились, как водится, ссорой и скандалом. Карнап летом 1932 года опубликовал статью

«Физикалистский язык как универсальный язык науки». Витгенштейн обвинил Карнапа в том, что тот использовал его идеи, о которых он рассказывал в беседах с членами кружка. На этом прервались отношения Витгенштейна и с Вайсманном. На последней их дискуссии Витгенштейн пытался доказать, что Карнап позаимствовал часть своих гипотез скорее не у Пуанкаре, а у него. В дальнейшем Витгенштейн обвинял в плагиате и Шлика. И хотя он сам писал Шлику, что ему (Витгенштейну) совершенно все равно, кто чьи взгляды высказывает, эта навязчивая боязнь плагиата преследовала его всю жизнь: до конца жизни он только писал и говорил, но ничего не публиковал и все время боялся, что его мысли разойдутся по другим философам, поэтому он ненавидел философов как класс, видя в них потенциальных воров его идей, что, возможно, было отчасти верно.

Пятое рассуждение о формах жизни

Узнав Витгенштейна в этот сугубо переходный для него период, мы невольно испытываем недоумение и задаем себе ряд вопросов. С одной стороны, пребывание в Вене с 1926 по 1929 год надо признать успешным (особенно по сравнению с двумя предыдущими периодами): Витгенштейн вращался среди равных ему и любящих его людей, выступал как архитектор и даже немного как скульптор, пережил самый настоящий взрослый роман с женщиной, заинтриговал собой философский мир, выстроил отношения с Венским кружком. Но, с другой стороны, если вглядеться во все эти языковые игры, то они, в сущности, оказываются неуспешными. Судьба дома на Кундмангассе была плачевной, уже в самом его внутреннем облике современники и биографы, да и сам Витгенштейн, отмечали что-то болезненное; роман с Маргаритой Респингер закончился ничем и, по всей видимости, не оставил глубокого следа в душе Витгенштейна (вспомним отношения с «любимым Дэвидом» — насколько они были глубже!); что касается отношений с Венским кружком, то они видятся нам малопонятной и не вполне позитивной линией этого периода жизни Витгенштейна. В конце концов, Витгенштейн был уже не капризный мальчик со слабыми нервами, как в Кембридже перед войной, а известный во всей Европе философ. Почему же он так странно, в общем-то некрасиво и жестоко вел себя по отношению к людям, которые его просто боготворили? Только потому, что они не были такими же гениальными, как он? Разве он не мог сразу понять, что Шлик и его компания глубоко чужды ему и честно признаться в этом себе и им, а не разыгрывать перед ними довольно жалкую роль мелкопоместного гения-самодура? Как мог он вовлекать Вайсманна, к которому вроде бы относился неплохо, в книжные проекты, от которых потом отказывался, ссылаясь на свой внутренний интеллектуальный рост? Разве не благодаря этим людям, не посредством их участия этот рост произошел? Эта внутренняя неблагодарность, невеликодушие настолько не вяжутся с каноническим образом Людвига Витгенштейна, что это необходимо как-то объяснить. Мы можем провести две линии объяснения. С одной стороны, можно сказать, что в лице Венского кружка Витгенштейн бессознательно мстил всей венской культуре, что это было, так сказать, проявлением социального эдипова комплекса (действительно, положительный и несколько напыщенный Шлик, профессор, играл роль отца, а капризный Витгенштейн — роль избалованного вундеркинда, enfant terrible).

Частным проявлением этого было и то, что Витгенштейн в эти годы не мог не испытывать комплекса социальной неполноценности (обратной стороной которого является представление о своем величии), поскольку несмотря на то, что он был повсеместно признан, у него не было ни ученой степени, ни работы (приехав в Кембридж в 1929-м году, он почти сразу получил и то, и другое).

Вторая линия связана со вздорным обвинением в плагиате в адрес Рудольфа Карнапа, одного из выдающихся и блестящих философских умов XX века. Здесь можно сказать, что Витгенштейн относился к тому разряду творцов, для которых всегда текст важнее человека. И когда выбор идет между тем, что спасти и что оттолкнуть, спасается всегда текст, а отталкивается человек. И это при том, что Витгенштейн безусловно искренне говорил, что ему наплевать, что подумают о нем другие. Это уже факт шизоидной расщепленности. Ранимость в отношении судьбы собственных текстов и навязчивые мысли о чаще всего мнимых плагиатах остались у Витгенштейна до конца жизни. С одной стороны, он из любви к своему тексту, из перфекционистского желания довести его до совершенства, так и не опубликовал своей поздней итоговой работы, с другой стороны, в разговорах с Малкольмом, например, он жаловался, что с ним никто не считается, что каждый тащит у него, что может, что он Vogelfrei — птица, в которую каждый может стрелять.

Примером такой же социально-психологической амбивалентности может служить современник Витгенштейна, человек одной с ним австро-венгерской культуры и во многом конгениальный ему — Франц Кафка. Тот же перфекционизм по отношению к рукописям (о чем свидетельствуют дневники), имевший тот же результат — все три романа не закончены, — та же ранимость и депрессивность на грани психоза и такая же смесь мимозоподобности и высокомерия. И при этом в обоих случаях возникает один и тот же эффект, который мы применительно к Кафке назвали гиперуспешностью (см. *[Руднев 1992а],* а также главу «Франц Кафка и его герои» в книге *[Руднев 1996])*. Неуспех в биографии оборачивается гиперуспехом посмертной славы: так же, как «Трактат» и «Философские исследования», «Приговор» и «Замок» являются не только культовыми, но и парадигматическими текстами культуры XX века — их не только изучают и не только им подражают, по ним просто вышивают — новые узоры по старой канве.

Теперь, поскольку мы видим, что понятийный аппарат теории речевых актов и модальной логики может быть применен к биографии реального человека (в работе *[Руднев 1996]* мы

показали, что он также может быть применен к художественному тексту), то отсюда напрашивается отождествление жизненного биографического пути с художественным дискурсом, отождествление, которое было предпринято русскими символистами и которое в принципе характерно для европейского модернизма XX века («за то, что я пережил и понял в искусстве, я должен отвечать своей жизнью, чтобы все пережитое и понятое не осталось бездейственным в ней» *[Бахтин 1979: 5])*. Что же из этого следует? Прежде всего, то, что к биографии можно применять терминологию поэтики, то есть говорить о сюжете и жанре (что по сути то же, что языковая игра) жизненного пути, его композиции (впервые это осознанно сделано в работе Ю. М. Лотмана «Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века» *[Лотман 1992: т. 1]*. В сущности, мы так и поступаем в обыденной жизни, когда применяем к реальным людям и реальным событиям эстетические оценки: Это некрасивый поступок! Этот человек прекрасен. Полюбуйтесь на этот пейзаж. О каком-то в сюжетном смысле выпуклом фрагменте реальности, какой-то сочной сцене или каком-то человеке (ср. современное ироническое словоупотребление «персонаж» по отношению к некоему колоритному человеку) мы говорим: «Это просто как в кино». И в этом смысле мы можем сказать, что жизнь человека может быть трагической, комической или авантюрной.

Какой же была жизнь Витгенштейна? Что это был за «персонаж»? Все зависит от контекста, от точки отсчета. Уже при жизни Витгенштейна многие равно достойные люди боготворили его (как Шлик или Рамсей), а многие откровенно не любили (как Чарльз Броуд или отчасти старина Уильям Джонсон: Броуд не мог терпеть Витгенштейна как человека, признавая его философские заслуги, Джонсон — наоборот). Вскоре после смерти Витгенштейна в первых мемуарах о нем, написанных фон Вригтом и Малкольмом, а также в первом биографическом опыте Уильяма Бартли Витгенштейн предстает как противоречивая героическая личность — как герой трагедии, причем пружиной этой трагедии выступает противоречие, возникающее между исключительной личностью и обыденным сознанием, то есть старый романтический конфликт «гений и толпа». Однако в середине 1970-х годов, по-видимому, в связи с кризисом структуралистской парадигмы и постструктуралистским провозглашением «смерти автора» (Барт) такое понимание личности Витгенштейна подверглось «остранению», и в более поздних мемуарах, таких, например, как воспоминания Фани Паскаль или записи разговоров с Витгенштейном Мориса Друри, личность Витгенштейна, вернее ее предшествующая модель,

подвергается своеобразной деконструкции. Налет агиографизма либо вовсе убирается, как у Фани Паскаль, которая пишет о Витгенштейне как равная о равном, либо, наоборот, бессознательно педалируется, как у Друри, который, видимо, неосознанно подражая стилистике зачина житийного текста, в начале своего текста говорит о том, что он не достоин писать о таком великом человеке и т. п. В этих поздних мемуарах Витгенштейн предстает как психологически гораздо более сложная личность, в которой были и симпатичные, и смешные, комические черты.

Что же можно сказать о жизни Витгенштейна? Прежде всего, в ней был сюжет в сильном смысле слова. В этом смысле сюжета не было в жизни, например, Канта или Фреге. В русской культуре классическое противопоставление сюжетной и бессюжетной жизней — это противопоставление жизней Пушкина и Лермонтова. В определенном смысле жизнь Витгенштейна подобна роману воспитания, который, в свою очередь, уходит корнями в обряд инициации *[Мелетинский 1976]*. В этом смысле Витгенштейн порой «валял ваньку» потому, что он и был тем самым сказочным Иванушкой-дурачком, юродивым, который оказывается в результате умнее всех. При таком подходе находят закономерное объяснение и издевательства над членами Венского кружка, и некондиционная одежда, в которой Витгенштейн ходил и по деревне, и по Вене, и по Кембриджу — серые неглаженные брюки, рубашка с открытым воротом и тяжелые ботинки, и его неприятие академического философского круга, и тяготение к «простым людям», и отсутствие академической образованности (он очень гордился тем, что никогда не читал Аристотеля; так сказать, «чукча не читатель, чукча — писатель»).

Что же двигало сюжетом жизни Витгенштейна, какая пружина? По-видимому, это была борьба между некой осененностью свыше, избранностью, и депрессией, так сказать, между здоровым духом и больной душой. В первые десятилетия жизни это принимало характер выживания, причем в парадоксальной форме: Витгенштейн выживал там, где, с точки зрения обыденного сознания, было хуже всего.

Жизнь Витгенштейна как бы состоит из двух половинок, из которых вторая отрицает первую. Первая часть выстраивается вокруг «Логико-философского трактата» и темы самоубийства. Сам «Трактат», судя и по своему эпилогу, и по самой своей нежизнеспособной сложности, носит отчетливо суицидальный характер. Его можно начать понимать, только договорившись с самим собой, что ты его понять не в состоянии. То есть Витгенштейн в этом произведении как бы зашифровал свое

влечение к смерти и, «проработав» его (если воспользоваться психоаналитической терминологией), остался жить. Характерно, что жалобы на желание покончить с собой заканчиваются с публикацией «Трактата». Если «Трактат» — темная сторона жизни Витгенштейна, «ян», то «Философские исследования»— это светлая сторона его жизни, «инь». Когда жизнь в личности Витгенштейна победила, он начал описывать жизнь. Именно этим, прежде всего, «Исследования» отличаются от «Трактата»: своим светлым, жизнеутверждающим началом. Отсюда их простота и доступность, «публичность» (значение — это употребление, «индивидуальный язык» невозможен и т. д.). И именно потому, что жизнь — это процесс, а смерть — мгновение, стратегия написания «Исследований» так отличалась от стратегии написания «Трактата»: похоже, все бессознательно делалось Витгенштейном для того, чтобы никогда не закончить это произведение, то есть чтобы жизнь не закончилась смертью. Эта стратегия действительно оптимальная. Витгенштейн продлил себе жизнь в культуре именно «Философскими исследованиями»: бесконечные рукописи и лекции, так или иначе являющиеся подготовительными материалами к «Исследованиям», до сих пор продолжают публиковаться. Можно сказать, Витгенштейн до сих пор продолжает писать, и поэтому сюжет его жизни в культуре все не кончается.

Глава 6.
Кембридж. 1930-е годы

Новые друзья и старые знакомые

Витгенштейн приехал в Кембридж 18 января 1929 года. Приехал не так, как первый раз в 1911 году, — «плохо говорящим по-английски «немцем»». В этот раз его ждали, в честь него устраивали обеды, он был не просто известным на весь мир мыслителем, он стал, выражаясь современным языком, «культовой фигурой». Поэтому Кейнс, который встречал Витгенштейна на вокзале и у которого он остановился, иронически рапортовал своей жене о приезде Витгенштейна следующим образом:

> Ну, Бог прибыл. Я встретил его поездом 5. 15 *[Monk 1990: 255]*.

Витгенштейн сразу объявил Кейнсу о своем плане оставаться в Кембридже постоянно. Он вообще столько говорил, просто не закрывал рта, что Кейнсу пришлось поставить Витгенштейну условие: говорить с ним не более двух часов в день.

Витгенштейн странно себя чувствовал в Кембридже, ему казалось, что время повернуло вспять и что вновь, как прежде, он не знает, что ждет его впереди.

Как только Витгенштейн появился в Кембридже, Кейнс предпринял попытку вернуть его в лоно «Апостолов». В честь Витгенштейна был дан ужин, на котором присутствовали столпы Общества (среди них — Фрэнк Рамсей!; Кейнс знал, чем приманить Витгенштейна). На этой встрече Витгенштейн был избран почетным членом Общества, по терминологии Апостолов — Ангелом. Конечно, вся эта помпа была неслучайной. Почести, оказанные Витгенштейну, были обусловлены тем, что он стал легендарной личностью в кругу кембриджской элиты, а его «Трактат» — одной из наиболее популярных тем для интеллектуальных дискуссий. Но Витгенштейну, как видно, на все это было наплевать, и он оставался в «апостолах» только из-за того, что среди них находился Рамсей, на которого у Витгенштейна были свои виды: Рамсей оставался единственным человеком, с которым можно было всерьез обсуждать философские проблемы. В первый кембриджский год Рамсей был также и ближайшим другом Витгенштейна. Некоторое время после прибытия в Кембридж Витгенштейн жил у супругов Рамсеев и очень подружился с женой Фрэнка Летисией, подружился настолько, что даже мог обсуждать с ней свои отношения с Маргаритой.

Первые два триместра Витгенштейн числился «продвинутым студентом» (в переводе на наш академический язык что-то вроде аспиранта или соискателя), пишущим диссертацию, которую он должен был представить на соискание степени доктора философии. Официальным научным руководителем ему назначили Фрэнка Рамсея, который был на 17 лет моложе своего подопечного. На самом деле серьезные дискуссии между ними приносили обоим огромное удовольствие, и в них, по словам Витгенштейна, было даже нечто эротическое:

> Нет ничего более приятного для меня, чем чувство, когда кто-то вынимает мои мысли у меня изо рта и потом, так сказать, распространяет их в открытом пространстве *[Monk 1990: 258]*.

Однако, пишет Монк, «несмотря на их безграничное уважение друг к другу, между Рамсеем и Витгенштейном были огромные различия интеллектуального и характерологического свойства. Рамсей был математик, не удовлетворенный логическими основаниями своей науки и хотевший реконструировать математику на ясных принципах. Витгенштейна не волновала реконструкция математики; его интересовало обнаружение тех философских корней, из которых вырастает путаница в математике. Таким образом, в то время как Рамсей мог искать в Витгенштейне вдохновения, а Витгенштейн у Рамсея — критики, взаимонепонимание между ними было неизбежным. Рамсей однажды сказал Витгенштейну напрямик: «Мне не нравится ваш метод аргументации», на что Витгенштейн в ответ написал заметку о Рамсее, где назвал его «буржуазным мыслителем», который обеспокоен *реальным* философским размышлением лишь до тех пор, пока не получит односторонний результат и не объявит его тривиальным» *[Monk 1990: 260]*.

Но был в Кембридже и совсем не буржуазный мыслитель, который оказал на Витгенштейна большое влияние, — Пьеро Сраффа, блестящий итальянский экономист марксистской ориентации, друг Антонио Грамши. После того, как карьере Сраффы на родине положили конец его публичные выступления против политики Муссолини, всеведущий и неутомимый Кейнс пригласил его в Королевский колледж читать лекции по экономике. Кейнс и познакомил двух будущих друзей, после чего они встречались каждую неделю. Сраффа не был профессиональным философом, но обладал ярким и свежим умом. Вспомним легенду, согласно которой именно Сраффа развенчал понятие логической формы, сделав неаполитанский жест (пальцы, приложенные к подбородку) и спросив

Витгенштейна: «А какая логическая форма у этого?» Многим друзьям Витгенштейн говорил, что дискуссии со Сраффой заставляют его почувствовать себя деревом, у которого обрезаны все ветви. Витгенштейн также говорил, что наиболее важная вещь, которую он почерпнул из дискуссий со Сраффой, — это антропологический взгляд на философские проблемы. Действительно, так оно и было. Если в «Трактате» язык — логическая абстракция, то в поздних произведениях Витгенштейна язык — это *форма жизни.*

Первое время кроме Рамсея и Сраффы Витгенштейн мало с кем общался. Кейнс всегда был под рукой, чтобы помочь, но он не был близким, интимным другом. Отношения с Муром восстановились сразу же по приезде Витгенштейна в Кембридж. Дикое письмо Людвига, написанное Муру из Норвегии в 1914 году, было забыто. Мур, будучи профессором и членом совета университета, тут же стал хлопотать о предоставлении Витгенштейну гранта, для того, чтобы он мог продолжить свои исследования. Но отношения Витгенштейна с Муром в это время носили не научный, а чисто человеческий характер. Как философа Витгенштейн оценил Мура только в последние годы своей жизни. В 1930-е же годы он довольно пренебрежительно говорил о нем как о философе, но всегда очень высоко ценил его как личность, хотя и довольно эксцентричную. Так, Друри рассказывает, что когда он хотел поступать «в аспирантуру», он попросил рекомендацию у Мура. Мур написал рекомендацию, в конце которой сообщалось, что соискатель обладает чувством юмора. Когда Витгенштейн узнал об этом случае, он страшно веселился и сказал, что только Муру могла прийти в голову такая глубокая мысль, что для проведения исследований по философии необходимо чувство юмора.

Примерно такого же рода отношения складывались со стариной Джонсоном. Витгенштейн совершенно не мог всерьез относиться к нему как к логику (так же как, впрочем, и Джонсон к Витгенштейну). Когда Витгенштейн приехал в Кембридж, Джонсон говорил, что приезд Витгенштейна — большое несчастье для Кембриджа, так как Витгенштейн совершенно не в состоянии вести философскую дискуссию. Зато Витгенштейн очень ценил Джонсона как пианиста. Джонсон устраивал вечера, на которых играл на фортепиано. Однажды, как рассказывал Витгенштейн Друри, Джонсон играл совсем плохо, но никто этого не заметил и все аплодировали. Раздраженный этим, Джонсон стал играть еще один аккомпанемент какой-то пьесы. Витгенштейну все это очень нравилось.

Гораздо с большей охотой, чем к «Апостолам» с их духом

аристократического снобизма, Витгенштейн ходил в Клуб Моральных Наук, где председательствовал Мур и царила атмосфера непринужденной и открытой дискуссии. Завсегдатаями Клуба были студенты среднего класса, в которых Витгенштейн, по словам Фани Паскаль, больше всего ценил детскую невинность и первоклассные мозги. Правда, и здесь не обошлось без сложностей. Поскольку Витгенштейн, начавши ходить в Клуб, по своему обыкновению, «не закрывал рта» и абсолютно доминировал в дискуссии, философ Чарльз Броуд, который не любил Витгенштейна именно за его «глупый энтузиазм», добился того, что Витгенштейну запретили посещать Клуб. Однако к этому времени у него уже был тесный круг учеников. Даймонд Ли, Джон Кинг, чьи записи лекций Витгенштейна были впоследствии опубликованы *[Витгенштейн 1994а*], Морис Друри, на чьи «Беседы с Витгенштейном» мы все время ссылаемся. Последний был самым близким и самым верным учеником Витгенштейна на протяжении всей своей жизни. Известно, что будучи преподавателем философии, Витгенштейн отговаривал всех без исключения своих учеников от профессиональной философской деятельности, так как считал ее бесполезной и даже вредной. Он и сам, подобно Льву Толстому, стремившемуся уйти из Ясной Поляны, хотел уйти от занятий философией и от преподавания, намереваясь стать врачом, даже простым рабочим. И только обстоятельства принуждали его оставаться преподавателем. Кроме того, как он сам говорил, он больше ничего не умел. Друри, ирландец из Дублина, сразу проникся идеями Витгенштейна. Вначале он хотел стать священником, хотя Витгенштейн ему не советовал этого делать. Проучившись год в теологическом колледже, Друри понял, что Витгенштейн был прав. Тогда он решил осуществить проект помощи безработным и с этой целью поехал в Ньюкасл, где организовал нечто вроде коммуны безработных. Наконец он нашел свое настоящее призвание, став врачом-психиатром, и с 1947 года до самой смерти в 1976 году работал в больнице Святого Патрика в Дублине. Витгенштейн приезжал к нему туда и общался с пациентами. Друри опубликовал любопытную книгу очерков о психиатрии, написанную под влиянием идей позднего Витгенштейна. Называется она «Опасность слов» *[Drury 1973]*.

Одним из ближайших друзей Витгенштейна стал человек, не имевший никакого отношения к философии — Гильберт Патиссон. Это был жизнерадостный, обладающий огромным чувством юмора человек, единственный за всю жизнь Витгенштейна, с кем он мог отдыхать душой, болтая чепуху, отпуская бессмысленные шутки, в общем, наслаждаясь жизнью за

пределами философии, как это ни странно звучит применительно к Витгенштейну. Патиссон жил в Лондоне, и Витгенштейн приезжал к нему из Кембриджа сходить на американский фильм, погулять и поболтать о всякой чепухе.

В письмах между ними также разыгрывалась риторика нонсенса. Так, они все время обыгрывали на разные лады слово blood и bloody, что дословно означает «кровь» и «кровавый», но в идиоматическом контексте может быть переведено как «черт» и «чертов». Например, «Dear Old Blood» (Дорогой старый черт), или «Yours bloodily» (Чертовски твой — калька от «Искренне твой» (Yours sincerely)), — или вообще труднопереводимое «Yours in bloodiness» (нечто вроде «Твой во грехе»).

Между тем, по прошествии второго триместра Витгенштейн обнаружил, что его сбережения (в основном деньги, заработанные им как архитектором) кончаются и он не может внести плату за обучение, а также заплатить за жилье. К родственникам он обращаться не хотел. Беспокоить Кейнса тоже больше не мог. Пришлось обращаться в колледж с просьбой о предоставлении гранта. Рамсей в качестве формального супервизора Витгенштейна горячо поддержал его просьбу и в письме Муру, члену совета колледжа, писал, что считает Витгенштейна гением и что его работа представляет ценность не только для него самого, но и для общества в целом, поэтому колледж просто обязан предоставить Витгенштейну помощь.

Витгенштейн — доктор философии

Для того, чтобы внести определенность в свое социальное положение, Витгенштейн спешил с защитой диссертации на степень Ph. D. (доктора философии). В качестве текста он представил «Трактат», опубликованный семь лет назад и ставший уже к тому времени философской классикой. Экзаменаторами, что тоже может вызвать только улыбку, были назначены Рассел и Мур. С Расселом Витгенштейн не виделся с 1922 года (когда они встретились в Инсбруке и в очередной раз поссорились). И вот теперь Рассел писал Муру: «Я думаю, что если он не переменил свое мнение обо мне (Витгенштейн тогда упрекал Рассела за его общественную деятельность и атеизм. — *В. Р.*), он не будет рад меня видеть в качестве экзаменатора. Когда мы встречались последний раз, он так болезненно воспринял тот факт, что я не считаю себя христианином, что с тех пор он избегал встреч со мной» (цит. по *[Monk 1990: 268]*).

Защита состоялась 18 июня 1929 года. Войдя в экзаменационную комнату вместе в Муром, Рассел улыбнулся и сказал: «Никогда в моей жизни не было ничего более абсурдного». Экзамен начался беседой между старыми друзьями. Затем Рассел, смакуя абсурдность ситуации, сказал Муру: «Продолжай, ты должен задавать ему какие-то вопросы — ты же профессор». Затем последовала короткая дискуссия между Расселом и Витгенштейном по поводу витгенштейновской теории невыразимости и разграничения между сказанным и показанным. Разумеется, Рассел не убедил Витгенштейна ни в чем, и кончилось это сугубо торжественное заседание тем, что Витгенштейн поднялся, похлопал каждого из экзаменаторов по плечу и покровительственно заметил: «Да не волнуйтесь вы: я знаю, что вы этого никогда не поймете» *[Monk 1990: 271]*.

В своем отчете о защите Витгенштейна Мур написал теперь уже хрестоматийно известные слова: «Мое личное мнение заключается в том, что диссертация мистера Витгенштейна является трудом гения; так или иначе, эта работа удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание степени доктора философии Кембриджского университета».

На следующий день после утверждения степени Витгенштейн получил от Тринити-колледжа грант в 100 фунтов стерлингов.

Одним из результатов сотрудничества Витгенштейна с Рамсеем стала статья «Несколько заметок о логической форме» *[Витгенштейн 1995а],* которая готовилась в качестве доклада на конференции Аристотелевского общества, проходившей в

Ноттингеме с 12–15 июля. Эта статья, единственная после «Логико-философского трактата» опубликованная при жизни работа Витгенштейна, интересна тем, что в ней отразилась критика Рамсеем некоторых ключевых положений «Трактата». В частности, Витгенштейн отказывается здесь от положения о независимости элементарных пропозиций.

Оксфордский философ Джон Мэббот вспоминает, что когда он приехал на конференцию, он увидел в холле моложавого человека с рюкзаком, в шортах и рубашке с открытым воротом. Никогда раньше не видев Витгенштейна и приняв его за студента, приехавшего на каникулы, он сказал ему: «Боюсь, что здесь собираются философы». На что Витгенштейн ответил: «Я боюсь того же самого».

На конференции Витгенштейн познакомился и подружился с Гилбертом Райлом, известным английским философом-аналитиком, автором ныне классической книги по аналитической философии «Понятие сознания» *[Ryle 1949]*. Райл и Витгенштейн на протяжении 1930-х годов поддерживали дружеские отношения и часто гуляли вместе по выходным, беседуя о философии и о кино. Райл разделял мнение Витгенштейна о плохом качестве английских фильмов и даже говорил, что хороший английский фильм просто невозможен *(логически* невозможен — добавлял Витгенштейн) *[Monk 1990: 275]*.

В начале 1930 года, когда Витгенштейн вернулся в Кембридж с рождественских каникул из Вены, он узнал, что Фрэнк Рамсей неизлечимо болен. У него был тяжелый вирусный гепатит (в русском быту это принято называть болезнью Боткина, или желтухой). Как и многие другие болезни, гепатит до войны лечить практически не умели. 19 февраля в возрасте 26 лет Рамсей умер. Последние дни Витгенштейн провел у него в больнице.

На следующий день после смерти Фрэнка Витгенштейн должен был читать свою первую лекцию в Кембриджском университете; он читал их с несколькими перерывами в общей сложности почти 20 лет. Витгенштейна пригласил прочесть курс лекций по линии факультета моральных наук Ричард Братуайт. Когда он спросил, как Витгенштейн назовет свой курс, тот после долгого молчания ответил: «Предметом моего курса будет философия. Какое же еще может быть тогда название? Философия». Под таким остраненно-экстравагантным названием спецкурс Витгенштейна и был анонсирован.

Манера, в которой Витгенштейн читал лекции, описывалась много раз, вплоть до самых невероятных легенд, рассказывавших, что Витгенштейн лежал на полу и, глядя в потолок, бормотал что-

то неразборчивое. Лучшее, на наш взгляд, описание витгенштейновских лекций дал американский философ-аналитик Норман Малкольм, в 1930-е годы стажировавшийся в Кембридже и ставший одним из близких друзей Витгенштейна. Вот что он пишет в своих, ставших классическими, воспоминаниях:

> Он читал свои лекции без всякой подготовки и без предварительных записей. Он мне рассказывал, что однажды пробовал пользоваться записями, но остался недоволен результатом: мысли казались «затхлыми», а от слов, казалось, «веяло мертвечиной» […].
>
> Читая лекцию или же просто беседуя с кем-либо, Витгенштейн всегда говорил отчетливо и очень выразительно. Он говорил на отличном английском языке — так, как говорят образованные англичане, но с вкраплением отдельных германизмов. […]
>
> Нужно было обладать значительной храбростью, чтобы войти после того, как лекция уже началась, и некоторые предпочитали сразу уйти, нежели выдержать свирепый взгляд Витгенштейна.
>
> Витгенштейн сидел в центре комнаты на простом деревянном стуле. […] Он часто чувствовал, что зашел в тупик, и говорил об этом. Нередко у него вырывались такие выражения, как «Я дурак», «У вас ужасный учитель», «Сегодня я очень глуп». Иногда он выражал сомнение в том, сможет ли продолжать лекцию […].
>
> На занятиях Витгенштейн наводил страх. Он был очень нетерпелив и легко раздражался. Если кто-нибудь чувствовал несогласие с тем, что он говорил, Витгенштейн настойчиво требовал от оппонента четко сформулировать свое возражение. Однажды, когда Йорик Смидис, старый друг Витгенштейна, не смог облечь свое возражение в слова, Витгенштейн грубо сказал ему: «С таким же успехом я мог говорить с этой печью!» Страх, вызываемый Витгенштейном, помогал неустанно поддерживать наше внимание. Это был важный результат, поскольку обсуждаемые проблемы были исключительно сложными, а подход Витгенштейна был труден для понимания. […]
>
> Жесткость Витгенштейна была, как мне кажется, связана с его страстной любовью к истине. Он постоянно бился над разрешением сложнейших философских проблем. Решение одной проблемы влекло за собой другую. Витгенштейн был бескомпромиссен: он должен

был достичь *полного* понимания. Он был в неистовстве. Все его существо находилось в величайшем напряжении. Ни от чьего взгляда не могло укрыться, что эта работа требовала предельной концентрации воли и интеллекта. Это было одним из проявлений его абсолютной, беспредельной честности. Главным образом его безжалостная честность, которая распространялась как на него самого, так и на окружающих, и была причиной того, что он действовал на людей устрашающе и часто бывал просто невыносим и как учитель, и в личных взаимоотношениях с людьми.

После лекций Витгенштейн всегда был в изнеможении. Он также испытывал чувство отвращения: он был недоволен и тем, что он говорил, и самим собой. Очень часто сразу же после окончания занятий он шел в кино. Как только его слушатели со своими стульями направлялись к выходу, он умоляюще смотрел на кого-нибудь из своих друзей и тихо говорил: «Пойдем в кино?» По пути в кинотеатр Витгенштейн обычно покупал булочку с изюмом или кусок пирога с мясом и ел их во время сеанса. Он любил сидеть в первых рядах, так, чтобы экран занимал все поле зрения. Это было необходимо для того, чтобы полностью отрешиться от мыслей о лекции и избавиться от чувства отвращения. Однажды он прошептал мне: «Это действует как душ». Во время фильма он был собран и не отвлекался. Он сидел сильно подавшись вперед и почти не отрывал глаз от экрана. Он не комментировал происходящее и не любил, когда это делали его спутники. Витгенштейн хотел полностью погрузиться в фильм, сколь бы заурядным и неестественным он ни был, чтобы его голова хотя бы на время освободилась от мыслей, которые преследовали его и не давали покоя *[Малкольм 1993: 32–35]*.

Однако, когда зимне-весенний триместр (называемый здесь «великопостным») 1930 года прошел и курс лекций под названием «Философия» был прочитан, вновь встал вопрос о предоставлении Витгенштейну какой-либо работы или гранта. Витгенштейн в это время подготовил большую рукопись, которая после его смерти была опубликована под названием «Философские заметки». Именно об этой рукописи Мур написал Расселу в Петерсфилд, где тот тогда преподавал в организованной им же школе, с просьбой оценить эту рукопись и представить отчет Совету Тринити на предмет предоставления

Витгенштейну гранта для дальнейшей разработки темы. Рассел, хотя он весьма прохладно относился к поздним идеям Витгенштейна, не отказался прочесть рукопись, но признался, что мало что в ней понял. Тогда Витгенштейн поехал к нему, чтобы объяснить свои новые идеи. В письме к Муру Рассел вкратце отреферировал идеи Витгенштейна, связанные с расширительным употреблением понятий «грамматика» и «пространство». «Его теории, конечно, важны и оригинальны, — писал Рассел о Витгенштейне, — но я не знаю, истинны ли они». В результате этого отчета Совет Тринити предоставил Витгенштейну еще один грант на 100 фунтов.

В конце осеннего («Михайловского») триместра 1930 года Витгенштейну была предоставлена стипендия (fellowship) в Тринити-колледже на пять лет. Для утверждения этой стипендии была необходима диссертация, в качестве которой Витгенштейн представил «Философские заметки». Второй большой рукописью этих лет стала «Философская грамматика», также опубликованная посмертно (подробно витгенштейновское понимание слова «грамматика» будет рассмотрено нами при разборе его «Лекции об этике» в следующем разделе).

Таким образом, в конце 1930 года Витгенштейн более или менее прочно натурализовался в Кембридже.

«Лекция об этике»

В ноябре 1929 года Витгенштейн получил приглашение от Огдена, переводчика «Трактата», прочитать лекцию в обществе «Еретики». Это было общество, подобное «Апостолам», но менее элитарное и более сконцентрированное на научных проблемах. Его основателями были такие величины, как Герберт Уэллс, Бертран Рассел и Вирджиния Вульф, с которой Витгенштейн, кстати, встречался в этом же году на одном из приемов в Кембридже. «Лекция об этике», которую Витгенштейн прочитал «Еретикам» (ее текст был опубликован в 1965 году в журнале «Philosophical Review»; русский перевод — *[Витгенштейн 1989]),* чрезвычайно важна в витгенштейновском наследии, с одной стороны, как единственная популярная лекция, которую он когда-либо читал, и, с другой стороны, как первый законченный текст по философии, написанный им после «Логико-философского трактата». Особенностью «Лекции» является то, что она, будучи пояснением таких темных мест «Трактата», как:

> *6.41 Смысл Мира должен лежать за его пределами. В Мире все есть как есть и происходит как происходит; внутри него не существует никакой ценности — а если бы она там имелась, то не имела бы никакой ценности.*
>
> *Если имеется ценность, имеющая ценность, то она должна находиться за пределами всего происходящего и так-сущего. Ибо все происходящее и так-сущее — случайны.*
>
> *То, что делает их неслучайными, не может находиться внутри Мира! Ибо в противном случае оно вновь было бы случайным.*
>
> *Оно должно лежать за пределами Мира.*
>
> *6.42 Поэтому не может существовать никаких Пропозиций Этики.*
>
> *6.421 Ясно, что Этика не может быть высказана.*
>
> *162*
>
> *Этика трансцендентальна.*
>
> *(Этика и Эстетика — одно), —*

по стилю и методу мышления уже примыкает к поздним работам Витгенштейна: ведь между окончанием «Трактата» и «Лекцией» прошло 10 лет.

Витгенштейн начинает лекцию с определения этики, данного Муром:

> Теперь я начну говорить о своей теме. Это, как вы знаете, этика. И я начну объяснение с того понимания этого термина, которое профессор Мур дал в своей книге «Principia Ethica». Он говорит: «Этика является общим исследованием того, что такое добро». И вот я собираюсь использовать термин этика в несколько более широком смысле, в том смысле, который фактически, как я полагаю, включает в себя нечто, что является существенной частью предмета, который в целом называется Эстетикой *[Витгенштейн 1989:99-100]*.

Здесь важными являются два момента. Во-первых, Витгенштейн неточно цитирует Мура (кстати, из письма Расселу 1912 года следует, что Витгенштейну не понравилась книга Мура *[Wittgenstein 1997: 13])*. Определение Этики как науки, исследующей, что такое добро — это не определение, отражающее взгляд самого Мура, это муровское определение расхожего понимания того, что такое этика. По Муру, этика не может быть определена, можно лишь говорить о различных употреблениях слова этика. Таким образом, Мур стоит ближе к Витгенштейну, чем сам Витгенштейн отдает себе в этом отчет.

Второе, на что следует обратить внимание в процитированном фрагменте, это идущее от «Трактата» отождествление Этики и Эстетики. Как это понимать? Очевидно, так, как это понимал Достоевский (Витгенштейн цитирует его в связи с проблемами этики в «Тетрадях 1914–1916»): прекрасное не может быть плохим, этически добрый поступок всегда является эстетически прекрасным. Это суждение можно перевести на язык теории модальностей (см. раздел 4. 7.). Мы можем наряду с аксиологическими модальностями (с которыми, как мы увидим ниже, Витгенштейн отождествляет этику как учение о ценностях) — хороший, плохой, безразличный — ввести эстетические модальности — прекрасный, безобразный, нейтральный. При наложении эти два трехчлена во многом совпадут:

+	—	**0**
хороший	**плохой**	**безразличный**
прекрасный	**безобразный**	**нейтральный**

Также во многом совпадет с первыми двумя деонтический трехчлен (что первым, видимо, заметил Г. фон Вригт *[Вригт 1986]):*

должный **запрещенный** **разрешенный**

Но вообще говоря, это соотношение не носит универсального характера и является культурно обусловленным. Так, в

романтической эстетике доброе начало может быть внешне безобразным (например, Квазимодо из «Собора парижской Богоматери» Гюго), а злое начало — внешне прекрасным (например, герой романа Оскара Уайлда «Портрет Дориана Грея»). Важно, что при этом корреляция между этическим и эстетическим всегда будет наблюдаться.

Далее Витгенштейн пишет:

> И для того, чтобы как можно яснее, так ясно, как только можно, понять, что, по моему мнению, является предметом Этики, я дам вам некоторое количество более или менее синонимичных выражений, которые могли бы служить основанием для более общего определения и, умножая которые, я хочу произвести тот же эффект, который производил Гальтон, когда он собирал несколько фотографий разных лиц на одном снимке с тем, чтобы показать картину типичных особенностей, общих у каждого из этих лиц *[Витгенштейн 1989: 101]*.

По сути в этом фрагменте Витгенштейн впервые дает набросок того, что впоследствии будет известно как теория семейных сходств, семантическая концепция значения слова, изложенная им в «Философских исследованиях», согласно которой у синонимов нет единого инвариантного значения, но все значения пересекаются, — подобно сходствам на лицах родственников (подробнее см. разбор «Философских исследований» в главе 10).

Далее Витгенштейн разграничивает относительный и абсолютный смысл высказываний. Он пишет:

> Если, к примеру, я говорю, что это *хороший* стул, это означает, что стул служит определенной заранее цели и что слово 'хороший' здесь имеет значение в той мере, в какой эта цель предварительно оговорена. Фактически слово 'хороший' в относительном смысле просто означает — подходящий под заранее определенный образец *[Витгенштейн 1989: 102]*.

Здесь, возрождая традицию лингво-философского анализа, начатую еще в начале века Муром в «Principia Ethica», но прерванную благодаря установившемуся на четверть века диктату логического позитивизма, Витгенштейн показывает, что слово в реальном *употреблении* (use) — это одно из важнейших понятий философии позднего Витгенштейна — почти всегда значит не то, что оно значит в словаре, и что значение слова в очень большой

степени опосредованно его употреблением (это будет одним из центральных тезисов «Философских исследований»). В качестве позднейшего образца подобного анализа можно привести анализ выражения «Я знаю», произведенный учеником Мура и Витгенштейна Норманом Малкольмом:

> Дочь смотрит телевизор, а поскольку ей следует сесть за пианино и заниматься музыкой, мать говорит: «У тебя завтра урок музыки». Дочь раздраженно отвечает: «Я знаю, что у меня завтра урок музыки».

При таком употреблении выражения «Я знаю» не подразумевается ни наличие доказательства, ни проницательность или компетентность говорящего в той или иной области, ни даже присутствие уверенности (субъективной или объективной). В данном случае «Я знаю, что *p*» равнозначно высказыванию «Не надо мне напоминать, что *p*» *[Малкольм 1987: 247]*.

Далее Витгенштейн приводит пример сходных суждений, одно из которых имеет относительную, а другое абсолютную ценность:

> Предположим, что я умею играть в теннис, и один из вас увидел меня играющим и сказал: «Ну, ты играешь довольно плохо», и, предположим, я ответил: «Я знаю, что играю плохо, но я и не хочу играть лучше». В этом случае любой человек может сказать: «А, тогда все в порядке». Но представим, что я сказал одному из вас нелепую ложь, и он приходит ко мне и говорит: «Ты ведешь себя, как скотина», и тогда я бы сказал: «Но я и не хочу вести себя сколько-нибудь лучше». Мог ли бы кто-нибудь на это ответить: «А, ну тогда все в порядке»? Конечно, нет. Он бы сказал: «Но ты *должен* хотеть вести себя лучше». Здесь вы имеете абсолютное суждение о ценности, в то время как первый случай был примером относительного суждения [Витгенштейн *1989: 102]*.

Говоря в терминах последующих работ Витгенштейна, у выражений «Но я и не хочу играть лучше» и «Но я и не хочу вести себя лучше» — *разная грамматика,* то есть они по-разному сочетаются с другими выражениями. В частности, первое нормально сочетается с выражением «А, ну тогда все в порядке», тогда как для второго это сочетание неприемлемо. Данный фрагмент служит ярким примером методики и стилистики не только позднего Витгенштейна, но и всей поздней аналитической

(лингвистической) философии. Здесь не употребляется специальная философская терминология. Язык предельно мягкий. И доказательство того или иного тезиса никогда не бывает логически формализованным, но всегда происходит при помощи конкретных примеров, взятых из обыденного языка.

> И вот на чем я хочу настаивать, так это на том, что в то время как все суждения, имеющие относительную ценность, могут быть представлены как всего лишь суждения о фактах, при этом ни одно суждение о факте не может быть суждением, имеющим абсолютную ценность. Позвольте мне объяснить это. Предположим, что один из вас является неким всеведущим существом и поэтому знает обо всех движениях всех тел в мире, живых и неживых, и знает обо всех состояниях сознаний всех человеческих существ, которые когда-либо жили на свете, и, предположим, этот человек написал обо всем, что он знает, большую книгу; тогда эта книга содержала бы в себе описание всего мира; и вот я хочу сказать: эта книга не содержала бы ничего, что мы могли бы назвать этическими суждениями или чем-то, логически обозначающим такое суждение. Она могла бы, конечно, содержать все относительные суждения о ценности и все истинные предложения науки и фактически все истинные предложения, которые могли бы быть вообще сказаны. Но все факты, описывающие мир, как он есть, стоят на одном уровне и подобным же образом на одном уровне стоят все предложения *[Витгенштейн 1989:103]*.

В этом рассуждении Витгенштейн типологически примыкает к серийной концепции английского философа Джона Уильяма Данна, построенной примерно в это же время (книга «Серийное мироздание» опубликована в Лондоне в 1930 году — *[Dunne 1930])*. Там, в частности, приводится такая парабола. Один сумасшедший художник захотел нарисовать всю картину мироздания. Он поставил перед собой холст и нарисовал все, что видел перед собой, но остался чем-то недоволен. На картине мироздания не хватало его самого. Тогда он отодвинул холст, нарисовал тот же ландшафт и себя, рисующего ландшафт. Но он опять был недоволен. На картине не хватало его, наблюдающего за собой, рисующим ландшафт. Пришлось вновь отодвигать холст и начинать все сначала. И так до бесконечности. Сходство между этой параболой и тем, что говорит Витгенштейн, в том, что обе концепции не допускают существования метавысказываний, то есть считают их стоящими на одном уровне с другими

высказываниями. Как уже говорилось нами, эта позиция не была поддержана логиками XX века, строившими разветвленные метаязыковые системы — это прежде всего относится к таким логикам, как Альфред Тарский, Кларенс Льюис и Рудольф Карнап. Однако позиция Витгенштейна в чем-то глубже. Ведь серии метаязыков, во-первых, ведут к бесконечному регрессу, как показано в параболе Данна, а во-вторых, они не оставляют (будучи детищем логического позитивизма) места чудесному, мистическому. Витгенштейновская же концепция невысказанного оставляет ему место. В этом смысле позиция Витгенштейна является одновременно и консервативной и современной по отношению к культуре XX века. Консервативной она является формально, а современной — содержательно. Ибо XX век — это не только логический позитивизм и аналитическая философия. Это одновременно резкий взлет (по сравнению с XIX веком) мистической мысли — будь то концепции Р. Штайнера, Е. П. Блаватской и Н. К. Рериха, учение Г. И. Гурджиева, Д. Л. Андреева, алхимические прозрения Юнга, трансперсональная психология С. Грофа или распространенные в Европе эзотерические концепции Востока — суфизм, буддизм, даосизм, дзен. Само представление о книге, где записано все, что было, есть и будет, чрезвычайно характерно для художественной культуры XX века, например, для Борхеса с его загадочными энциклопедиями или для Маркеса, в романе которого «Сто лет одиночества» в конце появляется книга, где записана от начала до конца вся история рода Буэндиа.

Анализируемое рассуждение Витгенштейна вызывает также ряд вопросов. Первый связан с тем, что, по сути, всеведущее существо, о котором говорит Витгенштейн, — это так называемый «демон Лапласа», о котором известно, что за то время, пока он опишет всю вселенную, вселенная изменится — во всяком случае, так считается в релятивистски ориентированной философии физики *[Рейхенбах 1962, Поппер 1983, Гейзенберг 1987]*.

Следующая проблема заключается в том, что логически, если универсальная книга должна иметь полное описание мира, она должна также содержать самое себя, что ведет к парадоксу, также характерному для культуры XX века. Так, Борхес в новелле «Скрытая магия в «Дон Кихоте», ссылаясь на Дж. Ройса, пишет:

> Вообразим себе, что какой-то участок земли в Англии идеально выровняли и картограф начертил на нем карту Англии. Его создание совершенно — нет такой детали на английской земле, даже самой мелкой, которая не отражена в карте, здесь повторено все. В этом

случае подобная карта должна включать в себя карту карты, которая должна включать в себя карту карты карты, и так до бесконечности *[Борхес 1989: 213]*.

Наконец, третий момент, который не захотел учесть Витгенштейн, заключается в том, что полное описание мира должно было бы включать в себя не только реальные, но и воображаемые положения дел, не только истинные, но и ложные пропозиции. Отсюда логически следует, что в такой книге содержались бы также ложные, с точки зрения Витгенштейна, теории Этики, которые — но уже с точки зрения их создателей (Платона, Марка Аврелия, Эпикура, Сенеки, Спинозы, Канта, Шопенгауэра и т. д) — должны были бы иметь абсолютный смысл.

Развивая мысль о книге и ее содержимом, Витгенштейн далее пишет:

> Если, к примеру, в нашей мировой книге мы читаем описание убийства со всеми его деталями, физическими и психологическими, то описание этих фактов не будет содержать ничего, что бы мы могли назвать предложениями *Этики.* Убийство будет находиться на том же уровне, что и всякое другое событие, например, падение камня. Конечно, чтение этого описания может нам доставить боль или гнев, или любую другую эмоцию, либо мы можем прочитать там о боли и гневе, причиненных этим убийством другим людям, когда они слышали о нем. Но это будут просто факты, но не Этика *[Витгенштейн 1989:104]*.

Пожалуй, это единственное место «Лекции», где видно, что Витгенштейн находится под обаянием физикалистской концепции Венского кружка. В сущности, здесь он говорит о протокольных предложениях, то есть исходит из предположения, что большинство предложений реальной речевой деятельности суть предложения в изъявительном наклонении. С точки зрения позднего Витгенштейна, язык описывает не абстрактные факты, а языковые игры, или речевые действия, как говорят в современной теории речевых актов. То есть в «мировой книге» были бы, наряду с описаниями факта падения камня или убийства, реальные выражения боли («Ах, черт, как больно!»), угрозы («Я сейчас вышибу из тебя мозги, ублюдок!»), мольбы о спасении, вопрошания, клятвы и так далее. И в этом смысле высказывания Этики были бы невозможны, но по другой причине (см. ниже). С другой стороны, Витгенштейн не учитывает того (в духе своей

ранней антипсихологической установки), что любой факт может стать событием только когда за ним кто-то наблюдает, и в этом смысле любое событие есть описание события *[Руднев 1993]* и, стало быть, первопорядковые «протокольные высказывания» о фактах представляют собой всегда *чьи-то* высказывания и поэтому на глубинном уровне являются второпорядковыми пропозициональными установками, содержательная часть которых не будет иметь истинностного значения. То есть, в сущности, информация, которая бы содержалась в «мировой книге» была бы информацией о мнениях свидетелей событий, а не о фактах. А поскольку это так, поскольку там не было бы истинностных высказываний о фактах, то они принципиально не отличались бы от псевдовысказываний Этики, примеры которых Витгенштейн приводит дальше:

> Этика, если она вообще является чем-то, есть нечто сверхъестественное, а наши слова могут лишь выражать факты. […] Теперь давайте посмотрим, что бы могло предположительно выражать словосочетание *«абсолютно правильная дорога»*. Я думаю, что это была бы такая дорога, по которой каждый, видя ее, с логической *необходимостью* должен был бы идти, или по которой было бы постыдно не идти. И сходным образом *абсолютное добро […]* это такое добро, которое все, как один, должны были бы совершать или ощущать грехом не совершать. И я хочу сказать, что такое положение вещей — это химера *[Витгенштейн 1989: 104]*.

Здесь, как кажется, Витгенштейн допускает одну принципиальную с точки зрения его же поздней философии неточность. Говоря об абсолютно правильной дороге, он, похоже, незаметно для себя, подменяет географическое значение слова «дорога» этическим. То есть, говоря о дороге, по которой каждый должен идти, мы невольно представляем себе метафорический образ, вроде «дороги, которые мы выбираем», «он выбрал честную дорогу», «на свете много дорог», «нам любые дороги дороги», «дорога в жизнь». Эта подмена значений во многом обесценивает данный пример.

Далее. Представление об отсутствии абсолютных ценностей возможно только с позиций этического релятивизма и при отсутствии конфессиональной религиозности. То есть, например, добрый христианин скажет, что, во-первых, абсолютные этические ценности есть и они выражены в десяти заповедях Моисея и в Нагорной проповеди, и дело не в том, что они не высказываемы, а в том, *кто* их высказывает, в его этическом авторитете. Но если

встать на позицию витгенштейновского релятивизма, то он безусловно прав и любая этическая ценность будет абсолютной только в том культурном контексте, в котором действует тот или иной этический кодекс. Эта «уорфианская» поправка, или антропологическая поправка, в 1930 годы, возможно, была бы Витгенштейном принята, поскольку в этот период на него повлиял Пьеро Сраффа и именно в таком «антропологическом» направлении (см. об этом выше в разделе 7. 1).

Далее Витгенштейн приводит три примера квазивысказываний, имеющих абсолютную ценность:

> Я удивляюсь тому, что мир существует.
>
> Я в безопасности, никто не может мне повредить, что бы ни случилось.
>
> Я удивляюсь небу, каким бы оно ни было *[Витгенштейн 1989: 106]*.

Витгенштейн считает подобные высказывания бессмысленными. Бессмысленно удивляться существованию того, что и так существует, возможно ли быть в безопасности, что бы ни случилось, и удивляться не просто голубому небу или закату, а небу, каким бы оно ни было. По Витгенштейну, это прорвавшийся мистический опыт, который нельзя выразить в словах. В терминах «Философских исследований» можно сказать, что это высказывания, принадлежащие «индивидуальному языку» (private language), которые никто, кроме говорящего, не может понять, Рассуждения Витгенштейна вызывают два возражения. Во-первых, он не дает здесь критерия бессмысленности высказывания. По старому критерию, сформулированному в «Логико-философском трактате», высказывание бессмысленно, если оно не имеет значений истинности, то есть если оно ни истинно, ни ложно. Очевидно, что этот критерий не подходит к данным трем высказыванием. Они *могут* быть как истинными (когда говорящий правдиво говорит о своем внутреннем переживании), так и ложными (когда говорящий говорит неправду, то есть на самом деле он не чувствует себя в полной безопасности и т. д.). Второе возражение заключается в том, что, по нашему мнению, данные выражения не являются бессмысленными и с точки зрения обыденного языка (вероятно, именно эту точку зрения неявно принимает здесь Витгенштейн). Например, человек может чувствовать себя в состоянии абсолютной безопасности и говорить об этом в измененных состояниях сознания (ср. *[Tart 1983]),* например, во сне, в опьянении, под влиянием наркотиков, в состоянии маниакальной эйфории и т. д. Но, конечно, эти «разговоры» в измененном

состоянии сознании будут разновидностью индивидуального языка.

Последний вывод Витгенштейна, следующий за справедливым, с его точки зрения, умозаключением, что все религиозные и мистические «дискурсы» представляют собой нечто бессмысленное, является в лингво-философском смысле пессимистическим:

> Все мое стремление, и я полагаю, стремление всех людей, кто когда-либо пытался писать или говорить об этике или религии, было стремлением вырваться за границы языка. Этот побег сквозь стены нашей клетки совершенно, абсолютно безнадежен *[Витгенштейн 1989: 108]*.

Пессимистичность этого вывода, как нам кажется, обусловлена тем, что к этому времени Витгенштейн еще не сформулировал четко понятия языковой игры — *формы жизни,* — понятия настолько универсального, что в него вошли бы и бессмысленные с точки зрения ортодоксальной позитивистской методологии высказывания об этике и религии. О последнем свидетельствует такое направление аналитической философии, как лингвистическая апологетика Хадсона и Филлипса. Но, пожалуй, языковая игра — это единственное понятие из арсенала поздней философии Витгенштейна, которое не прочитывается в этом небольшом, но интеллектуально очень емком тексте (оно появляется впервые в так называемых «Голубой и коричневой книгах» — подготовительных материалах к будущим «Философским исследованиям»; «Голубую книгу» Витгенштейн диктовал группе студентов в 1933–1934 учебных годах, «Коричневую книгу» он диктовал Фрэнсису Скиннеру в 1935 году (см. следующий раздел).

Френсис Скиннер

Фрэнсис Скиннер приехал в Кембридж в 1930-м году и два года проучился на математическом факультете. Он делал большие успехи, ему давали призы и стипендии, но он увлекся лекциями Витгенштейна, его учением и его личностью, постепенно забросил занятия и полностью посвятил себя работе с Витгенштейном. Фрэнсис стал, пожалуй, самым близким интимным другом Витгенштейна. Когда они подружились, ему было 22 года, Витгенштейну — 42. В 1932 году Витгенштейн написал записку следующего содержания:

> В случае моей смерти я бы хотел, чтобы мои фрагменты под общим названием «Философские заметки» были опубликованы с посвящением «Фрэнсису Скиннеру» (цит. по *[Monk 1990:365]).*

Согласно воспоминаниям современников, Фрэнсис обладал двумя особенно заметными качествами — крайней застенчивостью и бесконечным благородством.

Витгенштейн полностью поглотил личность Фрэнсиса, подавил его своей личностью, и многие сомневались, была ли дружба с Витгенштейном добром или злом для Фрэнсиса.

Фаня Паскаль, человек, относящийся к Витгенштейну нелицеприятно и наиболее объективно, вспоминает:

> В скором времени Витгенштейну довелось сыграть в жизни Фрэнсиса определяющую роль, убедив его оставить математику и пойти подмастерьем в Кембриджскую научную инструментальную компанию. «Был ли Витгенштейн для Скиннера благом или злом?» — вот вопрос, который недавно поставила передо мной сестра Фрэнсиса (мемуары Ф. Паскаль впервые опубликованы в 1976 году. — *В. Р.),* когда я впервые с ней встретилась. Она сдержанно рассказала мне о смятении, охватившем их семью, когда ее брат, замечательный математик и студент Тринити-колледжа, решил все бросить. «Почему, — спрашивала она, — почем*у?*». Она рассказывала, как приехала с родителями из Лэтчуорта, чтобы навестить Френсиса, пока он учится в колледже, и как он сбежал по ступеням, шипя на них: «Я занят. У меня доктор Витгенштейн. Мы работаем. Приходите попозже». […]

Свою ужасную застенчивость он преодолевал в тяжелой борьбе. Он мог быть радостным и любил общество. Не ошибусь, если скажу, что он не был способен подумать о ком-нибудь дурно. Он мог и учился быть практичнее, хотя, увы, оставался чересчур бескорыстным, чересчур стеснительным. Его жизнь безмерно обогатилась философией и дружбой Витгенштейна, но духовно, я думаю, он остался верен себе. […]

Когда Фрэнсис в 1935 году стал механиком, Витгенштейн, никогда не обсуждавший со мной его поступков, сказал однажды: «Он никогда не был бы счастлив в академической среде». Возможно, это было верно. Трудящиеся люди были добрее и не столь застенчивы, как люди его класса. Он ходил на вечеринки в «Пай» (компания по производству бытовой радиотехники, электроприборов и электронного оборудования — *примечание переводчика воспоминаний Ф. Паскаль — В. Р.),* куда перешел из Кембриджской научной инструментальной компании, и участвовал в общем веселье, даже танцевал. Но вопрос о том, было ли у Витгенштейна право влиять на молодого человека в столь далеко идущих практических решениях только потому, что ему это было дано, остается открытым. Знаю, что ставить так вопрос — значит, с точки зрения Витгенштейна, говорить «бессмыслицу» *[Паскаль 1993: 109–111].*

Фрэнсис был единственным человеком в Кембридже, кого Витгенштейн называл по имени, в том числе говоря о нем в третьем лице. Сохранились письма Скиннера, письма влюбленного и глубоко любящего человека.

25 марта 1933 года:

Дорогой Людвиг,

Я много думал о тебе с тех пор, как мы расстались в последнюю субботу. Я надеюсь, что думал о тебе правильно. Когда мы говорили о чемодане, который дала тебе твоя сестра, я несколько раз улыбнулся, а ты сказал, что можешь видеть, что это не была добрая улыбка. Иногда, когда я думаю о тебе, я улыбаюсь такой же улыбкой. Я всегда знал, что это нехорошо так улыбаться, потому что всегда отмечал эту улыбку в своем сознании, но я не знал, что это недобрая улыбка.

…Я несколько дней живу на острове на Канале,

> некоторые здесь говорят по-французски. Я помню, как я однажды спросил у тебя, говоришь ли ты по-французски, и ты сказал мне, что учился французскому языку в детстве, когда у тебя была учительница, молодая женщина, которая жила в вашем доме и была очень хорошей. Когда я об этом подумал этим утром, я решил, что тебе будет приятно узнать, как я радовался, вспоминая о тех вещах, о которых ты мне рассказывал *[Monk 1990: 332–333]*.

Во время каникул, когда Витгенштейн уезжал из Кембриджа, Фрэнсис очень страдал и скучал без него. «Я чувствую, что ты очень далеко, писал он Витгенштейну, и я стремлюсь быть снова ближе к тебе». Жизнь Фрэнсиса в Кембридже без Витгенштейна была скучной и безрадостной, он охладевал к работе на фабрике, к занятиям философией, жил, как во сне, и писал письма Людвигу. Витгенштейн был центром его жизни. Звездными часами Фрэнсиса были те часы, когда Витгенштейн диктовал ему в 1935–1936 годы «Коричневую книгу». Он не был простым стенографистом. И хотя мыслителем он тоже не был (в записках Друри рассказывается эпизод, когда Витгенштейн говорит, что не может себе представить Фрэнсиса в позе роденовского мыслителя), но иногда к его замечаниям Витгенштейн, вероятно, все же прислушивался, пусть даже эти замечания были полувысказаны, выражались в форме мягкого огорчения или протеста: «Да, но…» *[Паскаль 1993]*.

В 1936 году Фрэнсис собирался присоединиться к интернациональной бригаде республиканцев, воюющих против режима Франко в Испании. Его не взяли. В детстве он болел остеомиелитом и у него была удалена часть кости ноги, что сделало его на всю жизнь увечным и зависимым от новых опасных приступов. В 1941 году он тяжело заболел полимиелитом и (из-за отсутствия современных антибиотиков) умер. Это был третий друг Витгенштейна, умерший молодым (Пинсент погиб на войне в 1919-м, Рамсей умер в 1930-м).

> На похоронах, — вспоминает Фаня Паскаль со слов сестры Фрэнсиса, — Витгенштейн выглядел «более подавленным, чем всегда». Вряд ли, полагает она (сестра Фрэнсиса, миссис Траскотт — *В. Р.),* ее родители стали с ним разговаривать; и с людьми он общался (по ее словам), как «испуганное дикое животное». После похорон к ним домой он не поехал, а некоторое время спустя она видела, как он с «довольно диким» видом гулял по Летчуорту с доктором Барнеби, — наставником

Тринити *[Паскаль 1993: 113]*.

Витгенштейн исповедуется

Как известно, канонический вариант «Философских исследований» начинается с цитаты из «Исповеди» Св. Августина. И хотя в этом фрагменте речь идет о том, как автор в детстве изучал язык, сам факт наличия в начале современного сочинения по философии языка цитаты из сочинения авторитетного отца церкви многозначителен. Действительно, «Исповедь» Августина была одним из любимых философских сочинений Витгенштейна. В этом произведении, как и у позднего Витгенштейна, обсуждение сложнейших философских проблем сочетается с напряженными интимными размышлениями; *ясность и искренность* — эти два слова, полностью определяющие философскую и человеческую позицию Витгенштейна, можно отнести и к Августину.

Поэтому не станем особенно удивляться тому, что после приезда из Норвегии в 1936 году, завершив окончательный вариант первых фрагментов будущей книги (первоначальное предисловие к «Исследованиям», отброшенное Витгенштейном и опубликованное его душеприказчиками в книге «Культура и ценности» — мы рассмотрим его в последней главе книги, — носит откровенно исповедальный характер), почувствовал потребность очистить душу. Это был жест в духе «Искусства и ответственности» Бахтина, текста, который мы уже неоднократно цитировали («За то, что я пережил и понял в искусстве, я должен отвечать своей жизнью»). Возможно также, что Витгенштейн предчувствовал надвигающиеся зловещие перемены в общественной жизни (в 1936 году началась гражданская война в Испании, в 1937 — большой террор в России, в 1938 году немцы захватили Австрию (см. следующий раздел), в 1939 началась Вторая мировая война) и хотел предстать перед ними с чистой душой, с душой, не отягощенной грехами.

Как бы там ни было, с «римской прямотой» в ноябре 1936 года Витгенштейн разослал письма наиболее близким друзьям — в их числе были, конечно, Френсис Скиннер, Морис Друри, Пауль Энгельманн, Джордж Эдвард Мур, Роланд Хатт (близкий друг Фрэнсиса Скиннера, с которым Витгенштейн познакомился в 1934 году) и Фаня Паскаль (у которой он учился русскому языку — см. следующую главу), — где просил позволения у каждого встретиться с ним для особого разговора. Из всех писем сохранилось только письмо Муру. В нем Витгенштейн в частности писал:

> Кроме того, разного рода вещи произошли внутри

> меня (я имею в виду, в моем сознании). Я бы сейчас не хотел о них писать, но когда я вернусь в Кембридж, что я намереваюсь сделать за несколько дней до Нового года, я надеюсь, Бог позволит мне поговорить с Вами о них: мне также потребуется Ваша помощь в некоторых сложных и серьезных проблемах *[Wittgenstein 1997:283]*.

Рождество Витгенштейн провел в Вене, где исповедовался Энгельманну и другим наиболее близким друзьям (возможно, Хензелу). Энгельманн, однако, в своем мемуаре хранит полное молчание об этом эпизоде, по мнению Рея Монка, Энгельманн уничтожил это место в своих записях *[Monk 1990: 368]*.

Перед Новым годом Витгенштейн, как и обещал, приехал в Кембридж. Из всех кембриджских исповедников воспоминания об этом событии оставили только Роланд Хатт и Фаня Паскаль.

Друри сообщил лишь то, что Витгенштейн *читал* свою исповедь ему, а также Муру.

И для Роланда Хатта, и для Фани Паскаль исповедь Витгенштейна была тяжелым переживанием. В случае с Хаттом дело происходило в кафе, Витгенштейн сидел напротив него и перечислял свои грехи громким монотонным голосом. Те грехи, которые вспомнил Рональд Хат, заключались в следующем. Первый был связан с неким американским знакомым, который внезапно умер. Когда их общий друг рассказал Витгенштейну эту новость, Витгенштейн повел себя так, как будто для него это была страшная новость, хотя на самом деле он уже знал о смерти этого знакомого. Другой эпизод связан с Первой мировой войной. Здесь Витгенштейн рассказал о своей трусости: когда командир приказал ему перенести бомбы под мост через ручей под огнем противника, он почувствовал страх. Витгенштейн победил свой страх, но сознание первоначальной трусости мучило его все годы.

О том, как происходила исповедь с Фаней Паскаль, лучше не расскажет никто кроме самой мемуаристки:

> Это случилось после возвращения Витгенштейна из Норвегии […]. Однажды утром он позвонил и спросил, нельзя ли ему увидеться со мной; а когда на мое сомнение, так ли уж это срочно (по-моему, болел кто-то из детей), мне было сказано, что срочно и ждать не может, я вспылила: «Если бы такие вещи могли ждать!» Помню, как смотрю ему в лицо через стол. «Это именно такая исповедь». Часто ли воспоминанию о душевном состоянии сопутствуют физические признаки? Теперь я готова поклясться, что он не снимал макинтоша, застегнутого на все пуговицы и сидевшего на нем прямо

и отталкивающе. […]

«Я пришел к вам с исповедью». С той же целью он только что побывал у профессора Мура. «Что сказал профессор Мур?» Он улыбнулся. «Он сказал: «Вы нетерпеливый человек, Витгенштейн»…» — «А вы разве не знали?» Витгенштейн пренебрежительно: «Не знал». Вспоминаются два «греха», в которых он исповедовался: первый касается его еврейского происхождения, второй — проступка, совершенного им в бытность сельским учителем в Австрии.

По поводу первого он сказал, что понял, что большинство знавших его людей, включая и друзей, воспринимают его на 3/4 арийцем и на четверть евреем (см. раздел 1.2 — *В. Р.)*. На самом деле пропорция обратная, а он не предпринял до сих пор ничего, чтобы предотвратить это недоразумение […]

«Слегка еврей», — сказала бы моя бабушка. […]

Не представляю, знал ли он о том, что я — девочка-еврейка с Украины, изгнанная с родины погромами времен гражданской войны, с детством, отмеченным мрачной печатью антисемитизма царской России. Я очень хорошо понимала муки, которые может испытать еврей, принимаемый за нееврея. […]

Помню, что сказала ему: «Я еврейка, и я часто упускала возможность вовремя предотвратить проявления неприязни к евреям вообще. Но так или иначе, англичане проницательны. Я уверена, что они знают обо мне, наверняка они знают и о вас…» Я была растрогана, увидев его обнадеженным. […]

Самая болезненная часть исповеди шла в конце — оживший и требовавший откровенного признания травматический опыт. Хорошо помню, что в этот момент ему пришлось жестче контролировать себя, пока он кратко рассказывал о своем трусливом и постыдном поведении. В то недолгое время, когда он учительствовал в деревенской школе в Австрии, ему случилось ударить и ранить девочку из своего класса (в моей памяти остался только акт физического насилия, безо всяких деталей). Когда она пожаловалась директору, Витгенштейн стал отрицать свою вину. Это событие выделяется в его ранней молодости как переломное. Возможно, именно оно заставило его оставить учительскую стезю, приведя к сознанию того, что жить он должен один. Это тот случай, когда он

солгал, навсегда отяготив свое сознание *[Паскаль 1993: 122–125]*.

Витгенштейн рассматривал эти исповеди как своеобразное хирургическое вмешательство в свое сознание, в то время как оно требовало длительного консервативного лечения. К счастью, Витгенштейн сохранял чувство юмора. Так, он поехал в начале 1937 года в Норвегию и сломал там ребро. В письме Гильберту Патиссону он описал этот случай так: «Я думал сделать себе из него жену, но мне сказали, что секрет производства жен из ребер утрачен»*[Monk 1990: 372]*. Однако, как и во всем идя до конца, Витгенштейн решил искоренить свои грехи радикально, и исповедей ему казалось недостаточно. Он поехал в Оттерталь и просил прощения лично у тех учеников, которых он 12 лет назад наказывал или обижал, в частности, у дочери Пирибауэра, который в 1926 году «заложил» его полиции. Все это было мучительно для обеих сторон, но помогло мало, — весь 1937 год Витгенштейн чувствовал себя неважно. Он делал ошибку, достаточно типичную для большинства людей, страдающих тягостными депрессивными расстройствами. Ошибка эта заключается в том, что они психологический план своего состояния переводят в этический. То есть, искаженная информация, которая передается от нейронов к мозгу, составляющая физиологическую основу депрессии, на психологическом уровне воспринимается как чувство вины, отчаяния, собственной ничтожности или даже преступности, то есть психофизиологический план переводится в этический. Витгенштейн от этого, в разной степени, страдал практически всю жизнь. Однако, возможно, что именно это кристаллизовалось в его столь своеобразном философском творчестве, в частности, в идее о том, что этика невыразима или, в терминах его позднего учения, что индивидуальный язык невозможен. Витгенштейн много писал в поздних работах о том, что другой человек не может чувствовать твою боль. Известно, что страдание, испытываемое депрессивным человеком, очень трудно дать почувствовать другому человеку, который никогда не испытывал подобных страданий, и что очень часто поведение депрессивной личности кажется чудачеством, ее жалобы — капризами, ее душевная боль — пустым самокопанием, от которого нужно отключиться, «пересилив себя». Примерно так ведь и воспринимались исповеди Витгенштейна его «исповедниками», может быть, за исключением самых близких — Пауля Энгельманна, Фрэнсиса, Мориса Друри. И возможно, что все великие этические учения обязаны своим возникновением

патологической совестливости их создателей.

1938 год: аншлюс Австрии

Идеологический план захвата Австрии созрел у Гитлера еще в период написания «Mein Kampf» (1925), где он говорит, что Австрия должна воссоединиться с Германией, что единая кровь требует единого государства и, более того, что германское начало может быть сохранено только посредством разрушения австрийского *[Monk 1990: 385]*. Начиная с 1936 года, Гитлер давил на Австрию политически, заставив ее объявить себя Германским государством. Канцлер Австрии Шушинг был вынужден ввести в состав австрийского кабинетна министров двух нацистов, членов «националистической оппозиции».

Еврейский вопрос в Австрии был крайне запутанным, и его трудно было решить при помощи гетто, концлагерей и расстрелов, как это делалось нацистами в странах Восточной Европы. Евреи в Австрии, во-первых, очень сильно ассимилировались с немцами посредством смешанных браков, и, во-вторых, очень много евреев в Австрии занимали высокие государственные должности или располагали крупными капиталами. Поэтому в том, что касалось евреев, немцы действовали в Австрии достаточно осторожно. И поэтому евреи уезжали из Австрии неохотно и в последнюю очередь, когда уже не оставалось никаких иллюзий, что жизнь будет идти по нормальному руслу; так в последний момент уехал Фрейд. Иные же, например, большинство членов семейства Витгенштейнов, не покинули Австрию, сумев доказать преобладание немецкой крови (предоставив немцам различные документы).

8 февраля 1938 года Витгенштейн с Фрэнсисом приехали в Дублин к Друри. Как всегда, Витгенштейн был занят больше собой и новыми впечатлениями, чем политикой. Он посещал психиатрическую больницу, где работал Друри, общался с умалишенными. Возможно поэтому он давал такие странные ответы на вопросы, которые задавал ему Друри по поводу австрийских дел. Так, на вопрос о том, что он думает о захвате немцами Австрии, Витгенштейн твердо ответил, что это вздор и что Австрия Гитлеру не нужна. Когда же аншлюс произошел и Друри спросил его, не беспокоится ли он о своей семье, Витгенштейн ответил, что его семья слишком богата и респектабельна, чтобы с ней что-то могло произойти.

9 марта Шушинг объявил референдум: хочет ли австрийский народ быть присоединенным к Германии. В ответ на это немцы подвели свои войска к границам Австрии. 11 марта под давлением Гитлера канцлер Шушинг был смещен, а на его место

назначен пронацистский канцлер Зейс-Инкварт. 12 марта, когда новый канцлер вступил в должность, и был днем, когда формально аншлюс был совершен — Австрия стала частью нацистской Германии.

Тут Витгенштейн, конечно, забеспокоился — и о своей семье, и о себе самом. Он не знал, что ему делать: ехать в Вену, чтобы поддержать семью? а, с другой стороны, сможет ли он вернуться обратно в Англию? как быть? Он написал письмо самому толковому в таких делах Пьеро Сраффе. Тот прислал ему длинное исчерпывающее письмо (от 14 марта 1938), отвечающее на все пункты. Это единственное письмо Сраффы Витгенштейну, которое сохранилось, и оно заслуживает того, чтобы процитировать его почти полностью:

> Дорогой Витгенштейн,
>
> прежде чем пытаться начать дискуссию, которая, возможно, будет запутанной, я хочу дать ясный ответ на Ваш вопрос. Если, как Вы говорите, возможность покинуть Австрию и вернуться в Англию представляется Вам «жизненно важной», то вне всякого сомнения — *Вы не должны ехать в Вену.* Являетесь ли Вы преподавателем в Кембридже или нет, Вас не выпустят из Австрии: выезд из Австрии для австрийцев сейчас невозможен. Без сомнения, эти препоны через месяц-другой будут ослаблены. Но все равно долгое время у Вас не будет никакой уверенности в том, что Вам разрешат уехать, и весьма вероятно, что некоторое время Вам этого не разрешат. Вы, конечно, осознаете, что являетесь отныне гражданином Германии. Ваш австрийский паспорт безусловно недействителен, и Вы должны будете получит немецкий паспорт, который может быть Вам выдан, если гестапо будет уверено в Вашей благонадежности.
>
> Если же, несмотря на все это, Вы решитесь возвращаться в Вену, то в таком случае я думаю: a) если Вы были бы преподавателем Кембриджа, это увеличило бы Ваши шансы на выезд из Австрии в дальнейшем; b) если Вы покинете Австрию (я хотел сказать, Германию), никаких препятствий для въезда в Англию у Вас не будет; c) *прежде чем* покинуть Ирландию или Англию, Вы должны поменять свой паспорт на немецкий в немецком консульстве: я уверен, что они начнут выдавать новые паспорта в самое ближайшее время; а Вам выгодней произвести эту перемену здесь, нежели в

Вене; если Вы поедете с немецким паспортом, Вы с большей вероятностью (хотя и не наверняка) сможете вернуться обратно.

Вы должны быть осторожны в том, что касается следующих вещей: 1) если Вы поедете в Австрию, вы должны помнить, что не следует распространяться о Вашем еврейском происхождении. В противном случае, Вам точно откажут в выдаче паспорта; 2) Вы не должны говорить, что у Вас есть деньги в Англии, потому что они могут заставить Вас перевести их в рейхсбанк; 3) если Вы обратитесь в немецкое посольство, будь то в Дублине или в Кембридже, для регистрации или смены паспорта, будьте осторожны, отвечая на вопросы, так как любое опрометчиво брошенное слово может отрезать Вам путь в Вену; 4) следите за каждым словом в Ваших письмах родным, особенно в том, что касается личных дел, поскольку письма безусловно перлюстрируются. […]

При настоящем положении вещей я бы не стал сомневаться в возможности быстрого получения британского подданства: у Вас есть в Англии друзья, которые без сомнения помогут Вам в этом (цит по *[Wittgenstein 1997: 290–291]*).

Витгенштейн внял советам Сраффы, то есть решил не ехать в Вену, во-первых, и хлопотать об английском гражданстве, во-вторых. С этой целью он написал Кейнсу, так как именно он был наиболее влиятельным в такого рода вещах. Витгенштейн просил Кейнса помочь получить постоянную работу в Кембридже и похлопотать об английском подданстве. Кейнс ответил, что он в состоянии сделать и то и другое.

Витгенштейн получил должность преподавателя в Кембридже со следующего триместра, то есть с осени 1938 года, а британский паспорт был ему вручен 2 июня 1939 года.

Шестое рассуждение о формах жизни

Перечитывая наши предыдущие импровизации (последние разделы всех глав), мы пришли к выводу, что отчасти «русифицируем» характер Витгенштейна в духе незабвенной книги *[Галковский 1997]* (см. также *[Руднев 1993а]*). По Галковскому, одной из определяющих черт русского языка и, стало быть, характера, является склонность к глумлению. Не то же ли самое мы обнаруживаем у Витгенштейна, когда он, повернувшись задом к членам Венского логического кружка, читает стихи Робиндраната Тагора и даже когда он насилует друзей своими психологическими откровениями. Но не отсюда ли и такая тяга Витгенштейна к России, о которой мы уже говорили и о которой подробно расскажем в следующей главе?

Однако, в отличие от русского характера, который глумится, я бы сказал, от избытка интеллектуальной нерастраченности, от непримененности своего разума, загубленности русской жизнью (и поэтому для русского глумление — это творчество и совпадает с творчеством, как у Достоевского), у Витгенштейна, как нам кажется, глумление носило совершенно нетворческий характер, оно имело, скорее, характер гигиенический, очищающий. Но поскольку Витгенштейн не верил в XX век и, в частности, к психоанализу относился весьма двойственно (судя по воспоминаниям и письмам, подробно он читал только «Толкование сновидений»), то очищался он примитивно, как это делали в XIX веке, на который он ориентировался (отсюда идея исповеди). Поэтому его очищения были скорее похожи на испражнения и, что самое главное, марали они прежде всего его самого. То есть — наше рассуждение достаточно просто — Витгенштейн был человеком текста (пусть будет даже — Текста). В том, что касается текстов, он был в высшей степени конструктивен. И он владел лишь теми *формами жизни,* которые так или иначе были связаны с текстом, с производством информации — лекции, дискуссии, беседы, наставления. Но это не любой речевой акт a priori. Исповедь — это тоже речевой акт, тоже *форма жизни,* но ею Витгенштейн определенно не владел. Почему? Ну, прежде всего, потому, что он думал, что в таких сферах, как религиозная жизнь, можно вводить свои правила. Нет, нельзя. На это способен только великий религиозный деятель масштаба Лютера. Поэтому идти исповедоваться друзьям — это все равно, что идти лечить зубы к Мамардашвили или к Бибихину. Они не знают правил этой языковой игры. Лечить зубы можно только у зубного врача, а исповедоваться можно только у

священника. Он *знает* правила этой игры. Он, по крайней мере, знает, что существует тайна исповеди, и сколько бы лет ни прошло, никому не расскажет и, тем более, в журнале не опубликует того, что ты ему говорил. И не обольет тебя собственными амбициями. И не посмеется над тобой, и не испугается тебя. Таким образом, строго говоря, исповеди Витгенштейна были симуляциями исповедей, и его настроенность на XIX век оборачивалась хеппенингом, квазиавангаристским поведением.

Итак, в том, что касается обыденной жизни, Витгенштейн был не просто ребенком, а ребенком-хулиганом. Возьму на себя смелость утверждать, что Витгенштейн безусловно загубил жизнь Фрэнсиса Скиннера и, более того, повинен в его смерти. Современная медицина показала, что практически любая болезнь носит психогеннный характер. А Фрэнсис Скиннер все время его дружбы с Витгенштейном страдал. Витгенштейн часто третировал его, уезжал в Норвегию или в Вену, оставляя его одного, то есть, в сущности, Витгенштейн не любил Фрэнсиса, как он любил Дэвида Пинсента. Какое же он право имел так калечить его жизнь? Надо ведь понимать, что жизнеспособный ирландец Друри — это одно, а хрупкий английский мальчик — совсем другое. Витгенштейн не понимал этого. А если понимал, то от этого и страдал, а не оттого, что когда-то, 12 лет назад, ударил по лицу школьницу и наврал директору. Вот в чем надо было исповедоваться!

Все подчинено творчеству, потому что творчество — выживание. И в Вену он не поехал в 1938 году, чтобы разделить участь своей семьи (в молодости он, возможно, так бы не поступил), остался в Англии и вскоре получил профессора. Хорошо, что с семьей ничего не случилось, никто не пострадал. А если бы кто-то пострадал? Вспомнил бы тогда, как в детстве придушил бабочку и начал бы страдать *от этого?*

Все, что я пишу, не имеет никакого отношения к *этике.* Упаси Бог меня за что-нибудь осуждать Витгенштейна. Агрессия этого раздела — тоже симуляция агрессии, тоже языковая игра, суть которой — попытка не то чтобы разобраться в личности Витгенштейна, но скорее развенчать модернистский миф о его жизни. Ведь единственное разумное объяснение всему этому состоит в том, что, несмотря на весь свой консерватизм, Витгенштейн был квинтэссенцией модернистской личности и модернистского поведения. Отсюда его вечная ритуальная маска серьезности, как у Бастера Китона. Такое впечатление, что даже когда он смеялся и предавался абсурдистским шуткам с Патиссоном, он внутренне оставался серьезным и собранным. Это человек героической эпохи классического модернизма. Еще раз

сравним его с Кафкой. Та же серьезность во всем, хотя при этом чрезвычайно развитое чувство юмора.

Модернистский герой — разновидность романтического героя, как модернизм — разновидность романтизма. А романтический герой деструктивен — все персонажи Байрона, Демон, Печорин, Алеко. Характерно, что интерес к личности Витгенштейна возник в 1960-е годы, когда все уже стало более или менее хорошо — фашизм победили, от СССР себя обезопасили, средний класс вновь нарастил жирок. Другими словами, классический модернизм вошел в моду, когда начался постмодернизм. А в тридцатые годы Витгенштейна просто боялись из-за его деструктивности. Боялись не только студенты, но и по-настоящему консервативный Джонсон, да и Рассел с Муром — побаивались. Роковой был человек, что там говорить.

Глава 7.
Витгенштейн и Россия

Достоевский и Толстой

Было пять стран в Европе, в которых Витгенштейн либо жил, либо хотел жить: Австровенгрия, Англия, Норвегия, Ирландия и Советский Союз. Желание великого философа жить в Советском Союзе, к счастью для него и для всех нас, не осуществилось. Наш рассказ — о том, как и почему оно не осуществилось.

Возникает вопрос о *корнях* такой непомерной любви к Советскому Союзу со стороны человека, который как-никак воевал четыре года против царской России во время Первой мировой войны. Вероятно, лишь для парадоксалиста Витгенштейна было в порядке вещей, с одной стороны, носить в ранце Евангелие от Толстого, а с другой, расстреливать из пулемета георгиевских кавалеров.

Надо сказать, что имеется *крайне мало* документов и свидетельств об отношении Витгенштейна к Советскому Союзу и особенно о его поездке в СССР в сентябре 1935 года: письма Кейнсу и Патиссону, один небольшой раздел в воспоминаниях Фани Паскаль, несколько фраз в мемуарах Малкольма и в беседах Друри, весьма тенденциозная статья Дж. Морана и один раздел в нашей статье *[Руднев 1994]*.

Витгенштейн очень скудно рассказывал кембриджским друзьям о своей поездке в Москву, Ленинград и Казань, а может быть, рассказывал таким, как Николай Бахтин, но дальше них эти рассказы не пошли. Известный русский математик и семиотик В. А. Успенский высказал в ходе международной конференции по Витгенштейну, проходившей в Москве в ноябре 1997 года, мысль, что Витгенштейн *молчал* о том, что он видел и с кем разговаривал в СССР, именно потому, что слишком все хорошо понимал и не хотел подводить тех, с кем он разговаривал. Особенно убедительным в этой реплике кажется соотнесенность с этической позицией Витгенштейна (Этика не может быть высказана).

Исходя из всего этого, можно понять, почему данная глава отличается от остальных. В ней приводится меньше свидетельств и документов и, соответственно, больше реконструкций и гипотез.

Прежде всего, поговорим о более или менее безусловных вещах — о той роли, которую в жизни Витгенштейна играло чтение Достоевского и Толстого, двух в наибольшей мере адаптированных на Западе великих русских писателей.

Достоевский впервые упоминается Витгенштейном в «Тетрадях 1914–1916», где есть фраза: «Достоевский прав, когда

говорит, что человек, который счастлив, наполнен целью существования» *[Витгенштейн 1996: 195]*. Среди произведений Достоевского Витгенштейн выше всего ставил «Братьев Карамазовых». Особенно большое впечатление на него производила фигура старца Зосимы. Можно предположить, что Витгенштейну была близка идея перевоплощения офицера в святого (достаточно обычный агиографический композиционный ход: грешник становится праведником, — особенно обычный для православной традиции, где было популярным неписаное правило, в соответствии с которым чем больше грех, тем больше потенциальная праведность), ведь он сам был и офицером (австро-венгерской армии) и почти святым (во всяком случае, так его многие воспринимали, когда он работал в деревне (см. *[Бартли 1993]*).

«Преступление и наказание» Витгенштейн читал в 1935 году по-русски, как свидетельствует об этом Фаня Паскаль (см. раздел 8. 2). Фаня также рассказывает, что Витгенштейн настолько высоко ставил Достоевского, что, когда она в разговоре с ним как-то неосторожно заметила, что на Достоевского сильно повлиял Диккенс (что совершенно справедливо с историко-литературной точки зрения), Витгенштейн возмутился и показал рукой, поднятой высоко вверх, как велик Достоевский, и — рука опущена — как ничтожен по сравнению с ним Диккенс (что, конечно, справедливо лишь отчасти).

В целом, однако, можно сказать, что Достоевский не затронул глубинных экзистенциальных пластов жизни Витгенштейна. Это сделал Толстой.

Характерно при этом, что Витгенштейн читал по преимуществу позднего Толстого. Известно, что он читал «Воскресение», «Хаджи-Мурата», восхищался такими плодами позднего эстетического редукционизма Толстого, как народные рассказы, вроде «Алеши Горшка» и «Много ли человеку земли надо?». О том, читал ли Витгенштейн «Войну и мир», «Анну Каренину», «Смерть Ивана Ильича» и «Крейцерову сонату», сведений нет. Если читал, то не обсуждал этих произведений с друзьями.

Итак, не столько Толстой, сколько толстовство. Казалось бы, что общего между философией Витгенштейна и идеологией позднего Толстого? Между тем, общее, безусловно, есть. Проявляется оно, по меньше мере, в двух аспектах. Первый аспект — это редукционизм. Что такое толстовское «Евангелие»? Оно характеризуется, прежде всего, тем, что четыре текста *сведены* (то есть — в соответствии с этимологией этого слова — *редуцированы)* к одному. Толстой убрал главную дискурсивную

особенность раннехристианского учения — его полифоничность, несводимость к единому мнению. В сущности, ранее христианство — это религия пропозициональных установок: («Он сказал…» — один из самых частых оборотов в канонических Евангелиях). Это беспрестанный диалог между Иисусом, с одной стороны, и учениками, фарисеями, женщинами, Пилатом, с другой.

Пользуясь терминологией Р. Рорти (см. *[Рорти 1996]),* можно сказать, что Толстой «приватизировал» христианство и тем самым редуцировал его к сугубо внутренней душевной жизни (тезис о том, что Царство Божие внутри нас), то есть сделал следующий шаг после Лютера — десакрализовал Иисуса и попытался показать, что церковь не нужна даже в том ослабленном виде, в каком она присутствует в протестантской модели христианства.

Толстовство в определенном смысле напоминает буддизм, который Толстой хорошо знал и любил, причем не в исходной махаянической его версии, а скорее в дзенской, нигилистической. (Впервые толстовство как разновидность русского нигилизма было интерпретировано Б. М. Парамоновым в книге *[Парамонов 1997])*. Действительно, отрицание принятых в обществе духовных ценностей, устоявшихся идеологических инфраструктур, парадоксально роднит Толстого со «вторым этапом русского освободительного движения». Конечно, можно возразить, что нигилисты были насильниками, а Толстой проповедовал ненасилие. Но когда Толстой ходатайствовал перед царем за народовольцев, которые убивали царских министров, разве он тем самым не выказывал сочувствие убийцам?

Существует рассказ П. И. Бирюкова, первого биографа Толстого, о том, как однажды Толстой с кем-то из учеников косил луг в Ясной Поляне и ученик уговаривал его уйти наконец из Ясной Поляны и присоединиться к общине толстовцев. Толстой долго слушал, потом не выдержал и пошел с косой на ученика. Потом он бросил косу, упал ничком на землю и зарыдал.

Ясно, что эта неортодоксальность Толстого была гораздо ближе Витгенштейну, чем государственное православие позднего Достоевского.

Тем не менее, если говорить об оценке художественных произведений Толстого, то Витгенштейн, сравнивая, например, «Воскресение» и «Хаджи-Мурата», отдавал предпочтение последнему, что говорит о безусловной адекватности его вкуса; идеологическому трактату в форме романа он предпочитал имеющий сугубо эстетические цели дискурс. В письме Норману Малкольму, на которого «Воскресение» произвело впечатление, Витгенштейн писал:

> Однажды я начал читать «Воскресение», но не смог. Видишь ли, когда Толстой просто повествует о чем-либо, он воздействует на меня бесконечно сильнее, чем когда он адресуется к читателю. Когда он поворачивается к читателю спиной, тогда он производит *наиболее* сильное впечатление. […] Его философия представляется мне самой верной, когда она *скрыта* в повествовании (цит по [Малкольм *1993: 49]*).

В соответствии со своей доктриной невысказываемого, Витгенштейн ценит Толстого не там, где он открыто проповедует свои взгляды, а там, где эти взгляды скрыты в «логической форме» его повествования.

Что же скрывает повесть «Хаджи-Мурат»? Прежде всего, мотив *побега, изменения жизни,* являющийся ключевым для всего позднего творчества Толстого («Отец Сергий», «И свет во тьме светит», «После бала», «Живой труп», «Воскресение», «Посмертные записки старца Федора Кузмича») и по понятным биографическим причинам столь значимый для Витгенштейна, в повести «Хаджи-Мурат» воплощен в наименее идеологизированной форме. Совершая побег, переходя от Шамиля к русским, Хаджи-Мурат формально совершает предательство. Но в повести главным является представление о том, что личное право человека на самоопределение, где критерием служит лишь вопрос верности своей натуре, важнее, чем преданность той или иной идеологии и группе (то есть это опять-таки либеральная «приватизация» в рортианском смысле). Все это, безусловно, должно было быть близко Витгенштейну, совершавшему множество побегов, удачных и неудачных, и много раз менявшему свою жизнь.

Тот же факт, что личные биографические перипетии жизни Толстого очень сильно повлияли на Витгенштейна, нам уже известен и не вызывает никаких сомнений. Подобно Толстому, Витгенштейн отказался от имущества и в поздние годы перечеркнул свое раннее учение, подобно Толстому, он преподавал в деревне и не признавал ценностей буржуазной культуры. Поэтому ничего удивительного, что Витгенштейну хотелось побывать на Родине человека, который так много для него значил.

Витгенштейн изучает русский язык

Витгенштейн собирался поехать в Россию не как турист, он одобрял коммунистический режим, хвалил Сталина за то, что «он дал людям работу» и надеялся на то, что работу дадут и ему. Лавры Льва Николаевича, распахивающего в охотку с помощью двух кляч податливую яснополянскую землицу, не давали ему покоя. Такова была трагическая модернистская, можно сказать, мода: если ты писатель, томись в скучном департаменте; если ты философ, то строй дом сестре, а когда дом построен и больше делать нечего, то становись «ассенизатором и водовозом», инженером человеческих душ, врачом ухо-горло-нос или просто чернорабочим. Все эти почтенные профессии требовали одного: знания той знаковой системы, которой пользуются твои будущие коллеги, читатели и пациенты. Поэтому Витгенштейн, прихватив на всякий случай Фрэнсиса Скиннера, отправился на поиски преподавателя русского языка. Он обрел его в Фане Паскаль, жене французского коммуниста Роя Паскаля, украинской еврейке из Харькова, большой поклоннице Советской Власти, предпочитавшей, однако, любить ее на расстоянии (Фаня Паскаль была членом кембриджского Комитета друзей Советского Союза; сейчас, когда прошло уже более 50 лет после фултонской речи Уинстона Черчилля, трудно себе представить, что такой комитет вообще мог существовать). Витгенштейн пустил вперед себя Фрэнсиса. Фаня Паскаль вспоминает:

> Фрэнсис Скиннер позвонил к нам в кембриджский дом, чтобы узнать, не смогу ли я дать ему уроки русского языка. В то время он был аспирантом Тринити-колледжа, исключительно застенчивым и веселым парнем. […] Мне показалось, что запрошенный мной гонорар, обычный по тем временам, был для него слишком высок. «Нельзя ли ходить на эти уроки моему другу? Правда, это еще не точно. Окончательно он еще не решил». — «Приводите его. Для двоих оплата будет такой же…» Кажется, они были благодарны мне, потому что вскоре прислали самую большую из когда-либо мною виденных гортензий. Когда они пришли и постучали к нам в дверь, я совершенно не была готова к тому, что другом Фрэнсиса окажется доктор Витгенштейн *[Паскаль 1993: 100–101]*.

Естественно, что основным персонажем и самым прилежным

учеником («промокашкой», как она называет его в другом месте своих воспоминаний) стал именно доктор Витгенштейн:

> Они приходили раз в неделю на двухчасовой урок: об этом я вспоминаю с удовольствием. В исключительно короткое время они освоили грамматику (чему я особенно люблю учить) и приступили к чтению серьезной русской прозы. Вскоре я могла уже порадовать их сказанной к месту русской пословицей. В будущем мне редко доводилось видеть их такими жизнерадостными. Не могу вспомнить, через сколько […] недель Витгенштейн заболел и, лежа в постели, прислал мне свой перевод с немецкого на русский сказки братьев Гримм (жаль, что Фаня не помнит, какой именно сказки — уж не о двух ли юношах, их лошадях и их лилиях? — *В. Р.)*. Я изумилась и поняла, что, хотя и Фрэнсис стремительно шел вперед, заниматься мне придется с каждым в отдельности.
>
> […] В середине урока подавался поднос с чаем и домашним фруктовым пирогом, пользовавшимся большим успехом. Всякий раз, когда Витгенштейн просил налить ему побольше воды, начинался жаркий спор. «Больше, больше воды», — шумел он, хотя я убеждала его, что в его чашке и так уже одна вода. Тогда он рассказывал анекдот об австрийском крестьянине, который все время просил долить ему в кофе рому («Плесни еще»), пока у него не оказывался чистый ром. Его редкие анекдоты имели такой же невинный характер. Прося добавки пирога, он говорил: «Тот, кто поставил перед тобой вкусную пищу, запоминается надолго».
>
> (…) Вскоре его любимым чтением на русском языке стало «Преступление и наказание» Достоевского. По прошествии более двадцати лет сестра Скиннера миссис Траскотт, встреченная мною тогда впервые, отдала мне экземпляр этой книги, найденный среди вещей брата и принадлежавший Витгенштейну. В нем проставлены все ударения. Как только Витгенштейн убедился в том, что в русском языке нет точных правил ударения, он стал расставлять их сплошняком. Я прочитала с ним несколько отрывков. Проставить ударения в целом романе — по любым меркам подвиг, и самостоятельно ученик не может сделать этого — точнее, если б он мог, в этом не было бы уже необходимости.

> Был ли у него другой учитель русского языка или, что вероятнее, он читал эту книгу с Бахтиным? (Николаем Михайловичем Бахтиным, искусствоведом, жившим в Лондоне и преподававшим в Лондонском университете; братом русского философа М. М. Бахтина, близким другом семьи Паскаль и самого Витгенштейна — *В. Р.)*. Поэзию мы не читали; но однажды он процитировал мне Пушкина. Это, скорее всего, было у него от Бахтина, обожавшего читать вслух русскую поэзию *[Паскаль 1993:104–108]*.

В 1935 году, когда Витгенштейн уже всерьез готовился к поездке в Советский Союз, он настолько хорошо овладел русским языком, что мог уже общаться с советскими функционерами. Когда Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Великобритании Иван Иванович Майский спросил Витгенштейна, как у него обстоит дело с русским языком, тот ответил: «Испытайте меня». После разговора на русском языке Майский похвалил Витгенштейна, сказав, что он говорит совсем неплохо.

Гораздо труднее, чем выучить русский язык, было добиться разрешения на въезд в Советскую Россию.

Был ли Витгенштейн сталинистом?

Летом 1935 года Витгенштейн начал приготовления для предстоящей поездки в Россию. Приготовления эти были своеобразными. Он регулярно встречался с теми из своих друзей, которые, во-первых, были членами коммунистической партии Великобритании (или других стран; Сраффа, например, был членом компартии Италии), и, во-вторых, бывали в Советском Союзе. Он выяснял не только то, какой был политический климат в СССР, но искал связи с людьми в России, которые помогли бы ему и Фрэнсису устроиться на работу. Что это должна была быть за работа, толком никто не понимал, сведения противоречат одно другому. То ли они хотели стать простыми рабочими, то ли учиться на врачей. Но одно было проартикулировано ясно — с философией покончено.

С одним из таких знакомых Витгенштейн советовался, что ему делать со своими рабочими тетрадями по философии, выбросить их или сохранить на всякий случай. Слава Богу, что у этого приятеля хватило ума уговорить 45-летнего максималиста не уничтожать своих рукописей. Имя этого человека Джордж Томпсон — он был коммунист и член общества «Апостолы».

Вообще говоря, Витгенштейн был далеко не одинок в своей неумеренной любви к нашей многонациональной отчизне. Паломничества в СССР совершали в 1920-е и 1930-е годы не только Герберт Уэллс, Анри Барбюс, Бернард Шоу и Андре Жид. Даже такой утонченный человек, как Вальтер Беньямин не удержался от этого. Так что удивляться следует не тому, *что* это, дескать, за парадоксальная мысль пришла в голову сумасброду Витгенштейну, а наоборот, тому, насколько не похоже на него такое следование моде. «Лето 1935 года», пишет Монк, «было временем, когда марксизм для людей, обучавшихся в Кембридже, стал наиболее важной интеллектуальной силой, а поездки в Советский Союз студентов и преподавателей университета носили характер паломничеств» *[Monk 1990: 348]*.

В 1935 году преподаватели Кембриджа Энтони Блант и Майкл Страйт после поездки в СССР организовали ни больше ни меньше, как «Кембриджский кружок шпионов». Шутки шутками, но и на самом деле шпионить в пользу СССР стало на долгие годы модой в Кембридже. Знаменитый Ким Филби, например, был выходцем из Кембриджа и членом общества «Апостолы», которое в эти годы также охватила прокоммунистическая эпидемия.

Как же объяснить эту пламенную любовь европейской элиты к марксизму и СССР? Объяснение состоит прежде всего в том, что

мы привыкли воспринимать враждебность Запада по отношению к Советскому Союзу как нечто универсальное, само собой разумеющееся. Но это ошибка. Враждебность началась только в конце сороковых годов, после фултонской речи Черчилля, в которой была фактически сформулирована идеология железного занавеса. К Советскому Союзу начали плохо относиться только в тот момент, когда его начали бояться. То есть после того, как он победил во Второй мировой войне и подмял под себя пол-Европы. В 1930-е годы все было совершенно по-другому. Советский Союз реально был никому не страшен, во всяком случае, гораздо менее страшен, чем нацистская Германия. Возможно, западные интеллектуалы недооценивали сталинского лицемерия, и все эти «Мы за мир» и т. д. воспринимали как более или менее искренняя риторика. Но, скорее, здесь был более важен экономический фактор. После Великой Депрессии 1929 года Европа и Америка переживали длительный экономический кризис. Уровень жизни был достаточно низким, безработица — очень высокой, рабочее движение существовало отнюдь не на бумаге, как в наши застойные времена, когда на Западе было уже «общество изобилия». Буржуазная идеология в этих условиях переживала неизбежный кризис. Все же, происходящее в России, воспринималось как великий социально-экономический эксперимент, вызывавший симпатию, интерес и уважение. Кроме того, из двух зол — Гитлер или Сталин — выбирали, как они думали, меньшее, то есть Сталина. Покоряла и воодушевляла кембриджских интеллектуалов, которым было тесно в скованных традицией и профессорской мантией университетских кельях, динамика того, что происходило в России с 1917 до 1937 года (до того времени, когда Европа отвернулась от СССР). И опять-таки, мы привыкли воспринимать наше доперестроечное прошлое как тихое затхлое болото. Между тем, застой длился достаточно недолго — с 1968 года по 1985-й год, — всего 18 лет. Действительно, за *эти* 18 лет почти ничего не менялось. Но зато как динамично менялась политика и экономика в Советской России с 1917 по 1956 годы! Другое дело, как и в какую сторону они менялись. Но нам сейчас важно представить, как могла выглядеть наша страна из Европы. Совсем не так, как после Второй мировой войны! Не будем заходить далеко и сошлемся на высказывания нашего героя, которые он «изронил» в своих беседах с Морисом Друри. Прежде всего, Витгенштейн отдал должное памяти В. И. Ленина, о котором он сказал следующее: несмотря на то, что его философские сочинения — абсурд (спасибо хоть на этом!), «он все же хотел что-то сделать» *[Drury 1981: 141]*. Вот это «хотел что-то сделать» очень характерно.

Застой тогда был именно в Европе, а динамизм русских всех на Западе изумлял.

Витгенштейн говорил членам Венского кружка: «Страдания, которые претерпевает Россия, обещают нечто в будущем, в то время как вся наша болтовня бессмысленна»*[Waismann 1967: 142]*.

Вспомним также «кремлевского мечтателя» из книги Герберта Уэллса «Россия во мгле». Ленин во многом производит отталкивающее впечатление своей жесткостью, которая читается у него в лице. И все же, он не может не вызывать уважения своими грандиозными планами, которыми он делится с английским интеллигентом в разрушенной войной и насилием огромной беспризорной стране. Стоя как философ на прагматической позиции, поздний Витгенштейн прежде всего ценил поступок как таковой, *волю* к поступку, а уж потом оценивал его (если оценивал вообще) как дурной или хороший.

Этой идеологией «не-спрашивай-а-делай» очень многое объясняется в политических симпатиях Витгенштейна. Само это выражение родилось из одного путешествия Витгенштейна по Англии, о котором рассказывает в своих воспоминаниях Норман Малкольм. Однажды Витгенштейн устал и зашел в крестьянский дом с просьбой позволить ему отдохнуть и попить воды. Хозяйка приняла его радушно и спросила, не хочет ли он поесть. В этот момент из другой комнаты раздался голос хозяина, который сказал: «Don't ask — give!» *[Малкольм 1993: 86]*. С тех пор эти слова стали одним из главных идеологических лозунгов Витгенштейна.

В том же прагматическом ключе Витгенштейн оценивал сталинский режим до 1937 года. Как вспоминает один из учеников и душеприказчиков Витгенштейна Раш Рис, Учитель отозвался о гении всех времен и народов таким образом: «Сталин дал людям работу, что важнее всего», а «тирания меня не возмущает» *[Rhees 1981:226]*. Благодаря этому высказыванию, Дж. Моран, автор статьи «Витгенштейн и Россия», ставит вопрос о том, был ли Витгенштейн сталинистом. В конце статьи он отвечает на этот вопрос отрицательно, но характерна сам постановка проблемы. Каково было отношение Витгенштейна к политическому насилию, неизвестно. Можно предположить, что под словом «тиран» подразумевалась фигура вроде Наполеона, то есть нечто романтическое. Однако существуют высказывания Витгенштейна и о Гитлере. Когда в конце апреля 1945 года всем было уже ясно, что Гитлеру пришел полный капут, зверя затравили в его собственной берлоге, Витгенштейн с большой озабоченностью высказался о своем бывшем «однокорытнике» (не забудем, что Витгенштейн и Гитлер учились в одной школе в

Шарлоттенбурге): «Представляете, в каком ужасном положении должен находиться сейчас такой человек, как Гитлер» *[Drury: 163]*. Наконец, по воспоминаниям Р. Риса, сравнивая вышедшие одновременно две книги — «Mein Kampf» Гитлера и «Realpolitic» чешского лидера Бенеша, — Витгенштейн, указывая на первую, сказал: «И все же это нечто гораздо более *дельное* (business-like) (курсив мой — *В.* Р.)» *[Rhees 1981: 225]*.

Интересно, что, побывав в России, Витгенштейн остался неравнодушен и к московской идеологической архитектуре. Так, в разговоре с Друри он высказался относительно Мавзолея Ленина в том духе, что «эта могила в центре Москвы имеет совсем неплохой дизайн». Ему также понравился Храм Василия Блаженного («Moscow Cathedral»), и он с увлечением пересказывал Друри известную легенду о том, как Иван Грозный приказал ослепить двух зодчих этого Храма, Постника и Барму, для того чтобы они не смогли построить ничего лучшего. Витгенштейн настаивал на том, что, по его мнению, эта легенда должна быть правдивой. Добряк Друри дивился такой кровожадности Витгенштейна.

Тем не менее, несмотря на все вышеприведенные «порочащие» факты, Рэй Монк, например, рассматривает отношение Витгенштейна к России вовсе не как однозначно апологетическое. По его мнению, взгляд Витгенштейна на Россию был скорее шпенглерианским, чем марксистским. Развитие этого взгляда — не политического, а историко-культурного — Витгенштейн нашел в опубликованной еще в 1927 году книге Кейнса «Краткий взгляд на Россию», где марксизм рассматривался как своего рода религия, а отнюдь не работающая экономическая стратегия, и говорилось о том, что Россия по своему развитию моложе европейских государств и поэтому от нее можно ожидать много нового и интересного (отсюда, по-видимому, и реплика Витгенштейна о том, что страдания принесут России нечто новое). В заключение Кейнс призывает к терпимости по отношении к России (возможно, отсюда идея Витгенштейна, что его не пугает «тирания»). Сходные идеи о России и о советском марксизме высказывались в 1920-е годы Н. А. Бердяевым в книге «Смысл истории: Опыт философии человеческой судьбы» *[Бердяев 1924],* Арнольдом Джозефом Тойнби в 1930-е, и Л. Н. Гумилевым в 1960-е. Таким образом, взгляд на Россию как на нечто особенное (даже если не касаться Данилевского и евразийцев) в XX веке был весьма распространен. Бердяев и Тойнби отождествляют советский марксизм с ранним христианством, не замутненным паулинизмом и еще слабо вовлеченным в агностический круг мыслей *[Тойнби 1989],* Л. Н.

Гумилев, так же, как Кейнс, доказывает молодость российского этноса, а отсюда и беспорядок, «ветер в голове» молодого государства (как писал саркастически А. К. Толстой якобы про китайцев, но подразумевая Россию:

Но мы ведь слишком млады,
Нам пять лишь тысяч лет.
Затем и нет в нас складу,
Затем порядку нет.)

и ожидание великих перемен в будущем.

Все эти представления о России складывались в целостную ментальную систему, одним боком связывались с толстовством и поэтому, как можно предположить, были чрезвычайно близки Витгенштейну, который так высоко ценил Шпенглера, являющегося, безусловно, отцом всех этих идей.

Может быть, поэтому Витгенштейн писал Кейнсу, что он, вероятно, поймет причины его желания поехать в Россию и что эти причины лишь на поверхности и лишь отчасти можно рассматривать как детские, но на самом деле они достаточно глубоки и этически оправданны.

Витгенштейн готовится к поездке

Кейнсу не понравился план Витгенштейна ехать в Россию. Тем не менее, он взялся помочь ему установить контакты с функционерами советского посольства в Лондоне. Первый, с кем встретился Витгенштейн в советском посольстве, был некто Vinogradoff, который, по словам Витгенштейна, разговаривал с ним весьма осторожно, и несмотря на то, что Витгенштейну было ясно, что Vinogradoff знает, какие рекомендации нужно дать для того, чтобы облегчить человеку возможность поехать в Советский Союз, он этих рекомендаций не дал и никакого желания помогать Витгенштейну у него не возникло. Тогда Кейнс, который был, по всей видимости, знаком в Лондоне *со всеми,* написал письмо послу СССР в Великобритании Майскому, где рекомендовал ему профессора Витгенштейна, «своего старого и очень близкого друга», который «не является членом Коммунистической партии, но горячо верит в новые преобразования, проводящиеся в Советской России».

Перед встречей с Майским Кейнс наставлял Витгенштейна в том духе, что несмотря на то, что Майский — коммунист, все равно он дипломатическое официальное лицо очень высокого ранга и называть его надо не иначе как «Ваше Превосходительство». И вообще было бы неплохо по такому случаю надеть галстук. Витгенштейн выполнил все наставления. Он надел галстук, вероятно, впервые за последние 25–30 лет своей жизни, и постоянно называл Майского «Его Превосходительством», но все равно беседой остался недоволен. Как писал Витгенштейн Патиссону, он был так взволнован, что, *уходя* из кабинета Майского, он тщательно вытер подошвы ботинок о коврик *[Monk 1990: 349]*. В письме Кейнсу, отчитываясь о визите к Майскому, Витгенштейн писал, что посол был с ним очень приветлив и обещал дать адреса тех людей в Москве, с которыми Витгеншетйн мог бы связаться. Что касается намерения Витгенштейна устроиться на работу в Москве, он сказал, что этот проект не является невозможным, но никаких обещаний по этому поводу не дал.

Кроме этих не слишком обнадеживающих встреч в советском посольстве, Витгенштейн еще пытался связаться с Обществом по Культурным связям с Советским Союзом (членом этого общества была Фаня Паскаль). Это общество носило не политический, а общекультурный характер, поэтому там было много некоммунистов (тот же Кейнс, например). 19 августа Витгенштейн вступил в контакт с Хильдой Браунинг, вице-

председателем Общества. На следующий день он писал Патиссону:

> Мое интервью с мисс Б. прошло лучше, чем я ожидал. По меньшей мере, я получил одну полезную информацию: что единственный шанс получить разрешение на постоянное проживание в России — это поехать туда в качестве туриста. […] Мисс Б. также обещала мне дать два рекомендательных письма. В конечном счете, это лучше, чем ничего. Но в целом это и ничего конкретного не означает, и я до сих пор не понимаю не только того, что они мне разрешат, а что нет, но и того, чего я, собственно, хочу сам. […] Я чувствую себя совершенным ослом и вообще у меня довольно отвратительно на душе *[Monk 1990: 350]*.

Теми официальными советскими учреждениями, куда Витгенштейну обещали дать рекомендации, были Институт Севера и Институт национальных меньшинств. Это были институты, ориентированные на повышение грамотности этнических меньшинств в Советском Союзе. Но Витгенштейн меньше всего хотел преподавать. Скорее, он хотел добиться того, чтобы его отправили на Север, чтобы там изучать язык и мышление этих самых национальных меньшинств. Здесь следует обратить внимание на его работу начала 1930-х годов «Заметки о «Золотой ветви» Фрэзера», в которой Витгенштейн ругает своего соратника по Кембриджскому университету за то, что тот проявил полнейшее буржуазное непонимание по отношению к обрядам дикарей. Это вульгарное, свысока, отношение к дикарям, по мнению Витгенштейна, самого Фрэзера превращает в дикаря:

> Фрэзер не может представить себе другого служителя культа, кроме английского пастора своего времени со всей его глупостью и вялостью. […]
>
> Фрэзер — дикарь в большей степени, чем любой из его дикарей, потому что они отошли от понимания обстоятельств, имеющих отношение к духовным ценностям не так далеко, как англичанин XX века. Его объяснения примитивных обрядов еще более грубы и невежественны, чем смысл этих обрядов *[Витгенштейн 1990: 253]*.

В этих фрагментах чувствуется не только неприязнь Витгенштейна к Фрэзеру, но и его явная симпатия к дикарям. Можно предположить, что и скептическое буржуазное отношение

к русским «дикарям» со стороны английского общества вызывало аналогичное возмущение Витгенштейна, и, возможно, одним из глубинных мотивов его поездки в Советский Союз было желание «доказать», что русские — дикари не в большей мере, чем цивилизованные англичане «со всей их глупостью и вялостью».

Так или иначе, Кейнс не раз предупреждал Витгенштейна: если что и облегчит ему путь в Россию и тем более натурализацию в ней, так это то, что он представит свою персону в качестве образованного интеллигента, «спеца», все же его попытки стать рабочим или колхозником (а у Витгенштейна была и такая идея: стать советским «фермером», подобно героям шолоховской «Поднятой целины») обречены на провал.

Витгенштейн в Советском Союзе

Витгенштейн отправился на пароходе в Ленинград (подобно маршаковскому мистеру Твистеру) 7 сентября 1935 года. В Лондоне его провожал Гилберт Патиссон. Фрэнсис тяжело заболел и не смог принять участие в поездке. Тем не менее, считалось, что Витгенштейн будет искать в Советском Союзе работу для них обоих. Из подробностей путешествия известно, что последним на корабль сел американский священник греческой православной церкви, он оказался рядом с Витгенштейном. Витгенштейн, казавшийся подавленным и озабоченным, сидел на своем месте, молча уставившись в пространство и не говоря ни слова до тех пор, пока в один прекрасный день не решил вдруг представиться священнику, для чего, приподняв руку, воскликнул: «Витгенштейн!», — в ответ на что священник назвал свое имя. Остаток пути был проведен в молчании *[Monk 1990: 351]*.

Витгенштейн прибыл в Ленинград 12 сентября. Здесь он посетил Институт Севера, а также отдал визит университетскому профессору философии Татьяне Горнштейн. В университете ему предложили читать курс философии *[Monk 1990:351]*.

В Москве состоялась известная встреча с профессором математической логики Софьей Яновской, с которой он потом переписывался и посылал ей (она была больна диабетом) лекарства из Англии. Когда он пришел на философский факультет Московского университета и представился, Яновская воскликнула: «Нет, не может быть, неужели тот самый великий Витгенштейн?» (во всяком случае, так «великий Витгенштейн» описал эту встречу Фрэнсису Скиннеру, а Фрэнсис, выполняя его поручение, все его рассказы о России передал Фане Паскаль — так они дошли до нас). Опомнившись от вида классика, после продолжительной дружественной беседы, посвященной актуальным проблемам современной философии, Софья Яковлевна вздохнула и посоветовала Витгенштейну «больше читать Гегеля». Вероятно, наш герой был фраппирован этим предложением, но старая диаматчица невольно заглянула на несколько десятилетий вперед: Гегель и Маркс стали модными даже среди первого поколения учеников Витгенштейна, например, у фон Вригта и Рубинстайна; что касается современных философов постструктуралистов и постмодернистов — Жака Деррида, Жана Бодрийяра, Славоя Жижека, — Гегель и Маркс для них, безусловно, самые престижные фигуры, наряду с Фрейдом и Лаканом. Однако в те времена, о которых мы рассказываем, люди

были проще, и, вероятно, Витгенштейна несколько охладили такие ортодоксально-совковые заходы.

Яновская вспоминала также, что Витгенштейн отзывался одобрительно о диалектическом материализме, причем Рэй Монк считает, что она лгала. Но если хочешь найти работу, отзовешься положительно о чем угодно. Да и о чем ему еще было положительно отзываться? О Гуссерле? В Москве ранней осенью 1935 года одобрительных отзывов о Гуссерле не поняли бы. Между тем, Витгенштейн утверждает, что через Яновскую ему предложили (это уже какой-то снежный ком!) *кафедру* (то есть заведовать кафедрой) в Казанском университете, куда он ездил, чтобы побывать в университетском городе, где учился Толстой, а также — место преподавателя в Московском университете. Понятное дело, Витгенштейн наотрез отказывался, говоря, что ему что-нибудь попроще, землицы бы в Костромской губернии или фрезерный станок на заводе имени Д. И. Лихачева, но русские товарищи дали ему понять, что в качестве рабочего и колхозницы он в России не нужен (своих девать некуда — уж и так морили их, морили!) и если не хочет кафедру в Казани, то пусть лучше едет обратно в Тринити-колледж к английским товарищам.

17 сентября, будучи еще в Москве, Витгенштейн получил письмо от Фрэнсиса, который подбадривал его и советовал оставаться в Союзе до тех пор, пока он не найдет работу. Из этого письма следует, что они с Фрэнсисом собирались в Россию только со следующего учебного года, когда у Фрэнсиса закончится трехгодичная аспирантура, а у Витгенштейна — пятилетняя стипендия. Ближайшую же зиму они намеревались провести в работе над «Коричневой книгой». То есть у Витгенштейна было, видимо, решено так. Закончить второй фундаментальный труд (нечто вроде будущих «Философских исследований») и по наработанному еще 15 лет назад алгоритму после тяжелой философской работы вновь оставить это занятие и (как пятнадцать лет назад в деревню) отправиться на отдых в Страну Советов. Однако история не повторилась, к счастью. Тех нескольких недель, что Витгенштейн пребывал на нашей Родине, оказалось ему достаточно, чтобы понять — «нас здесь не поняли». Советская Россия почудилась едва ли не еще более буржуазной и аристократичной, чем Англия. Этого Витгенштейн не ожидал. Им, видите ли, не нужен философ-колхозница, им подавай буржуазного спеца профессора Витгенштейна, чтобы учить рабфаковцев уму-разуму. Нет, товарищи, так не пойдет. Не пускаете в колхоз, не надо. Лучше он поедет обратно в Кембридж и будет в его спертой буржуазной атмосфере «вырабатывать свой

кислород».

Витгенштейн покидал Россию без сомнений и колебаний. За неделю до отъезда он пишет Гилберту Патиссону:

> Завтра вечером я уезжаю из Москвы (я остановился в комнатах, в которых жил Наполеон в 1812 году) (это, конечно, весьма существенно — *В. Р.)*. Послезавтра мой корабль отплывает из Ленинграда, и мне только остается надеяться, что Нептун не осерчает, увидев меня. Мой корабль прибывает в Лондон в воскресенье 29 сентября. […] Я с надеждой гляжу в будущее и с радостью вновь увижу твою чертову физиономию. Как всегда, чертовски твой Людвиг *[Monk 1990: 352]*.

После возвращения в Англию Витгенштейн редко обсуждал свою поездку в Россию. Он не хотел, среди прочего, чтобы его имя использовали в антисоветской пропаганде. Но тот факт, что он этого боялся, говорит сам за себя.

Седьмое рассуждение о формах жизни

Наше справедливое удивление по поводу того, что Витгенштейн (оказывается!) не был «демократом», основано на историко-психологической аберрации: если — «хороший», значит за либеральные экономические преобразования, за рынок и свободу слова. Но это сейчас Запад живет припеваючи, а мы склонны экстраполировать это представление и на 1920-е, и на 1930-е годы, когда страны западной Европы и Америки были в достаточно глубоком экономическом и духовном кризисе. Тоталитарные режимы в каком-то смысле и смогли развиться благодаря этому кризису. Не будем забывать, что формально Гитлер пришел к власти законным путем, то есть определенная часть немецкого населения хотела диктатуры.

Витгенштейн не мог быть *демократом* хотя бы уже по одному тому, что он был *аристократом,* сыном миллионера. Только аристократ может выбросить свои деньги на помойку или отдать другим — это чисто аристократический жест. Демократия, наоборот, вся построена на идее наживы. Пламенный демократ, русский поэт Николай Алексеевич Некрасов был буквально помешан на деньгах. «Миллион был его злым гением», — писал о Некрасове очень любивший его Достоевский.

Если кому-то придет в голову, что, конечно, маловероятно, заглянуть в письма М. Е. Салтыкова-Щедрина, тоже демократа, изобличителя пороков царизма и т. д., тот сможет прочитать послания Михаила Евграфовича к своему управляющему в деревню, в которых великий сатирик в весьма строгих выражениях требует незамедлительного и стопроцентного сбора оброка.

Также никогда не был демократом Л. Н. Толстой. Максим Горький вспоминал, как однажды, еще будучи не певцом Беломоробалтстроя, а ницшеанствующим босяком, он приехал в гости к Толстому в Ясную Поляну. В разговоре с Горьким Толстой в изобилии пользовался матерной лексикой. Горького это очень неприятно задело, так как он решил, что Толстой подделывается под язык простонародья. Горький не понимал, что Толстой, наоборот, говорил с ним так, как говорят с равными в светском салоне.

Аристократ может стать нигилистом, нищим («Принц и нищий»), но аристократ не может стать демократом. В этом случае он потеряет свою социально-психологическую идентичность.

Россия — аристократическая страна, и СССР был тоже

аристократической страной. Но беда в том, что в 1930-е годы в Советском Союзе начали появляться ростки буржуазности. Если бы Витгенштейн приехал в Россию до нэпа, он, возможно, и остался бы. Но «*до* нэпа» и *«после* нэпа» — это разные вещи. «Сталин дал людям работу». Это было правдой. В России 1930-х годов, так же как и в нацистской Германии, практически не было безработных. Да, но зато там был паспортный режим. То есть в 1930-е годы городскому рабочему было чрезвычайно трудно перейти на другое место работы, а колхознику, у которого отбирали паспорт, вообще невозможно. Фактически, это было крепостное право. Но ведь Витгенштейн утверждал, что «тирания его не волнует». Интересно все же, сам ли Витгенштейн принял решение не переезжать в Россию насовсем или он был вынужден так поступить, потому что понял, что работы ему не найти? Что же, получается, он согласился бы стать крепостным колхозником, если бы советские власти на это пошли? Но ведь он был иностранцем, австрийским подданным, никакое «крепостное право» реально ему не грозило. Так что все это, увы, напоминает все того же Льва Николаевича — распашку яснополянской землицы под восхищенные взоры «из окон курьерского поезда» (по известному анекдоту).

Гораздо более удивительно другое, а именно, что Витгенштейну предлагали место практически во всех университетах, куда он являлся. Как же так: буржуазный философ, субъективный идеалист? Но, строго говоря, Витгенштейн не был ни буржуазным философом, ни субъективным идеалистом. Буржуазные философы — это метафизики, неокантианцы, это Гуссерль, Фрейд, может быть даже Рассел, Карнап и Шлик. А Витгенштейн — не буржуазный философ, это какой-то аристократ-пролетарий, «бывший князь, а ныне трудящийся востока». Трудно сказать, что именно знали про Витгенштейна в академических философских кругах Советского Союза середины 1930-х годов. Возможно, могли знать о его расхождениях с Венским кружком, то есть с буржуазной философией. В любом случае, в 1935 году в Советском Союзе вряд ли понимали, что существует некая новая и безусловно буржуазная философская парадигма — лингвистическая философия, — и что Витгенштейн один из ее родоначальников.

Что касается субъективного идеализма, то даже при всей неприемлемости этого термина применительно к философии XX века, им можно «обозвать», например, Рассела, но никак не Витгенштейна, который еще в «Трактате» писал, что материализм (реализм) и солипсизм совпадают, если они строго продуманы. Конечно, это не тот взгляд, который был бы приемлем для

диалектического материализма. Но это безусловно в гораздо большей мере диалектический взгляд на вещи, чем, например, утверждение Рассела, что истории не существует. Витгенштейн вообще никогда всерьез не занимался онтологическими вопросами, его прежде всего интересовала философия языка, то есть, точнее говоря, его философия всегда принимала облик философии языка. Как же обстояло дело с философией языка в стране победившего социализма? После ссылки М. М. Бахтина (он же Н. В. Волошинов, автор книги «Марксизм и философия языка») — никак. В самом же языкознании победно шествовал марризм, одной из основных идей которого была идея борьбы с буржуазной наукой, то есть в первую очередь со сравнительно-историческим языкознанием и в меньшей мере со структурной лингвистикой (ее как-то вообще не замечали). Вообще советскую науку 1930-х годов можно обвинить во всем, чем угодно, но только не в отсутствии авантюризма. Лысенко — это марризм в биологии, Мичурин — в ботанике, вульгарный социологизм в литературоведении — разновидность авангарда. Разве нельзя сказать, что в эту причудливую нигилистическую советскую науку Витгенштейн вписывается в большей степени, чем в чопорную кембриджскую науку «со всей ее вялостью и глупостью»? Так что, как это не удивительно, но, прогнав Бердяева и компанию, сослав на Соловки последнего русского идеалиста А. Ф. Лосева и расправившись с Флоренским, Советы вполне могли принять такого знаменитого варяга, каким был Витгенштейн. В конце концов, чем они рисковали? Всегда же можно прогнать!

Тем более, что человек открыто и искренне декларирует свою лояльность режиму и диалектическому материализму, одобряет советский образ жизни и хочет влиться в ряды рабочего класса или колхозного крестьянства. Не будем забывать, что Витгенштейн из одной *формы жизни* (кембриджской) собирался перейти в другую *форму жизни* (советскую). Как можно реконструировать его представления об этих противоположных формах жизни? Буржуазная Англия для Витгенштейна — это царство неискренности, закрытости, спертости, мертвенности, стагнации. Все затянуты в корсеты и галстуки, все — дураки, трусы и лицемеры (в 1942 году на вопрос его знакомой по Гай-госпиталю, где он работал санитаром, сколько человек, по его мнению, понимает его философию, Витгенштейн ответил — два: один из них — Гилберт Райл, второго он отказался назвать; скорее всего, вторым был он сам). А в Советской России он в своей рубахе с отложным воротником, грубых ботинках и мятых брюках будет гораздо в большей степени соответствовать тамошней *форме жизни.* В Советской России господствует

открытость, динамизм (сегодня Сталин с Бухариным топят Троцкого, завтра, глядишь, уже Сталин топит Бухарина), все ходят в смазных сапогах, едят картошку с салом и играют на гармошке. Правду-матку режут в открытую, в кусты не бегут, а чуть что, сразу в морду. Аскетизм, презрение к деньгам и вообще любым материальным ценностям, к мещанству, одним словом. Стремление к правде и справедливости. Все это Витгенштейну вполне импонировало. Разве он мог знать что, когда в городе играют на гармошке, в деревне голодают. Что аскетизм и презрение к деньгам среди массы населения у избранных компенсировались бесплатными кормушками. Это бы ему уже не понравилось. Это не есть справедливо. Тирания не страшит, когда на ней треугольная шляпа и серый походный сюртук. Когда же тирания — доносы друг на друга по пустякам и аресты, то это нечестно, товарищи. Я с вами в такую языковую игру не играю! Недаром свои интенции по отношению к России Витгенштейн в письме к Кейнсу, проговорившись, назвал детскими. Они и были детскими и безответственными. Подобно отношениям с Фрэнсисом, письмам к Патиссону («буду рад вновь увидеть твою чертову физиономию») и общению с сумасшедшими в клинике Друри (которые, конечно же, в сто раз умнее, чем их врачи). Безответственным и несерьезным был и самообман, связанный с очередной попыткой уйти от исполнения своего долга (на сей раз уйти не на фронт и не в австрийскую деревню, а к фрезеровско-левибрюлевским «дикарям» — изучать «ндравы»). В очередной раз собираясь покончить с философией, Витгенштейн не хотел понимать цикличности своего характера, не хотел понимать, что это желание убежать, происходящее от того, что часть вопросов уже решена, пройдет со временем, и придется вновь возвращаться к тому месту, с которого решил убежать в сторону, и начинать все сначала.

Действительно, характер Витгенштейн, если отбросить в сторону его педантизм, — это вполне русский характер: или все, или ничего. Но с таким характером не то что в России — в Австралии было бы жить небезопасно. Но он жил в Англии, продолжая любить Советский Союз. Началась Вторая мировая война, потом Великая Отечественная.

Витгенштейну оставалось жить около десяти лет.

Экскурс II. «Философские исследования»

ФИ начинаются неожиданно огромной цитатой из Святого Августина, которая одновременно является неким эпиграфом ко всему тексту. Вот этот фрагмент из Августина, который цитирует Витгенштейн:

> Наблюдая, как взрослые, называя какой-нибудь предмет, поворачивались в его сторону, я постигал, что предмет обозначается произносимыми ими звуками, поскольку они указывали *на него,* А вывод этот я сделал из их жестов, этого естественного языка всех народов, языка, который мимикой, движениями глаз, членов тела, звучанием голоса выражает состояние души — когда чего-то просят, получают, отвергают, чуждаются. Так постепенно я стал понимать, какие вещи обозначаются теми словами, которые я слышал вновь и вновь произносимыми в определенных местах различных предложений. И когда мои уста привыкли к этим знакам, я научился выражать ими свои желания *[Витгенштейн 1994: 80]* (здесь и далее мы пользуемся переводом ФИ, опубликованным в книге *[Витгенштейн 1994])*.

Здесь запечатлена картина языка, подробно проанализированная в «Логико-философском трактате»: каждое слово имеет свое значение, которое соответствует своему предмету. Каждое предложение выражает некое положение вещей или ситуацию, истинную или ложную. Такую картину действия языка Витгенштейн в ФИ полностью отвергает.

Начинает он с того, что, по его мнению, существуют принципиально различные типы слов. Анализируя употребление предложения «Пять красных яблок», которое написано на записке, отдаваемой продавцу-зеленщику, он говорит, что слово «пять» употребляется совсем по-другому, чем слово «яблоко». Слову пять, взятому в отдельности, не соответствует никакая предметная область. Нельзя сказать «Это — пять». Вас обязательно спросят: «Пять — чего?». «Пять», таким образом, близко к тому, что Р. О. Якобсон называл «шифтерами», словами, употребление которых зависит от рядом стоящих слов. *Яблоко* можно положить на прилавок, можно съесть *пять яблок,* но нельзя положить *пять* или съесть *пять.* К таким же словам относятся слова «туда» и «это», которые Витгенштейн рассматривает в разделе 8. При слове «туда» надо обязательно

указать, куда именно.

Пафос ФИ в том, что в соответствии с идеей, которую Витгенштейн здесь защищает, все слова обозначают по-разному, в зависимости от их конкретного употребления (позже он так и говорит, что значение это и есть употребление), в зависимости от того речевого контекста, который Витгенштейн называет языковой игрой и формой жизни. То есть язык понимается не как некоторая имманентная система знаков, которая изоморфна отображаемому им миру, — такова была точка зрения «Трактата» — язык это форма жизни, ее часть. Что это значит?

Предположим, имеется выражение «Я не желаю ничего иметь с вами общего и ухожу отсюда навсегда» и, с другой стороны, типовая ситуация, когда человек, желая сказать примерно то же самое, просто громко хлопает дверью и уходит. С точки зрения классической концепции «Трактата», второе вообще не имеет отношения к языку, это полностью сфера действий, жизнь. С точки зрения концепции, которую Витгенштейн развивает в ФИ, и первая фраза, и второе действие суть формы жизни. И это синонимичные формы жизни. Можно сказать даже, что это одна и та же языковая игра, так сказать, разные ее партии. В одном случае, человек может просто уйти и хлопнуть дверью. В другом случае, он может сказать: «Я больше не желаю иметь с вами ничего общего», — хлопнуть дверью и уйти. Это будет примерно одно и то же. Но если человек сказал: «Я не желаю иметь с вами ничего общего и ухожу отсюда», — и при этом остается на месте, то это будет какая-то другая языковая игра. Может быть, этот человек — истерик, и ему важно просто произнести какие-то броские слова, пытаясь произвести впечатление на окружающих. И он уверен, что как только он произнесет эти слова, все сразу кинутся к нему и станут его упрашивать не покидать их и просить прощения за совершенные ими ошибки. В этом случае фраза «Я не желаю иметь с вами ничего общего…» будет включена уже совсем в другую языковую игру. А может быть и так, что окружающие, вместо того, чтобы уговаривать произнесшего эту фразу, скажут (или один из них скажет): «Вы полагали, что мы сейчас бросимся отговаривать вас, но вы ошибаетесь, мы сами не желаем иметь с вами ничего общего — так что убирайтесь отсюда!»

Слова это поступки. Витгенштейн сформулировал эту максиму еще в 1930-е годы. Слова такие же поступки, как действия. Предложения складываются в различные более устойчивые или менее устойчивые языковые игры. При этом может быть не произнесено ни единого слова, а языковая игра будет сыграна. Например, в карты можно играть молча. Или

заниматься любовью. Ведь и в том, и в другом случае есть свои правила. (Понятие правила является одним из ключевых в ФИ. Его Витгенштейн анализирует ниже.) Например, если в одном случае человек говорит другому: «Я вас ненавижу», — а в другом просто дает пощечину, то и в том, и в другом случае перед нами языковые игры, хотя во втором случае может быть не сказано ни слова.

Отсюда следует важнейшая закономерность. Язык — часть реальности. Реальности без языка не существует. Языков очень много. С точки зрения такого понимания онтологии, бессмысленно утверждать: «Это просто молоток, просто молоток и все, здесь нет никакого языка, это молоток, он сделан из железа и дерева, им забивают гвозди, в крайнем случае им можно проломить голову, но язык здесь ни при чем». Посмотрим, как подобный взгляд может быть подвергнут критике с точки зрения концепции позднего Витгенштейна. Мы можем сказать: «Вы утверждаете, что молоток не имеет никакого отношения к языку. Но ведь молоток — это прежде всего слово в языке, как же оно может не иметь никакого отношения к языку? Более того, если бы кто-то когда-то не придумал слово «молоток», не было бы и самого молотка. Слово «молоток» более фундаментально, чем сам молоток. Теперь вы говорите, что при помощи молотка можно совершать различные действия. Но откуда мы узнаем об этих действиях, как не из языка? Кто-то видит, как человек забивает молотком гвоздь. Если нет языка, то некому сказать и даже помыслить, что некто забивает молотком гвоздь». Вот так или примерно так с позиций позднего Витгенштейна можно осадить поборника «внеязыкового молотка».

Но что же тогда получается: что в самом деле нет никакого различия между языком и реальностью? Нет, различие, безусловно, есть, но оно пролегает в совершенно другой плоскости. Реальность тогда является или кажется, видится реальностью, когда нет нужды в понимании или понимание невозможно. Допустим, вы путешествуете по стране, язык жителей которой вам неизвестен. Вы идете по городу, и дом для вас просто дом, а площадь просто площадь. Вы внутренне не называете их. Или наоборот, вы идете по городу, знакомому вам с детства. Вы проходите по улицам, идете мимо зданий, которые видели тысячу раз, и они становятся внеположными вашему сознанию. Вы ничего не *говорите* и не думаете. Конечно, строго говоря, всю равно имеет место какая-то языковая игра, потому что ведь прогулка по городу — это тоже некая форма жизни. Но эта языковая игра в данном случае является стертой.

Можно сказать так. Реальность начинается тогда, когда вы

перестаете понимать язык или отказываете ему в том, чтобы он был языком. Например. Вы слушаете авангардную музыку и слышите только раздражающий вас набор звуков. Музыкальный язык превращается в реальность. И наоборот, там, где начинается понимание, там проступает язык и отступает реальность. Если по лесу или лугу идут двое людей и один из них натуралист, а другой ничего не понимает в растениях, то для второго окружающее скорее будет реальностью, а для первого — скорее языком. То есть деление на язык и реальность в аналитической философии проходит не по онтологии, а по прагматике (см. подробное обоснование этой позиции в книге *[Руднев 1996]).*

Из сказанного следует важная особенность философского мировоззрения Витгенштейна. Эта особенность заключается в том, что Витгенштейн не является ни идеалистом, ни материалистом в классическом смысле. И то и другое предполагает большую фундаментальность одного понятия (например, материи) по сравнению с другим (например, сознания). What is mind? — No matter. What is matter? — Never mind. Так шутили еще во времена молодости Рассела и Мура. «Что такое сознание? — Не важно (дословно: не материя). Что такое материя? — Не имеет значения (дословно: никоим образом не сознание)». Для философа-аналитика идеализм и материализм это тоже языковые игры, которые могут перетекать одна в другую. Потому что одно — это обратная сторона другой. Последнее Витгенштейн подчеркнул еще в «Трактате», когда написал, что материализм и идеализм (у Витгенштейна — реализм и солипсизм) в сущности одно, если они строго продуманы.

Таким образом, первый шаг, который делает Витгенштейн в начале «Философских исследований», это размежевание с «Трактатом», облекаемое им в форму полемики с пониманием языка, выраженном в «Исповеди» Августина. Надо сказать, что Августин для Витгенштейна был ключевой автор и большой авторитет, поэтому не стоит думать, что Витгенштейн порывает со всем, что сказано в «Трактате». Напротив, если бы не было «Трактата», не было бы и ФИ. И многое из того, что сказано в ФИ, уже предсказано в «Трактате». Незадолго до смерти Витгенштейн говорил о том, что счел бы правильным, если бы «Трактат» и ФИ печатались вместе. Как странно, что ни в одном классическом издании Витгенштейна это столь естественное желание не выполнено. Исключение — это русское издание *[Витгенштейн 1994],* которое, к сожалению, во всем остальном является настолько слабым изданием, что указанная особенность может быть отнесена на счет случая.

Продолжая и развивая философскую метафору языковой

игры, в частности, говоря об идее разнообразия языковых игр, Витгенштейн приводит знаменитый пример, где язык сравнивается с городом:

> Наш язык можно рассматривать как старинный город: лабиринт маленьких улочек и площадей, старых и новых домов, домов с пристройками разных эпох; и все это окружено множеством новых районов с прямыми улицами регулярной планировки и стандартными домами *[Витгенштейн 1994: 106[*.

Действительно, даже естественный язык, язык, так сказать, в узком смысле, построен именно таким образом. Возьмем, например, словообразование и лексику. Есть слова, значения которых образуют строгую систему, например, термины родства. Есть стандартные продуктивные словообразовательные форманты, например, суффиксы, похожие на те прямые улицы регулярной планировки, о которых говорит Витгенштейн. Скажем, это суффикс, означающий «делателя» (nomen agentis). Таким суффиксом, например, является — *тель*: учитель, даритель, хулитель, старатель, фотолюбитель, отравитель, вдохновитель, вольнослушатель, прорицатель, хлебозаготовитель. Это суффикс исконно русский. А вот его иностранный аналог, который прочно вошел в русский язык из французского: — *ор*(*-ёр/ер*). Это тоже суффикс nomen agentis и тоже весьма продуктивный и стандартный: актер, режиссер, автор, коррупционер, цензор, собкор, шахтер, репортер, импортер, церемонимейстер, модельер, офицер, розенкрейцер, вахтер, мушкетер, бухгалтер. Но есть в естественном языке и аналоги кривым покосившимся улочкам. Например, слова типа *любовь* образовались очень давно и сохранилось всего несколько слов с таким суффиксом — *овь*: кровь, морковь. Это старый непродуктивный суффикс.

Но, конечно, Витгенштейн имел в виду не только естественный язык, когда сравнивал язык с городом. Можно сказать, что объектом его сравнения было все семиотическое пространство, вся семиосфера (как это называл Ю. М. Лотман *[Лотман 1996])*. Действительно, вдумаемся в то, как построены наши языковые игры. Одни из них являются играми в узком смысле и имеют разветвленную систему правил. Это спортивные игры, которые собирают за телеэкраном миллионы зрителей. Это карточные игры, шахматы. А вот детские игры во дворе уже не требуют такой жесткой системы правил. Правила там могут придумываться на ходу, если дети, играя, импровизируют. Когда они говорят: «Давай играть, что ты будешь тем-то, а я тем-то».

В определенном смысле можно сказать, что город, о котором

говорит Витгенштейн, это человеческая культура, где соседствует ультрамодное и архаическое, утонченное и банальное, аристократическое и демократическое, правое и левое в политическом смысле. В культуре есть люди, которые следуют за стандартом и читают одни и те же книги, смотрят одни и те же телепередачи, носят похожую одежду, и есть маргиналы, которых иногда становится довольно много, и они образуют свою субсистему, субкультуру (или контркультуру), как было, например, с хиппи.

Вся совокупность естественных человеческих языков также образует нечто весьма разнородное. Одни языки имеют много носителей и являются международными языками. Другие языки умирают, как, например, латышский или ирландский. Третьи настоль экзотичны, что мы о них практически ничего не знаем. Одни языки очень сильно похожи друг на друга, другие настолько непохожи, что порой сомневаешься, а язык ли это вообще или какое-то гортанное клокотание. Кстати, об этом когда-то писал и сам Витгенштейн:

> Слыша речь китайца, мы готовы принять ее за нечленораздельные гортанные звуки. Тот же, кто понимает китайский, узнает в них *язык.* Вот так и я часто не могу распознать в человеке *человека [Витгенштейн 1994:413]* («Культура и ценности», запись 1914 года).

В качестве обобщения своих идей о принципиальном различии языковых игр Витгенштейн формулирует знаменитую теорию семейных сходств значений слова. Вот как она звучит:

> 65. Здесь мы наталкиваемся на большой вопрос, стоящий за всеми этими рассуждениями. — Ведь мне могут возразить: «Ты ищешь легких путей! Ты говоришь о всех возможных языковых играх, но нигде не сказал, что существенно для языковой игры, а стало быть, и для языка. Что является общим для всех этих видов деятельности и что делает их языком или частью языка? Ты увиливаешь именно от той части исследования, которая у тебя самого в свое время вызвала сильнейшую головную боль, то есть от исследования *общей формы предложения* и языка».
>
> И это правда. — Вместо того, чтобы выявлять то общее, что свойственно всему, называемому языком, я говорю: во всех этих явлениях нет какой-то одной общей черты, из-за которой мы применяли к ним всем одинаковое слово. — Но они *родственны* друг другу

многообразными способами. Именно в силу этого родства или же этих родственных связей мы и называем все их «языками». Я попытаюсь это объяснить.

66. Рассмотрим, например, процессы, которые мы называем «играми». Я имею в виду игры на доске, игры в карты, с мячом, борьбу и т. д. Что общего у них всех? — Не говори «В них *должно* быть что-то общее, иначе бы их не называли «играми», но *присмотрись,* нет ли чего-нибудь общего для них всех. — Ведь, глядя на них, ты не видишь чего-то общего, присущего им *всем,* но замечаешь подобия, родство, и притом целый ряд таких общих черт. Как уже говорилось: не думай, а смотри! — Присмотрись, например, к играм на доске с многообразным их родством. Затем перейди к играм в карты: ты находишь здесь много соответствий с первой группой игр. Но многие общие черты исчезают, а другие появляются. Если теперь мы перейдем к играм в мяч, то много общего сохранится, но многое и исчезнет. […]

А результат этого рассмотрения таков: мы видим сложную сеть подобий, накладывающихся друг на друга и переплетающихся друг с другом, сходств в большом и малом.

67. Я не могу охарактеризовать эти подобия лучше, чем назвав их «семейными сходствами», ибо так же накладываются и переплетаются сходства, существующие у членов одной семьи: рост, черты лица, цвет глаз, походка, темперамент и т. д. и т. п. — И я скажу, что «игры» образуют семью *[Витгенштейн 1994:110–111]*.

Вот такое радикальное, по-видимому, одно из самых радикальных решений относительно значения, которое принято в ФИ. Но ведь здесь ни слова не сказано о значении. Не сказано, но подразумевается именно оно. Значение — это употребление, а употребление, совокупность употреблений образует совокупность языковых игр. Посмотрим на конкретном примере, что имеет в виду Витгенштейн, говоря о семейных сходствах и корректна ли эта теория.

О том, что слово приобретает значение лишь в контексте предложения, Витгенштейн писал еще в «Логико-философском трактате» (еще одно доказательство преемственности этих двух произведений). Рассмотрим три выражения со словом «белый»:

белый человек
белая краска
белое вино

Ясно, что в первом случае речь идет о цвете совсем не в том значении, как во втором и в третьем случае. Белый человек (не негр) на самом деле вовсе не такого цвета, как белая краска. То же можно сказать и о белом вине (то есть не красном).

Однако и целые выражения, вступая в различные контексты (языковые игры), приобретают различные значения. В качестве примера приведем фрагмент из работы Нормана Малкольма, анализирующего значение выражения «Я знаю»:

> Дочь смотрит телевизор, а поскольку ей следует сесть за пианино и заниматься музыкой, мать говорит: «У тебя завтра урок музыки». Дочь раздраженно отвечает: «Я знаю, что у меня завтра урок музыки».
>
> При таком употреблении выражения «Я знаю» не подразумевается ни наличие доказательства, ни проницательность или компетентность говорящего в той или иной области, ни даже присутствие уверенности (субъективной или объективной). В данном случае «Я знаю, что р» равнозначно высказыванию «Не надо мне напоминать, что р» *[Малкольм 1987: 247]*.

Но и целые предложения, входя в различные языковые игры, приобретают совершенно различные значения. Приведем пример из нашей книги *[Руднев 1996]*. Речь идет о предложении «Он пришел» в различных художественных жанрах. Так, если мы читаем детектив, «Он пришел» может означать, что кого-то ждали, чтобы убить, и «Он пришел» — сигнал к началу огня. В контексте бытового дискурса «Он пришел» может означать «Наконец-то, сколько можно опаздывать». В контексте мелодрамы «Он пришел» может означать либо невовремя появившегося мужа или, наоборот, долгожданного любовника. И так далее.

Похоже, что теория семейных сходств является вполне реалистической.

Одним из следствий этой теории является выраженное в ФИ представление о том, что семантическое целое не равно сумме его частей. Этот принцип Витгенштейн демонстрирует на знаменитом примере со шваброй:

> 60. Когда я говорю: «Моя швабра стоит в углу», — то о чем, собственно, это высказывание — о палке и щетке? Во всяком случае, его можно было бы заменить другим высказыванием о положении палки и положении щетки. А ведь это высказывание — более детально проанализированная форма первого. — Но почему я называю его «более детально проанализированным»? —

> Ну, если швабра находится там, то ведь это значит, что там же должны быть и составляющие ее палка и щетка, причем в определенном положении друг к другу. И смысл первого предложения предполагал это как бы в скрытом виде. В проанализированном же предложении это *выражено* явно. Так что же, тот, кто говорит, что швабра стоит в углу, по сути, имеет в виду следующее: там находятся палка и щетка и палка воткнута в щетку? — Спроси мы кого-нибудь, действительно ли он так думал, он, по всей вероятности, ответил бы, что совсем не думал о палке и о щетке порознь. И это был бы *верный* ответ, ибо он не собирался говорить ни о палке, ни о щетке в отдельности. Представь, что вместо «Принеси мне швабру!» ты говоришь кому-то «Принеси мне палку и щетку, в которую она воткнута!». — Не прозвучит ли в ответ на это: «Ты просишь швабру? Почему же ты так странно выражаешься?» […] — Конечно, швабра будет сломана, если отделять палку от щетки; но следует ли из этого, что приказ принести швабру тоже состоит из соответствующих частей? *[Витгенштейн 1994: 108–109]*.

Этот фрагмент ФИ характерен не только в смысловом плане, но и неповторимым витгенштейновским стилем, который появляется в его поздних работах. Эти воображаемые диалоги, сценки, вопросы, которые остаются без ответов. Между тем, речь здесь идет о весьма фундаментальных вещах, о принципах пропозициональной логической семантики. Классическая семантика Фреге и раннего Витгенштейна считала, что объект должен иметь одно значение и много смыслов. Палка, воткнутая в щетку, это перефрастическое описание значения «швабра». Витгенштейн ставит под сомнение этот фундаментальный принцип, поверяя его своим основным принципом в данной работе — принципом употребления. Если употребление «Принеси мне палку, воткнутую в щетку», кажется нелепым, значит это выражение не может служить одним из перифрастических смыслов значения «швабра». Вот в чем пафос этого замечательного примера. Витгенштейн покидает пределы пропозициональной семантики, строя свою новую семантику языковых игр. В ней все смыслы одного значения (с точки зрения пропозициональной семантики) становятся самостоятельными значениями, так как входят в различные языковые игры. Можно представить себе языковую игру в духе Витгенштейна, где нужно будет называть вещь не прямо, а каким-то косвенным образом.

Где, например, будут такие предложения, как «Принеси мне маленькую острую стальную вещицу, с помощью которой некоторые предметы можно из нерабочего состояния привести в рабочее». Имеется в виду иголка. Предложение «Принеси мне палку, воткнутую в щетку» примерно из такой языковой игры.

И вот, в соответствии со своими взглядами на значение как употребление, Витгенштейн строит концепцию философии как деятельности по прояснению того, что он называет грамматикой высказывания, то есть того, что реально означают слова в различных языковых играх. В этом смысле особенность философии позднего Витгенштейна состоит в том, что эта философия рассматривает язык, мир слов и предложений так, как в свое время классическая философия рассматривала реальность и ее проблемы. Поэтому философия ФИ и их последователей называется лингвистической философией. Метафизические философские проблемы были объявлены псевдопроблемами давно — в эпоху «Логико-философского трактата». Но тогда философская проблематика редуцировалась к анализу пропозиции, то есть к логике. Теперь она редуцируется к анализу обыденного языка, обыденной речи, поэтому поздняя философия Витгенштейна и его последователей называется также философией обыденного языка.

Исследовать грамматику высказывания Витгенштейн начинает опять-таки со своего любимого Августина, с его знаменитого высказывания о времени: «Что есть время? Когда меня никто не спрашивает, я знаю, что оно такое, но будучи спрошенным и желая пояснить спрашивающему, не знаю».

> Этого нельзя было бы сказать, — пишет Витгенштейн, комментируя высказывание Августина, — о каком-нибудь вопросе естествознания (например, об удельном весе водорода). Что человек знает, когда никто его об этом не спрашивает, и не знает, когда должен объяснить это кому-то, — и есть то, о чем нужно *напоминать* себе. […]
>
> Нам представляется, будто мы должны проникнуть в глубь явлений, однако наше исследование направлено не на явления, а, можно сказать, на *«возможности»* явлений. То есть мы напоминаем себе о *типе высказывания,* повествующего о явлениях. […]

Поэтому наше исследование является грамматическим. И это исследование проливает свет на нашу проблему, устраняя недоразумения, связанные с употреблением слов в языке, недопонимание, порождаемое в числе прочего и определенными

аналогиями между формами выражения в различных сферах нашего языка *[Витгенштейн 1994: 122]*.

Здесь, во-первых, Витгенштейн разграничивает то, что Августин знает «для себя», и то, чего он не может сказать другому (см. ниже о проблеме индивидуального языка), и, во-вторых, здесь говорится, что следует заниматься не вопросом о том, что такое время (это метафизическая псевдопроблема), а тем, как слово «время» употребляется в обыденном языке. Когда человек спрашивает: «Сколько времени?», — восклицает: «О быстротечное время!» — или сетует: «Сколько можно время убивать!», — он играет в разные языковые игры, и, соответственно, слово время каждый раз приобретает новое значение.

Но для Витгенштейна также принципиально важно, что язык, на котором мы говорим, не является идеальным языком. Последнее связано с неуспехом логико-позитивистского проекта создания идеального языка, в котором Витгенштейн если и не принимал участие, то, во всяком случае, сочувствовал ему, судя по одной-двум фразам, брошенным на этот счет в «Логико-философском трактате». В ФИ Витгенштейн говорит об этой проблеме в одном из самых знаменитых фрагментов, где употреблена метафора идеально гладкого льда:

> Чем более пристально мы приглядываемся к реальному языку, тем резче проявляется конфликт между ним и нашим требованием. (Ведь кристальная чистота логики оказывается для нас *недостижимой,* она остается всего лишь требованием.) Это противостояние делается невыносимым; требованию чистоты грозит превращение в нечто пустое. — Оно заводит нас на гладкий лед, где отсутствует трение, стало быть, условия в каком-то смысле становятся идеальными, но именно поэтому мы не в состоянии двигаться. Мы хотим идти: тогда нам нужно *трение.* Назад, на грубую почву! *[Витгенштейн 1994:218]*

Обыденный язык как раз обеспечивает это трение (вспомним высказывание с метафорой города). Поэтому задача лингвистической философии — отнюдь не исправлять обыденный язык, а просто хорошенько присматриваться к нему, анализировать то, как мы на самом деле говорим. И этот анализ поможет понять тот мир, в котором мы живем. Ибо язык и есть мир. В этом смысле лингвистическая философия достаточно близка так называемой гипотезе лингвистической относительности Эдуарда Сепира и Бенджамена Ли Уорфа, в соответствии с которой именно человеческий язык формирует

представления о внешнем мире (а не наоборот, как думали в XIX веке).

Подробным примером анализа понятия обыденного языка в ФИ является анализ слова «читать», который занимает более пяти страниц текста. Мы ограничимся тем, что приведем некоторые фрагменты этого анализа:

> Прежде всего нужно заметить, что я в данном случае не отношу к «чтению» понимание смысла читаемого. Чтение здесь выступает как деятельность озвучивания написанного или напечатанного; а также письма под диктовку, переписывания напечатанного, игры по нотам и т. п.
>
> Конечно, нам хорошо знакомо употребление этого слова в обычных жизненных ситуациях. Роль же, которую оно играет в жизни, а тем самым ту языковую игру, в которой мы его используем, нелегко представить даже в самых общих чертах. Человек, скажем, немец, прошел в школе или дома обычный курс обучения. В процессе учебы он освоил навык чтения на своем родном языке. Впоследствие он читает книги, письма, газеты и т. д.
>
> Что же происходит, когда он, например, читает газеты? —
>
> Его глаза — как мы говорим — прослеживают напечатанные слова, он произносит их вслух или же выговаривает про себя. Причем определенные слова он прочитывает, схватывая их печатные формы в целом, в других — ему достаточно узреть первый слог, некоторые читаются по слогам, а отдельные слова, может быть, и по буквам. — Мы бы сказали, что он прочел предложение и в том случае, если бы по ходу чтения он не произносил его ни вслух, ни про себя, но после был бы в состоянии воспроизвести это предложение дословно или близко к тексту. — Он может вникать в то, что читает, или же действовать, скажем, просто как читающая машина, то есть читать громко и правильно, не вникая в читаемое. Может быть, при этом его внимание будет направлено на что-то совсем другое (так что, спроси его кто-нибудь сразу же, он не сможет сказать, о чем читал). […]
>
> Попытаемся дать такое определение: некто читает, если он *осуществляет* воспроизведение оригинала. А «оригиналом» я называю текст, который читают или переписывают; диктант, который пишут, партитуру, по которой играют, и т. д. (…)

> Но почему мы говорим, что он *воспроизводит* произносимое слово из напечатанного? Знаем ли мы нечто большее, чем то, что мы его научили, как произносить каждую букву, и что он после этого стал вслух читать слова? На этот вопрос мы, пожалуй, ответили бы так: ученик показывает, что он совершает переход от напечатанного к произносимому по правилам, которыми мы его вооружили. — Как это можно *показать,* проясняется, если видоизменить наш пример: ученик получает задание не прочесть текст, а переписать его, перевести печатный текст в рукописный. В этом случае мы смогли бы задать ему правило в виде некой таблицы. В одной колонке этой таблицы стояли бы печатные буквы, в другой — рукописные. А то, что письмо ученик здесь воссоздает на основе напечатанного, видно из его обращения с таблицей *[Витгенштейн 1994: 141–142, 145–146],*

Подытоживая этот анализ, можно сказать, используя выражение из тех же ФИ: внутренние состояния проверяются при помощи внешних критериев. «Придираясь» к этому тезису, Витгенштейна нередко обвиняют в принадлежности к бихевиоризму. Действительно, на первый взгляд, то, как пишет Витгенштейн о проблемах сознания, похоже на основную формулу бихевиоризма: сознание — черный ящик, мы вводим в сознание нечто, и о том, что происходит с сознанием, судим по тому, что происходит с тем, что мы ввели, на выходе. Но философия Витгенштейна, строго говоря, вообще не является философией психологии. Пример с чтением и примеры, подобные ему, толкуют лишь об употреблении слов в языке, а не о понятиях сознания. Если бы Витгенштейна спросили, что он думает о сознании, он, надо думать, ответил бы, что, прежде всего, это такое же слово среди других слов и что нужно понять его грамматику. Именно изучению грамматики слова «читать» посвящен вышеприведенный фрагмент из ФИ.

Уже из приведенного фрагмента видно, что Витгенштейн большое значение придает понятию правила («ученик показывает, что он совершает переход от напечатанного к произносимому по правилам, которыми мы его вооружили»). В дальнейшем Витгенштейн уделяет этому понятию столько внимания, что становится ясно, что это одно из ключевых понятий философии ФИ. При этом следует помнить, что понятие следования правилу и логически связанное с ним понятие индивидуального языка (см. следующую главку) — одни из самых сложных в ФИ, что будет

видно из приводимых ниже контекстов:

> Является ли то, что мы называем «следованием правилу», чем-то таким, что мог бы совершить лишь *один* человек, и только *раз* в жизни? — А это, конечно, замечание о грамматике выражения «следовать правилу».
>
> Невозможно, чтобы правилу следовал только один человек, и всего лишь однажды. Не может быть, чтобы лишь однажды делалось сообщение, давалось или понималось задание и т. д. Следовать правилу, делать сообщение, давать задание, играть партию в шахматы — все это *практики* (применения, институты) *[Витгенштейн 1994: 162]*.

Но здесь возможен парадокс такого рода. Допустим, мальчики играют во дворе в какую-то игру, смыслом которой является инсценировка военных действий, короче говоря, «в войну». Они следуют неким правилам, в соответствии с одним из которых, если одного из них увидит какой-либо прохожий, то это будет означать, что играющий убит. Но в какой-то момент, когда мальчики случайно сталкиваются с женщиной, проходящей по двору, которая замечает их, они, поскольку им не хочется прекращать игру, задают дополнительное правило, в соответствии с которым «женщины не в счет». И вот, говорит Витгенштейн, такая манипуляция правилами может быть бесконечной. Он выражает это в знаменитом разделе 201:

> Наш парадокс был таким: ни один образ действий не мог бы определяться каким-то правилом, поскольку любой образ действий можно привести в соответствие с этим правилом. Ответом служило: если все можно привести в соответствие с данным правилом, то все может быть приведено и в противоречие с этим правилом. Поэтому тут не было бы ни соответствия, ни противоречия [Витгенштейн *1994: 163]*.

Современный американский философ Сол Аарон Крипке написал целую книгу, посвященную интерпретации витгенштейновского понимания того, что такое следование правилу *[Kripke 1982]*. Заостряя витгенштейновскую проблематику, Крипке постулирует следующий мысленный эксперимент:

> Положим, к примеру, что '88 + 57' действие,

которого я до этого момента никогда не производил. Хотя при этом в прошлом я производил пусть даже про себя (оставим проблему моего наблюдаемого поведения) лишь конечное число действий, такой пример с очевидностью существует. Фактически эта самая конечность и гарантирует существование примера, превосходившего бы все ранние вычисления. Я буду исходить из предположения, что в изложении, следующем ниже, '68 + 57' удовлетворяет этому.

Я произвожу это вычисление, получая в качестве результата, естественно, '125'. Я уверен, возможно, после проверки, что это правильный ответ. Он правилен как в арифметическом смысле, в котором 125 является суммой от сложения 68 и 57, так и в металингвистическом, в котором 'плюс' в том смысле, в каком это слово употреблялось мной в прошлом, обозначает функцию, которая будучи применена к числам '68' и '57', приобретает значение '125'.

Теперь представим, что я столкнулся с эксцентричным скептиком, кото ставит под сомнение достоверность моего ответа в том смысле, который я назвал 'металингвистическим'. Возможно, предполагает он, что то, каким образом я употреблял термин 'плюс' в прошлом, должно в качестве ответа, который подразумевается мною для '68 + 57', давать '5'. Конечно, это предположение скептика совершенно очевидно является безумным. Правильным ответом на такое предположение был бы совет пойти в школу и поучиться считать. Тем не менее дадим ему возможность продолжить. В конце концов, говорит он, если я так уверен, что в то время как я использовал символ ' + ', в мои намерения входило, что '68 + 57' будет обязательно обозначать 125, то это не потому, что я эксплицитно дал себе указание на то, что 125 есть результат сложения в этом частном случае. Положим, что это так. Но идея, конечно, состоит в том, что в этом новом случае я применяю ту же самую функцию или правило, что я применял много раз до этого в прошлом. Но кто может сказать, что это была за функция? В прошлом я применял лишь конечное число примеров использования этой функции. Все они, положим, включали числа, меньшие, чем 57. Итак, возможно, что в прошлом я употреблял 'плюс' и ' + ' для обозначения функции, которую я буду называть 'квус' и обозначать символом $.

Она определяется так:

x $ Y = x + y, если x, y < 57 = 5 и другие

Кто скажет, что это не та функция, которую я до этого подразумевал под ' + '? Скептик же утверждает (или притворяется, что утверждает), что я неправильно интерпретирую свое собственное употребление в прошлом. Под 'плюсом' я *всегда,* как он говорит, *подразумевал* квус *[Kripke 1982: 73].*

Все, что здесь говорится, каким бы фантастичным оно ни казалось, на самом деле является вполне реалистичным. Смысл витгенштейновского парадокса и его крипкеанской трактовки мы понимаем следующим образом: никогда нельзя до конца доверять личным ощущениям, они могут подвести. Каждое утверждение — лишь предположение, любой приказ может быть невыполнен, любое обещание нарушено. Такова природа человеческого языкового общения. С этим тесно связана проблема индивидуального языка, к обзору которой мы переходим.

Мыслим ли такой язык — говорит Витгенштейн, — на котором человек мог бы для собственного употребления записывать или высказывать свои внутренние переживания — свои чувства, настроения и т. д.? — А разве мы не можем делать это на нашем обычном языке? — Но я имел в виду не это. Слова такого языка должны относиться к тому, о чем может знать только говорящий, — к его непосредственным, личным впечатлениям. Так что другой человек не мог бы понять этого языка. […]

Представим себе такой случай. Я хочу запечатлеть в дневнике какое-то время от времени испытываемое мною ощущение. Для этого я ассоциирую его со знаком 0 и записываю в календаре этот знак всякий раз, когда испытываю такое ощущение. —

Прежде всего замечу, что нельзя дать какую-либо дефиницию подобного знака. — Но сам для себя я же могу дать ему какое-то указательное определение! — Каким образом? Разве я в состоянии указывать на ощущение? — В обычном смысле — нет. Но, произнося или записывая знак, я сосредоточиваю свое внимание на ощущении — и таким образом как бы указываю на него в своем внутренем мире. — Но что толку в этой церемонии? […] ведь в данном случае я не располагаю никаким критерием правильности. Так и тянет сказать: правильно то, что мне всегда представляется

правильным. А это означает лишь, что здесь не может идти речь о «правильности» *[Витгенштейн 1994: 171, 174–175]*.

Когда-то еще в деревне Витгенштейн рассказывал детям историю, как волчица выкормила ребенка. И когда его нашли, он был похож во всем на человека, кроме одного — он не умел говорить. Язык — социальное явление, к такому тривиальному выводу Витгенштейн приходит столь окольными путями. И в определенном смысле это было его кредо: вопросы интереснее ответов.

Но проблема индивидуального языка имеет еще одни аспект. Она имеет отношение к проблеме того, может ли знать человек об ощущениях другого человека. То есть, например, если один человек говорит: «Мне так больно!», то, как предполагает Витгенштейн, другой человек не может знать *как* больно другому, какие именно ощущения он испытывает, хотя они как будто говорят на одном языке. Но это равносильно тому, что индивидуальный язык существует. Последние идеи связаны с характерной для XX века проблематикой метафизических поисков границы между Я и Другим. Например, очень сходная проблематика обсуждается в книге М. М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» *[Бахтин 1963]*.

Чрезвычайно точно проблематику индивидуального языка почувствовал ученик Витгенштейна Норман Малкольм, который в своей книге «Сновидение» *[Малкольм 1993]* подчеркивает, что сновидение является разновидностью индивидуального языка, то есть феноменологически как бы и не существует вовсе. В последнем смысле существуют только рассказы о сновидениях, которые, по мнению Малкольма, и сформировали в языке понятие сновидения.

Витгенштейну принадлежит такая, давно ставшая знаменитой фраза: Какова твоя цель в философии? — Показать мухе выход из мухоловки.

Что это значит? Прежде всего здесь выражена мысль о практической направленности философии, ее направленности на анализ обыденного языка. На вскрытие его шероховатостей, но отнюдь не на исправление их. Когда философы-позитивисты и сам ранний Витгенштейн стремились построить идеальный язык, это было равнозначно тому, что они упрятывали муху в мухоловку. Показать мухе выход из мухоловки и означает показать, что обыденный язык является единственно возможным. Тогда мухоловка сама собой раскроется. Витгенштейн писал:

599… Философия утверждает лишь то, что признает

каждый.

600. Разве все, что нас не удивляет, производит впечатление чего-то неприметного? Разве обычное всегда создает *впечатление* обычности?

601. *Помню* ли я — говоря об этом столе, — что данный предмет называется «столом»?

602. Если бы меня спросили: «Узнал ли ты свой письменный стол, войдя сегодня утром в свою комнату?» — я бы без сомнений ответил «Конечно!». И все же утверждение: при этом происходил процесс узнавания — сбивало бы с толку. Письменный стол, естественно, не был для меня неожиданностью; увидев его я не удивился, как удивился бы, если бы там стоял другой стол или же какой-то предмет незнакомого вида.

603. Никто не скажет, что всякий раз, когда я вхожу в свою комнату, попадаю в привычное окружение, развертывается процесс узнавания всего, что я вижу и уже видел сотни раз *[Витгенштейн 1994:242]*.

В этом смысле философия, по Витгенштейну, подобна идее остранения, воплощенной в творчестве Л. Н. Толстого и исследованной Виктором Шкловским, которая состоит в том, что на простые обыденные вещи художник смотрит необычными глазами, например, глазами коня Холстомера.

Практический характер, который стремился придать своей философии Витгенштейн, неожиданным образом связывает ее с марксизмом, который также огромную роль придавал практике. Вспомним знаменитое изречение из «Тезисов о Фейербахе»: «Философы лишь различным образом *объясняли* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его». Развернутому сопоставлению философии Витгенштейна и Маркса посвящена книга *[Rubinstein 1981]*.

Витгенштейну принадлежит также следующая фраза в ФИ:

Философия лечит язык. Как болезнь.

Витгенштейн много раз утверждал, что между его подходом и подходом Фрейда имеется определенное сходство. Он, как мы помним, даже называл Фрейда своим учителем. В наибольшей степени это сходство имеет место между витгенштейновской теорией семейных сходств и фрейдовским методом свободных ассоциаций, когда Фрейд предлагал пациенту говорить все, что ему придет в голову и, ловя определенные оговорки, ошибки речи, недоговоренности и мотивно суммируя их, восстанавливал по ним корни заболевания (наиболее ярко этот метод описан

Фрейдом в книге «Психопатология обыденной жизни» *[Фрейд 1990]*.

Витгенштейн, по мнению А. Ф. Грязнова, рассматривал психоанализ как своего рода языковую игру, таящую немало практических возможностей *[Грязное 1991а: 18]*.

Один из учеников Витгенштейна и основателей метода лингвистической терапии Морис Лазерович интерпретировал терапевтические особенности философии позднего Витгенштейна как лечение старой философии методом философии обыденного языка:

> Философская теория есть, в сущности, бессознательно сконструированный семантический обман. Лингвистический анализ, благодаря процессу, который может быть описан как семантическая размаскировка, проясняет то, что философ делает со словами, когда он выдвигает свою теорию и аргументирует в ее пользу (цит. по *[Грязнов 1991: 20]*).

По мнению же главного основоположника лингвистической терапии Джона Уиздома, философ, подвергающий анализу обыденный язык, сам изменяет свое сознание, как бы выздоравливает под его воздействием, подобно тому, как психоаналитик нередко сам выздоравливает, проводя сеанс психоанализа *[Wisdom 1953]* (см. также *[Руднев 1994с]*).

Однако и «витгенштейно-марксизм», и лингвафилософия стали уже достоянием истории философии. Наиболее важная лингвафилософская теория, которая берет начало в ФИ, это теория речевых актов Дж. Остина и Дж. Серля. Рассмотрим следующий фрагмент из ФИ:

> 268. Почему моя правая рука не может подарить деньги моей левой руке? — Моя правая рука может вложить их в левую. Моя правая может написать дарственную, а левая расписку. — Но по своим дальнейшим практическим последствиям это не было бы дарением. Если левая рука приняла деньги от правой и т. д., мы спросим: «Ну и что дальше?» [Витгенштейн *1994: 177]*.

Из подобных фрагментов и выросла теория речевых актов, которая, во-первых, рассматривает все предложения как часть реальности (один из главных тезисов ФИ) и, во-вторых, рассматривает, при каких условиях речевые акты (например, то же дарение) могут считаться успешными или неуспешными

(понятие, заменившее понятие истинности и ложности). В отличие от лингватерапии и витгенштейномарксизма, теория речевых актов стала одним из мощнейших направлений аналитической философии, откуда черпает и теоретическая лингвистика, и логическая семантика.

Вообще, надо сказать, что ФИ стала библией не только послевоенной аналитической философии, но и всей лингвистически или аналитически ориентированной науки. И в этом смысле значение ФИ можно считать и выдающимся, и роковым, так как, пользуясь методологией позднего Витгенштейна, чрезвычайно легко построить теории всего что угодно, чем и занимались несколько поколений философов и критиков (см. об этом *[Бартли: 254–255])*. Однако это говорит и о поразительной универсальности этого выдающегося произведения позднего Витгенштейна.

Глава 8.
Кембридж. 1940-е годы

Витгенштейн работает в госпитале

На протяжении первых лет мировой войны 1939–1945 годов Витгенштейн, будучи в Кембридже, не находил себе места от того, что он не может найти себе никакой работы помимо академической. Шла война, Лондон бомбили немцы, и преподавать философию в этой ситуации казалось особенно бессмысленным.

Жизнь Витгенштейна переменилась, и он нашел примерно то, чего искал, благодаря родному брату Гилберта Райла, оксфордского философа, одного из основателей лингвистической философии, с которым он познакомился на конференции в *Бирмингеме в 1938 году,* а затем близко с ним дружил. Джон Райл был профессором физики в Кембридже, но во время войны, имея медицинское образование и авторитет, стал главным врачем в Гай-госпитале в Лондоне. В сентябре 1940 года Витгенштейн написал Джону Райлу письмо с просьбой встретиться с ним в госпитале. Райл, который не был прежде близко знаком с Витгенштейном, пригласил его на ланч, и Витгенштейн произвел на него глубокое впечатление. «Он один из самых знаменитых философов мира», — писал Райл жене, — «при этом он носит зеленую рубашку с открытым воротом и у него очень привлекательное лицо» *[Monk 1990: 431].* Это удивление со стороны Джона Райла объясняется тем, что так же, как и Витгенштейн, он долгие годы преподавал в Кембридже и помнил его мертвящую атмосферу последних годов и важных, чопорных профессоров, совершенно не похожих на Витгенштейна. Отсюда мы можем сделать достаточно важный для нас вывод, что недовольство Кембриджем со стороны Витгенштейна, с жалобами, что там спертый воздух и т. д., нельзя целиком списывать на чувствительную эксцентричность самого Витгенштейна. А может быть, они с Джоном Райлом просто оказались родственными душами. Ведь обоих их никто не просил покидать профессорский пост и становиться одному врачом, другому — простым санитаром. Официально должность Витгенштейна в госпитале называлась «аптечный носильщик» (dispensary porter). Это означает, что в его обязанности входило разносить лекарства из больничной аптеки по палатам.

Джон Райл оценил поступок Витгенштейна — переход с места профессора Кембриджского университета на место «аптечного носильщика» (нас, уже хорошо знающих предыдущие *формы жизни* Витгенштейна, этот поступок, конечно, не удивил), — и поэтому никому в госпитале не говорил, что новый санитар на

самом деле является «известнейшим в мире философом». Правда, работая в госпитале, Витгенштейн жил и столовался вместе с медицинским персоналом, что одно могло уже навести на размышления об идентичности нового санитара, так как немедицинская часть обслуги госпиталя и обедала, и жила за его пределами. Вскоре, однако, его узнал госпитальный гематолог доктор Уотерфилд, который встречал Витгенштейна в Кембридже, в Клубе Моральных Наук. На его удивленное приветствие Витгенштейн зашипел: «Ради всего святого, не говорите, кто я такой!» Но вскоре практически все в госпитале уже знали, кто он такой, и называли его не иначе как «профессор Витгенштейн».

Работая санитаром, Витгенштейн оставался философом. По свидетельству жены Джона Райла, он разносил лекарства по палатам, а затем советовал пациентам не принимать их. Когда руководителя Витгенштейна по аптечным делам мистера Иззарда через много лет спросили, помнит ли он Витгенштейна, он сказал: «Конечно, отлично помню. Он пришел к нам работать и, проработав три недели, пришел ко мне и объяснил, как лучше организовать место. Видите ли, это был человек, который привык думать» *[Monk 1990: 433]*.

На новый 1942 год Джон Райл решил, наконец, выполнить обещание, данное им своей жене, и привезти Витгенштейна к ним в дом в Сассекс. К счастью для биографов Витгенштейна, в это время в доме был 15-летний сын Райлов Энтони, который оставил интересные записи о необычном госте:

> Папа и еще один австрийский (?) профессор по имени Витгенштейн (спеллинг?) появились в 7.30. Папа скорее усталый.
>
> Винк ужасно странный — не слишком хорошо говорит по-английски […].
>
> Мы провели весь день в спорах — он невозможный человек. Каждый раз, когда ты говоришь что-нибудь, он говорит: «Нет-нет, дело не в этом». Может, для него дело не в этом, а для нас в этом. Слушать его утомительно. После чая я показывал ему местность вокруг дома, а он наставлял меня в том, чтобы я был добр с несчастными маленькими детьми (беженцами, которых мать Энтони разместила у себя дома — *В. Р.)[Monk 1990:363]*.

Благодаря Джону Райлу Витгенштейн в апреле 1942 года согласился наконец на операцию по удалению камней из желчного пузыря. Витгенштейн никогда не доверял английским врачам и всерьез считал, что Рамсей и Скиннер могли бы избежать смерти, если бы им была оказана адекватная помощь.

Соглашаясь на операцию, он потребовал, чтобы ему не делали общего наркоза и чтобы перед ним поставили зеркало так, чтобы он мог наблюдать за ходом операции. Все это было исполнено, а поскольку под местным наркозом операция проходила для пациента болезненно и психологически тяжело, Джон Райл все время операции сидел рядом с Витгенштейном и держал его руку в своей.

После смерти Скиннера Витгенштейн чувствовал себя одиноким. Работа в госпитале давала ему нравственное удовлетворение, но психологически он вновь чувствовал себя несчастливым. Вновь начались депрессии. Некоторое облегчение последовало, когда он подружился с одним из своих коллег по госпиталю, Роем Форакром. Это был молодой человек, обладавший чувством юмора и веселым характером. Когда Витгенштейн начинал кипятиться, Рой говорил ему «Остынь, Проф!», что Витгенштейну чрезвычайно нравилось *[Monk 1990:443]*. Посетив квартиру Витгенштейна в Кембридже, Рой был крайне изумлен, обнаружив там вместо ожидаемых книг по философии пачки журналов с детективными рассказами.

Рой Форакр, будучи совершенно другим человеком, не мог заменить Витгенштейну Френсиса Скиннера, тем не менее за 18 месяцев их совместной работы он стал самым близким человеком для Витгенштейна.

Среди медицинского персонала Гай-Госпиталя Витгенштейн подружился с доктором Бэзилом Ривом, молодым врачом за тридцать, интересующимся философией. Когда он услышал, что новый сосед по столу — не кто иной, как Людвиг Витгенштейн, он пожелал непременно с ним познакомиться. Как-то раз он сел напротив Витгенштейна, и между ними сразу завязалась дружба. Темами бесед, тем не менее, стала не философия, а архитектура и музыка, а также фрейдистские интерпретации медицинских тем. Постепенно беседы перешли на то, чем занимался сам доктор Рив. А занимался он исключительно интересными вещами. Он работал в Совете Медицинских исследований при госпитале, где главным был доктор Грант. Они исследовали травматический шок у людей, переживших бомбежки. В какой-то момент их работа перестала быть сугубо экспериментально-психологической и приняла философский уклон. Обнаружив, что не существует удовлетворительного определения травматического шока, Грант и его коллеги решили вообще обойтись без определения шока как базового понятия и именно на этом строили свою дальнейшую работу. Все это было настолько близко к философским установкам позднего Витгенштейна, что он не мог не заинтересоваться исследованиями Гранта. Рив познакомил Гранта

и Витгенштейна, а когда в ноябре 1942 года лаборатория Гранта переезжала в Ньюкасл и в последний момент техник отказался ехать, Витгенштейн предложил свои услуги в качестве техника. Эти услуги были с благодарностью приняты. Новая работа одновременно означала для Витгенштейна интеллектуальный труд после тяжелого и очень низко оплачиваемого (он получал 28 шиллингов в неделю) труда в госпитале.

Витгенштейн, разумеется, оказался чрезвычайно квалифицированным и полезным сотрудником. По воспоминаниям Друри, который однажды навестил Витгенштейна в Ньюкасле, Грант говорил, что сожалеет о том, что Витгенштейн уже стал философом — из него бы получился первоклассный экспериментальный психолог.

К концу 1943 года Витгенштейн, тем не менее, начал скучать по Кембриджу. Так, в письме Малкольму он писал, что ему не хватает его учеников Смидиса и Риса (которых, кстати, тогда уже не было в Кембридже: первый преподавал в Оксфорде, второй — в Свонси). Более того, — что уже существеннее — Витгенштейн начал скучать по философии. К тому же, как водится, к концу своего пребывания в Ньюкасле он начал ссориться с Бэзилом Ривом.

16 февраля 1944 года Витгенштейн покинул Ньюкасл и вернулся в Кембридж.

«Беседы о Фрейде»

Летом 1942 года Витгенштейн ездил отдыхать к своему другу, ученику и будущему душеприказчику Рашу Рису в городок Свонси, находящийся в Южном Уэльсе. Рис преподавал там философию. Витгенштейн ценил дискуссии с Рисом. На этот раз речь зашла о психоанализе и прежде всего о фрейдовском толковании сновидений. Витгенштейн на протяжении жизни много раз записывал свои сны. Однако почему речь о толковании сновидений зашла теперь, в разгар войны, и продолжалась в другие приезды Витгенштейна в Свонси в 1944 и 1945 годах, остается только гадать. Может быть, действительность настолько не удовлетворяла Витгенштейна, — с одной стороны, война, непрерывные бомбежки, с другой, одиночество и депрессия, — что его потянуло к психоанализу. Но, вглядевшись внимательнее в записи бесед, сделанных Рисом *[Wittgenstein 1966],* мы сможем убедиться, что, даже рассуждая о сновидениях, Витгенштейн в глубине думает о своих главных философских проблемах, легших в основу будущих «Философских исследований».

> Несколько лет назад мне случилось перечитать кое-что из Фрейда — я был поражен. Это человек, которому есть что сказать. Думаю (пишет Р. Рис — *В. Р.),* это было вскоре после 1919 года. После этого до конца жизни Витгенштейн считал Фрейда одним из тех авторов, на которых стоит тратить время. В период наших дискуссий он говорил о себе как об «ученике Фрейда» и «последователе Фрейда» *[Wittgenstein 1966:8].*

1919 год — на случайная дата, год окончания «Логико-философского трактата». Именно в этом году в дневнике Витгенштейна зафиксированы записи сновидений, которые приводятся в книге Бартли и которым Витгенштейн придавал большое значение. Ясно, что учеником и последователем Фрейда Витгенштейн мог называть себя только в период после написания «Трактата». До этого они с Фрейдом скорее были антиподами. Витгенштейн осуществлял в своем «Трактате» жесткую «логаэдическую» модель, а Фрейд — мягкую «верлибристскую» (подробнее об этих терминах см. *[Руднев 1997],* а также раздел 2. 4 настоящей книги).

Что же в подходе Фрейда могло быть близким позднему Витгенштейну? Вероятно, прежде всего, его техника свободных ассоциаций, которая определенным образом соотносилась с

поздневитгенштейновской семантикой семейных сходств и тезисом о том, что значение есть употребление. Ведь из чего исходит фрейдовский метод свободных ассоциаций? Из того, что слово или выражение обладает огромным числом коннотаций, которые являются индивидуальными для каждого носителя языка. Предположим, слово «стол» у одного пациента может ассоциироваться со столом, на котором, допустим, лежал гроб его отца, что было для него страшным шоком, а для другого стол (table — предположим, что этот пациент англоговорящий) может ассоциироваться со словом «таблица» (table) и будет болезненно напоминать ему о том, как отец наказал его за то, что он плохо выучил таблицу умножения. Идея Витгенштейна, что множество значений слова является размытым множеством, что значения слова похожи друг на друга, как похожи друг на друга члены одной семьи (и тем самым, нельзя выделить инвариант значения), эта идея чрезвычайно напоминает фрейдовскую. То же самое можно сказать о теории значения как употребления. Так же как определенная семантическая ассоциация в теории Фрейда проявляется в конкретном случае, так и витгенштейновское значение реализуется в конкретном употреблении. Конечно, здесь необязательно имеет место ученичество Витгенштейна по отношению к Фрейду. Скорее, переход Витгенштейна от атомистического к холистическому молярному подходу автоматически актуализировал фрейдовские концепции, высказанные им прежде всего в книгах «Психопатология обыденной жизни» *[Фрейд 1990]* и «Остроумие и его отношение к бессознательному» *[Фрейд 1994]*.

> Фрейдовская теория сновидений. Он хочет сказать — что бы ни случилось во сне, это может быть связано с неким желанием, которое высвечивает анализ. Но это процедура свободных ассоциаций, и она странна, потому что Фрейд никогда не показывает, откуда мы знаем, где остановиться. Где правильное решение? *[Витгенштейн 1999:32]*.

Здесь надо обратить внимание на то, что и Витгенштейн, и Фрейд употребляют слово «анализ» как ключевое для своих методологических позиций. Действительно, сами названия их учений: психоанализ и аналитическая философия — говорят об этом. И вот Витгенштейн заявляет: «Процедура свободных ассоциаций» не является в подлинном смысле анализом, так как она слишком произвольна. Но вправе ли Витгенштейн так говорить? и правомерно ли употребление слов «вывод», «доказательство», «аргументы» в такого рода анализе как

фрейдовский и философский анализ позднего Витгенштейна? Думается, что Витгенштейн поневоле, говоря о Фрейде, настраивается на волну своих ранних жестких методологических установок.

Слово «анализ» применительно к гуманитарным областям знания появилось лишь в XX веке, по аналогии с естественными науками, когда стали возможны не только такие словосочетания, как математический анализ, спектральный анализ, анализ крови, но и анализ поэтического текста, мотивный анализ, шизоанализ и т. п. Но несмотря на внешнюю аналогию, анализ в гуманитарных науках принципиально не похож и не может быть похож на анализ в естественных науках. Нельзя сделать повторный или контрольный анализ поэтического текста, но можно сделать повторный или контрольный анализ крови. В сущности, слово «анализ» применительно к гуманитарным областям знания — всего лишь метафора. Результаты гуманитарного анализа не могут, да и не должны быть верифицируемы. «Анализ» в гуманитарных областях — это лишь сциентистская установка, но не более того. Все это в большей или меньшей степени относится и к позднему Витгенштейну, отказавшемуся от принципа верификации, от строгого логического доказательства, дающему предельно размытые и мягкие концепции значения, склонному скорее задавать вопросы, чем получать исчерпывающие ответы.

> Символика сновидений. Идея языка сновидения. Подумаем об осознании картины как сновидения. Я однажды смотрел на выставке работы одной молодой художницы из Вены. Там было одно изображение — пустая комната, нечто вроде погреба. И название: «Визит». Я, когда увидел это, сразу сказал себе: «Это сновидение» (моя сестра описала эту картину Фрейду, и он сказал: «О да, это самое обычное сновидение, связанное с девственностью»). Замечу, что название картины маскирует ее сновидческую сущность. Но ты все равно не сказал бы о *каждой* картине: «Это сновидение». И именно это показывает, что существует нечто похожее на язык сновидений *[Витгенштейн 1999: 34]*.

Можно предположить, что Витгенштейн здесь рассуждает примерно следующим образом. Существуют картины, не похожие на сновидение, такой, например, является картина Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». И существуют картины, похожие на сновидение, например, картины экспрессионистов и сюрреалистов. У тех и других разный семиотический язык. Это бесспорно. Стало быть, и у сновидений

должен быть свой семиотический язык, который, конечно, в большей степени похож на язык экспрессионистов и сюрреалистов. Последний тезис вызывает сомнение. Любой семиотический язык, каким бы сложным и опосредованным по своей референции (интенсиональным) он ни был, всегда должен обладать двумя планами, планом выражения и планом содержания, то есть он должен что-то означать и это значение должно быть чем-то выражено. Мы знаем, чем выражено значение сюрреалистической картины, каким бы запутанным ни было ее содержание: оно выражено при помощи красок или графита.

Сказать то же самое или подобное о сновидении мы не можем. Мы не знаем, *что* является планом выражения сновидения, из чего оно «сделано». Мы можем сказать, что это некие сигналы, которые посылаются мозгом, но какова природа этих сигналов, мы не знаем. Поэтому тезис о семиотической, языковой природе сновидения не может быть принят столь однозначно. Может быть поэтому Витгенштейн говорит лишь о том, что существует «нечто похожее на язык сновидений», лишь похожее на язык, но не язык. Витгенштейн отчасти проясняет свою позицию в следующем фрагменте:

> Я мог бы что-то чертить на стене. Это казалось бы чем-то вроде письма, но это не письмо, которое я или кто-то другой мог бы осознать. Итак, скажем, я рисую что-то. Потом психоаналитик начинает спрашивать меня, прослеживать ассоциации и так далее; и мы приходим к объяснению того, почему я это делал. Мы можем соотнести различные завитушки, которые я начертил, с различными элементами интерпретации. И тогда мы можем отнестись к факту моего рисования как к своего рода письму, как к использованию определенного рода языка, хотя он никем не был понят *[Витгенштейн 1999: 35]*.

Сходная мысль звучит в следующем фрагменте:

> Не может быть такой метки, которая может быть осознана как знак конвенционального алфавита, который мы знаем. И все же у нас может возникнуть сильное ощущение, что они (сновидческие образы — *В. Р.)* должны быть языком какого-то особого рода: что они что-то означают. В Москве есть пятиглавая церковь (разумеется, полюбившийся Витгенштейну храм Василия Блаженного — *В. Р.)*. На каждом из ее куполов различные затейливые узоры. У кого-то может

возникнуть впечатление, что эти поверхности и узоры могут и даже должны что-то означать [Витгенштейн *1999:36]*.

Здесь речь идет о двух взаимопротивоположных, дополнительных языках описания реальности (о фундаментальной методологической важности для XX века этой противоположности, намеченной Н. Бором, В. Гейзенбергом и Ю. М. Лотманом, см. *[Руднев 1986; 1996; 1997* (статья «Принцип дополнительности»)]. Речь идет о том, что если рассматривать реальность с детерминистских позиций, то все эти черточки и завитушки не имеют никакого смысла, они возникли по какой-то причине и существуют «просто так». Если рассматривать реальность с телеологической точки зрения, то каждый элемент реальности существует ради какой-то цели и поэтому глубоко осмыслен. В христианской культуре детерминистская точка зрения по преимуществу совпадает с атеизмом, телеологическая точка зрения совпадает с религиозной установкой. Парадокс первоначального фрейдовского психоанализа, подмеченный Витгенштейном, состоит в том, что Фрейд, будучи атеистом-детерминистом, построил в сущности телеологическую модель психики. Это только кажется, что он говорит, что на уровне сознания происходит то-то и то-то, *потому что* это соответствует таким-то и таким-то глубинным бессознательным импульсам. На самом деле он говорит: «Бессознательное *для того* вывело на поверхность эти кажущиеся бессмысленными черточки и завитушки, чтобы скрыть, вытеснить фундаментальные невротические комплексы».

Эта глубинная парадоксальность фрейдовской модели психики была отслежена Юнгом, который построил уже эксплицитно телеологическую модель коллективного бессознательного, но именно поэтому, в силу отсутствия парадоксальности, модель Юнга кажется менее адекватной для XX века, боле плоской. И юнгианство должно было смениться вновь парадоксальным трансперсональным подходом для того, чтобы это дало столь же обильные клинические плоды, какие давал классический психоанализ Фрейда.

Можно взять расположенные хаотически на столе предметы быта — чашки, ножи, хлеб, масленку, сахарницу печенье и т. д. и рассмотреть это вначале детерминистски, а потом телеологически. В последнем случае не только сами предметы приобретут смысл, но их очертания приобретут определенную «поэтику». Круглое будет противопоставляться острому, плоское — вогнутому, деревянное — металлическому. Разбросанные на

столе вещи будут иметь своеобразную, неповторимую композицию. Чайник будет рифмоваться с сахарницей, тарелки будут образовывать нечто вроде ритмических форм и так далее.

В сущности, это и будет соответствовать нашей модели восприятия сновидения, где мы почему-то каждому предмету придаем символическое значение. Какой же язык больше подходит для описания сновидения — детерминистский или телеологический? Ни тот, ни другой. Потому что детерминистский язык описывает все как реальность (в том числе и текст), а телеологический рассматривает все как текст (в том числе и реальность). Но сновидение не является ни текстом, ни реальностью. Потому что для того, чтобы быть текстом или реальностью — *формой жизни,* или языковой игрой, — необходим «общественный договор», то есть нужно, чтобы не одно сознание, а несколько могли приблизительно однозначно воспринимать и интерпретировать системы знаков. Сновидение же воспринимается только одним сознанием. Оно является разновидностью «индивидуального языка», который, как показал Витгенштейн в «Философских исследованиях», невозможен (подробно см. следующую главу).

Все же Витгенштейн делает попытку истолковать сновидения в духе своей философии языковых игр:

> Возможно, что существует много различных типов сновидений и что нет единой линии толкования всех сновидений. Так же как есть много различных типов шуток. И так же как есть много различных типов языков *[Витгенштейн 1999: 36].*

Этот ход был бы правильным в случае, если сновидение можно было бы рассматривать, как разновидность языка, а Витгенштейн в предшествующем фрагменте сам выразил в этом сомнение. Как бы ни были типологически различны языки и как бы ни различались языковые игры, у любого языка есть план выражения, каким бы причудливым он ни был, и у любой языковой игры есть правила, какими бы свободными они ни казались. Суть в том, что сновидение не является *формой жизни.* Сновидение вообще не является никакой формой, ему не присуща форма, оно не является *оформленным как бы то ни было.* Говорить же о различиях можно только на основании чего-то единого. Этого единого у сновидения нет. В каком-то смысле сновидения вообще *нет.* Есть только воспоминание о сновидении или рассказ о нем. Такова была точка зрения одного из близких учеников Витгенштейна Нормана Малкольма, написавшего в 1958 году оставшуюся единственной в рамках аналитической традиции

монографию о сновидении *[Малкольм 1993]*.

> Является ли сон мыслью, является ли сновидение мышлением о чем-либо? Допустим, ты смотришь на сновидение как на своего рода язык. Способ сказать что-либо или способ символизировать что-либо. Там может быть регулярная символика, не обязательно алфавитная — она может быть подобна китайской, например.
>
> Мы можем потом обнаружить способ перевода этой символики в язык обыденной речи, обычных мыслей, но тогда перевод должен быть транзитивным. Должно быть возможным при помощи одной и той же техники переводить обычные мысли в язык сновидений. Как признает сам Фрейд, этого никогда не было сделано и не может быть сделано *[Витгенштейн 1999: 38]*.

Если предположить, что Витгенштейн здесь в духе «Трактата» отождествляет мышление с языком (ср. «4. Мысль это пропозиция, наполненная смыслом»), то тогда, конечно, сновидение не является мышлением, поскольку оно не является языком. Что касается возможности перевода из «языка сновидения» в обыденный язык и обратно, то можно, конечно, взять свидетельства о сновидениях и проделать с ними то, что предлагает генеративная поэтика А. К. Жолковского-Ю. К. Щеглова, позволяющая, во всяком случае, теоретически раскладывать и складывать художественные тексты, как карточные домики (см., например *[Жолковский-Щеглов 1996]),* но это будет процедура с рассказами о снах, а не со снами.

Одним словом, все рассуждения Витгенштейна подводят к выводу, который на основании его рассуждений сделал его ученик Норман Макольм. Сновидение вообще не является вразумительным понятием в языке. И как понятие оно производно от понятия рассказов о сновидениях, которые являются языковой игрой. Если бы люди не рассказывали друг другу сновидений, то понятие сновидения не возникло бы.

Настоящий разбор витгенштейновских очерков о Фрейде показывает, как из мимолетных заметок учителя могли рождаться целые концепции учеников. Подобная креативность характерна для всего позднего творчества Витгенштейна.

Кембридж, Ирландия. 1940-е годы

Почти всю весну и все лето 1944 года Витгенштейн провел в Свонси и окончательно вернулся в Кембридж в октябре 1944-го. Здесь он встретился с Расселом, который к этому времени тоже вернулся в Кембридж. Он вернулся из Америки с рукописью книги «История западной философии», которая вскоре принесла ему мировую известность и на переиздания которой он жил много лет. Отношения старых друзей были прохладными. Рассел не понимал новой философии Витгенштейна. Сам он в своих поздних книгах оставался верен логическому позитивизму в том его умеренном виде, который он сам создал много лет назад. Витгенштейн же относился к нему с подчеркнутым почтением, что было для него совершенно не характерно и поэтому отмечено мемуаристами, в первую очередь, Малкольмом. Тем не менее, Рису Витгенштейн писал вскоре после возвращения в Кембридж, что видел Рассела и что он производит *«неважное* впечатление».

Все больше и больше Витгенштейн дружит с Муром (дружбе уже более 30 лет), все больше ценит его человеческие качества — детскость, непосредственность, глубину и прямоту. Но Муру в 1944 году было уже за шестьдесят и он много болел. Жена Мура Дороти всячески ограничивала контакт мужа с Витгенштейном, считая, что Муру вредно волноваться, а Витгенштейн своими разговорами о философии его слишком заводит. Витгенштейн возмущался. Он говорил, что Мур сам должен решать, утомляться ему или нет. Если же, продолжал свою мысль Витгенштейн, Муру действительно так опасно вступать в философские дискуссии и он на самом деле может от этого умереть, что же — это самая прекрасная смерть для философа!

В 1946 году Витгенштейн влюбился в Бена Ричардса, кембриджского студента-медика. Об этой последней любви мы знаем гораздо меньше, чем об отношениях с Френсисом Скиннером. Вернее, даже почти ничего не знаем. То ли Витгенштейн под конец жизни стал осмотрительнее и не хотел делать свою личную жизнь достоянием будущих мемуаристов, то ли Бен Ричардс был менее значительной фигурой, чем Френсис Скиннер. Возможно и то, и другое. Во всяком случае, ни у Фани Паскаль, ни у Нормана Малкольма, ни у Мориса Друри о Бене Ричардсе не говорится практически ни слова. Довольно мало о нем смог рассказать и современный биограф Витгенштейна Рей Монк. О Бене Ричардсе мы узнаем лишь, что он был «чрезвычайно благороден, слегка робок, возможно даже покорен, но при этом в высшей степени добр, внимателен и чувствителен». И еще о том,

что он был на 40 лет моложе Витгенштейна. В связи со своей любовью к Бену Ричардсу Витгенштейн писал следующее:

> Наши желания скрывают от нас даже то, чего мы желаем…. Я говорю себе это когда чувствую любовь к Б. Ибо я хорошо знаю, что это великий и редкий подарок; я знаю также, что он редкостное сокровище — и все же это не в полной мере то, о чем я мечтал *[Monk 1990: 432]*.

Вот так. Кажется, яснее не скажешь. Оставим поэтому Бена Ричардса и расскажем о других делах и проблемах, волновавших Витгенштейна в последний период его жизни.

Он продолжал вести активный образ жизни в качестве члена Клуба Моральных Наук. Он вел там ожесточенные дискуссии и время от времени закатывал скандалы. Один из наиболее известных связан со знаменитым впоследствии философом, в прошлом членом Венского логического кружка, автором теории фальсификационизма Карлом Поппером. В середине 1940-х годов Поппер был приглашенным лектором в Кембридже. Однажды на заседании Клуба он предложил вопрос: «Существуют ли философские проблемы?», — и хотя вопрос был вполне в духе Витгенштейна, Поппер, согласно легенде, высказал его в такой жесткой форме, что спровоцировал Витгенштейна на вспышку гнева. Как рассказывал сам Поппер в своих воспоминаниях, они играли в покер и он сказал что-то, касающееся валидности моральных правил. Витгенштейн, держа карты в руках, потребовал, чтобы Поппер привел хотя бы один пример морального правила. Поппер ответил: «Не угрожать приглашенным лекторам колодой карт». Витгенштейн взорвался и покинул помещение. Все были на стороне Поппера. Рассел сказал Витгенштейну, что он сам затеял эту ссору *[Monk 1990: 495]*.

Другой скандал, но уже не по вине Витгенштейна, разгорелся в мае 1947 года в Оксфорде, куда Витгенштейна пригласили выступить на конференции, посвященной обсуждению высказывания Декарта «Cogito ergo sum». По воспоминанию современников, здесь собрались практически все современные философы. Среди самых известных англичан были Гилберт Райл, Джон Урмсон, Исайя Берлин и Джозеф Причард. Последний и затеял ссору с Витгенштейном. Дело в том, что Витгенштейн совершенно игнорировал (во всяком случае, на первый взгляд) вопрос о Cogito Декарта и говорил о том, что ему интересно. Сохранился такой «диалог» между Витгенштейном и Причардом:

> *ВИТГЕНШТЕЙН.* Если человек говорит мне, глядя на

небо: «Я думаю, что скоро пойдет дождь, поэтому я существую», то я не пойму того, о чем он говорит.

ПРИЧАРД. Замечательно; однако мы здесь собрались для того, чтобы узнать, имеет ли силу декартово *cogito [Monk 1990: 476]*.

Как вспоминают участники конференции, Причард обрывал Витгенштейна семь раз. Мэри Уорнок, философ из Оксфорда, описала Причарда как «глухого старика с ужасным кашлем, шаркающего ногами от отвращения», питаемого к Витгенштейну. В довершении ко всему, Причард умер через неделю после конференции.

В Оксфорде за прием Витгенштейна отвечала его ученица Элизабет Энком, после его смерти ставшая одним из его душеприказчиков и известных философов-аналитиков, в частности, она была одним из первых и наиболее глубоких интерпретаторов «Трактата». В 1940-е годы она часто приезжала в Кембридж слушать лекции Витгенштейна. Она была из тех учеников, которые всей жизнью проникались учением Витгенштейна, его методом. «Годами», — писала она, — «я проводила время в кафе, глядя на предметы и задавая самой себе вопросы, вроде: «Я вижу сверток. Но что я вижу на самом деле? Как я могу сказать, что я вижу нечто большее, чем желтое пятно?» *[Monk 1990:497]*.

Энком была восторженной поклонницей творчества Кафки. Возвращая ей том романов Кафки, данный ею Витгенштейну почитать, Витгенштейн высказался следующим образом: «Этот человек создает себе величайшие трудности тем, что не пишет о своих трудностях».

Другой знаменитой дамой, которая слушала лекции Витгенштейна, была английская романистка Айрис Мердок, получившая в молодости профессиональное философское образование.

В эти годы Витгенштейн активно работал над трудом всей второй половины своей жизни — «Философскими исследованиями». С подготовкой этой книги, которая так и не была доведена до конца из-за смерти Витгенштейна, связано много историй, по большей части печальных и горьких. По поводу «Исследований» Витгенштейн много нервничал, его одолевал синдром подозрительности. Он считал, что молодые философы используют его идеи, не ссылаясь на автора. Витгенштейн называл себя в этой связи человеком вне закона, Vogelfrei (птицей, в которую каждый может стрелять). Он был взбешен, когда Норман Малкольм предложил издать «Исследования» на

мимеографе ограниченным тиражом, чтобы коллеги могли пользоваться этой книгой.

В то же время Витгенштейну очень хотелось поделиться с каким-то близким и понимающим человеком содержанием книги. Таким человеком оказался тот же Малкольм. Витгенштейн передал ему один из трех (как всегда, трех!) экземпляров рукописи для того, чтобы они читали текст вдвоем. Малкольм вспоминал:

> Начиная читать книгу, Витгенштейн сначала читал вслух предложение по-немецки, затем переводил его на английский язык. После этого он делал несколько замечаний, касающихся этого предложения. Потом он принимался за следующее предложение. И так далее. На следующей встрече он начинал с того места, которым заканчивал в предыдущую встречу *[Малкольм 1993]*.

«Я делаю это для того, — говорил Витгенштейн, — чтобы хотя бы один человек понимал мою книгу, когда она будет опубликована».

Витгенштейн продолжал читать лекции в Тринити и продолжал сомневаться в осмысленности этого занятия.

> Мои лекции идут хорошо. Никогда уже так хорошо они идти не будут. Но что они после себя оставят? Что я, помогаю ими кому-нибудь? Определенно, не более того, как если бы я был актером, играющим для них трагические роли *[Monk 1990: 507]*

Летом 1947 года Витгенштейн начинает думать об отставке. У него уже есть преемник — Георг Хенрик фон Вригт, в будущем выдающийся логик и философ-аналитик, глава финской логической школы, выдающимся учеником которого в свою очередь будет Яакко Хинтикка, один из создателей теоретико-модельной семантики (более известной как семантика возможных миров).

Кембридж и Англия все более раздражают Витгенштейна: «Разваливающаяся и разлагающаяся английская цивилизация. Страна, в которой политика колеблется между злыми целями и отсутствием целей».

В конце августа он окончательно решает уйти в отставку и уехать из Англии — в Норвегию или в Ирландию. Выбор падает на Ирландию. Этот выбор, вероятно, был обусловлен тем, что Витгенштейн интуитивно боялся оставаться один (как было бы, осуществи он норвежский вариант), поскольку его уже несколько

лет мучали не только привычные депрессии, но и какие-то непонятные соматические недомогания. В Ирландии же был верный Морис Друри, который был к тому же врач, готовый оказать не только чисто дружескую, но и медицинскую помощь.

Зимой 1948 года Витгенштейн приезжает в Дублин. Он собирался провести достаточно долгое время на ферме Рэд Кросс в графстве Уиклоу, к западу от Дублина. Здесь он работал одновременно над второй частью «Исследований» и над рукописью, которая после его смерти была опубликована под названием «Заметки по философии психологии».

Однако с самого начала дела пошли плохо. Начались депрессии. Вновь бесконечные жалобы в письмах к Малкольму. Вновь боязнь сойти с ума. Внезапно обнаружилась полная потеря продуктивности. Друри, срочно вызванный Витгенштейном, записал следующий диалог:

> ВИТГЕНШТЕЙН. Оно пришло.
>
> ДРУРИ. Я не понимаю. Что случилось?
>
> ВИТГЕНШТЕЙН. То, чего я всегда боялся. Что я больше не смогу работать. За последние две недели я ничего не сделал. Не сплю ночами. Люди под моей комнатой разговаривают допоздна, и это беспрестанное бормотание сводит меня с ума *[Drury: 154–155]*.

Друри выписал Витгенштейну снотворное и отвез его в коттедж своего брата в Росро, где Витгенштейн еще в 1934 году бывал с Фрэнсисом Скиннером. Жизнь в Росро, на свежем воздухе, в полном покое привела Витгенштейна в себя. Оставались только проблемы с чтением, так как это была страшная глушь и малкольмовские посылки с детективными журналами «Стрит энд Смит» доходили медленно. Неожиданно в деревенском магазине Витгенштейн обнаружил роман, который стал его любимым детективным произведением. Это был роман Норберта Дэвиса «Свидание со страхом». С этим связана целая история. Витгенштейну так понравился этот роман, что он послал его копии Смидису, Муру и Бену Ричардсу. Он перечитывал его по многу раз и просил Малкольма узнать как можно подробнее все, что известно об авторе. К сожалению, Малкольм ничего узнать не смог. Что, как пишет Рей Монк, тем более печально, что именно в 1948 году Дэвис как никогда нуждался в поддержке.

Норберт Дэвис вместе в Дэшилом Хэмитом был основателем американского «жесткого» детектива. Зенит славы Дэвиса пришелся на 1930-е годы. Однако в конце 1940-х он был прочно забыт. Вскоре после письма Витгенштейна Малкольму Дэвис написал Рэймонду Чандлеру о том, что из пятнадцати рассказов,

предложенных им для публикации, четырнадцать были отвергнуты. Дэвис просил Чандлера прислать ему 200 долларов. Он умер в нищете через год, так и не узнав, что его последний роман очаровал величайшего мыслителя XX веке и что тот собирался написать ему благодарственное письмо.

Витгенштейн жил в Росро с мая по август 1948 года. Он много написал и очень устал. Покинув Росро в августе, он поехал в Дублин навестить Друри. В сентябре Витгенштейн поехал в Вену навестить тяжело больную сестру Мининг, у которой был рак. В октябре он вернулся в Ирландию и, по совету Друри, поселился в самом Дублине. Зимой Витгенштейн интенсивно работал. Друри вспоминает, как он частенько заходил к Витгенштейну и заставал его за работой. Витгенштейн говорил: «Подожди минутку!», после чего работал еще два часа.

Характеризуя свой философский метод, Витгенштейн по контрасту сравнивал себя с Гегелем: «Кажется, что Гегель всякий раз хочет сказать, что вещи, которые кажутся различными, на самом деле одинаковы. У меня наоборот. Я стремлюсь показать, что вещи, которые кажутся одинаковыми, на самом деле различны» *[Drury: 137]*. И далее Друри пишет: он цитировал слова Кента из «Короля Лира»: «Я научу тебя различиям».

В апреле 1949 года Витгенштейн вновь отправился в Вену — Мининг была при смерти. В Дублин он вернулся через три недели. Сестра умирала долго. А Витгенштейна самого настигала смертельная болезнь. Друри это понимал по косвенным признакам. Он посоветовал Витгенштейну обратиться к знакомому профессору медицины из Дублинского Тринити-колледжа. Тот диагностировал у Витгенштейна нечто вроде анемии неизвестного происхождения. Витгенштейна лечили препаратами железа. Через некоторое время ему стало лучше, и он начал всерьез подумывать о намеченной поездке в Америку, в гости к Норману Малкольму.

Поездка в Америку

В марте 1949 года Витгенштейн уж почти окончательно созрел для поездки в Америку к своему ученику и другу Норману Малкольму. Малкольм и его жена несколько раз настойчиво приглашали его в письмах. На последнее письмо он ответил подробно:

> Как и в тот раз, благодарю вас за ваше сердечное приглашение. Я получил его почти неделю назад, но не мог ответить, потому что мои мысли были в совершенном беспорядке, и даже сегодня я не способен выдать ничего лучшего, чем набор бессвязных предложений. Во-первых, хочу сказать, (a) что я глубоко благодарен вам за вашу доброту и (b) что у меня *сильное* желание принять ваше предложение. Но существуют большие затруднения. — Моя старшая сестра, к счастью, еще жива, и две мои другие сестры *могут* по-прежнему желать видеть меня в Вене. […] — Я ходил в туристическое агентство узнавать насчет поездки в Америку и обнаружил, что путешествие обойдется мне в сумму от 80 до 120 фунтов. Еще мне сказали, что ты сам должен будешь оплачивать мое пребывание в Америке, потому что мне разрешается взять с собой не больше пяти фунтов. Поэтому тебе нужно прислать письменное подтверждение, что ты можешь и намерен оплачивать все расходы во время моего пребывания в США.

Далее Витгенштейн писал, что не может себе позволить долго быть на содержании, а также что он уже пожилой больной человек. Неспособен на длительные прогулки и работу в саду. Он просил учесть все эти условия.

В ответ Малкольм незамедлительно выслал письменное подтверждение, что он хочет и в состоянии оплачивать пребывание Витгенштейна в США. После этого еще был некоторый обмен письмами, где обсуждались различные детали.

Витгенштейн отплыл в Америку 21 июля на корабле «Королева Мария». Далее предоставим слово Норману Малкольму:

> Я поехал в Нью-Йорк встречать его корабль. Как только я увидел его, я был поражен его явным физическим здоровьем. Он широким шагом сошел с

трапа с рюкзаком за спиной, чемоданом в одной руке и тростью в другой. Он был в прекрасном расположении духа, совсем не выглядел изможденным и даже не разрешил помочь с вещами. Главное мое воспоминание о нашей поездке домой — то, что мы разговаривали о музыке и Витгенштейн удивительно точно и выразительно просвистел мне несколько отрывков из Седьмой симфонии Бетховена *[Малкольм 1993: 83]*.

Первая половина пребывания Витгенштейна у Малкольмов прошла весело и беззаботно. Витгенштейн чувствовал себя бодрым и здоровым. Малкольм вспоминал:

> Однажды во время ланча моя жена подала швейцарский сыр и ржаной хлеб, которые Витгенштейн очень любил. После этого он обычно всякий раз в той или иной форме настаивал, чтобы на столе были только сыр и хлеб, и почти не обращал внимания на те разнообразные блюда, которые готовила моя жена. Витгенштейн заявил, что для него не имеет большого значения, чем он питается, если это всегда *одно и то же.* Когда на стол подавалось особенно аппетитное блюдо, я иногда восклицал: «Hot Ziggety!» — сленговое выражение, которое я слышал мальчиком в Канзасе. Витгенштейн заимствовал у меня это выражение. Было невероятно смешно слышать, как он восклицал: «Hot Ziggety!» — когда моя жена ставила перед ним хлеб и сыр. Во время первой половины своего пребывания у нас Витгенштейн настаивал на том, чтобы помогать мыть тарелки после еды. […] Однажды он строго отчитал меня за то, что я недостаточно хорошо ополоснул посуду. […]
>
> Одним из любимых выражений Витгенштейна было «Оставь эту *чертову* штуку, *как есть!»* (Leave a *bloody* thing *alone!* Несомненно это из общего лексикона с Гилбертом Патиссоном. — *В. Р.).* Он произносил эту фразу очень выразительно, с подчеркнутой торжественностью в голосе. Она приблизительно означала, что эта самая «штука» в порядке и не надо стараться ее исправить.
>
> Когда однажды у нас перестал работать слив, Витгенштейн проявил самый живой интерес, помогая мне починить туалетный бачок. Он был явно неравнодушен к техническим проблемам. Когда бачок был починен, я предложил сделать еще одно

> приспособление, но Витгенштейн остановил меня словами: «Оставь эту *чертову* штуку *как есть!»* В Тринити-колледже Витгенштейн как-то брал меня с собой, чтобы взглянуть на один хорошо работающий туалет и изучить его конструкцию, и сейчас он весьма неодобрительно отзывался о конструкции нашего. Он всегда очень высоко ценил хорошую работу, и высказывал настоящее моральное осуждение в адрес плохой. Ему было приятно думать, что могут быть мастера, которые стремятся довести свою работу до *совершенства* по одной единственной причине: просто потому, что так *должно быть [Малкольм 1993:84–85].*

Но Витгенштейн не только поедал хлеб с сыром и чинил бачки. Они читали вместе вслух одно из основополагающих произведений Готлоба Фреге «Смысл и денотат». Витгенштейн встречался и вел дискуссии с философами, которые преподавали в Корнелльском университете. Так что и в интеллектуальном смысле поездка была насыщенной.

Однако под конец Витгенштейн стал хуже себя чувствовать, настроение у него стало портиться, что он вымещал на окружающих. Малкольм:

> В то лето погода была очень жаркой и в комнате Витгенштейна на третьем этаже часто было душно. Он однажды сказал, что проволочная сетка на окнах препятствует свободному движению воздуха, и спросил, почему ее нельзя убрать. Я ответил, что если это сделать, то в комнате будет много насекомых, что еще хуже, чем жара. Витгенштейн усомнился. Он заметил, что в Англии и Европе на окнах обычно нет сеток. Я ответил, что в Америке больше насекомых. Витгенштейн не поверил этому, и когда он через некоторое время вышел на прогулку, то внимательно стал разглядывать дома, чтобы убедиться, есть там на окнах сетки или нет. Он обнаружил, что сетки были везде, но отреагировал несколько неожиданно: вместо того, чтобы согласиться, что в этом есть свой резон, он с раздражением заметил, что американцы — жертвы широко распространенного и глупого предрассудка относительно необходимости оконных сеток *[Малкольм 1993: 91–92].*

Всю вторую половину пребывания в Америке Витгенштейн болел, фактически пролежал в постели. У него было ощущение, что он умрет в Америке, чего он очень не хотел. «Какой я дурак,

что приехал!» — воскликнул он однажды в сердцах. Малкольм не представлял, что Витгенштейн выдержит путешествие обратно в Англию. Тем не менее, в октябре Витгенштейн отплыл обратно, а в декабре Малкольм получил от Витгенштейна письмо, в котором говорилось, что врачи обнаружили у него рак.

Болезнь и смерть

В этом письме Витгенштейн писал:

> Доктора поставили свой диагноз. У меня рак предстательной железы. Это звучит несколько хуже, чем есть на самом деле, потому что есть лекарство (какие-то гормоны), которое может, как мне сказали, ослабить течение этой болезни так, что я смогу прожить еще годы. Врач сказал мне, что я, возможно, смогу снова работать, но я этому не верю. Я нисколько не был потрясен, когда услышал, что у меня рак, но *был* поражен, когда услышал, что с этим можно что-то сделать, потому что у меня нет желания продолжать жить. Но мое желание здесь роли не играет. Все исключительно добры ко мне, и у меня необыкновенно добрый доктор, который к тому же весьма неглуп (цит. по *[Малкольм 1993:92–93]*).

В декабре 1949 года Витгенштейн поехал в Вену и пробыл там до марта. В апреле 1950 года он вернулся в Кембридж. К нему сразу обратились с просьбой представители Оксфордского университета — прочитать курс лекций о Джоне Локке. Он отказался, не хотел читать перед большой аудиторией.

Весной Малкольм заинтересовал Витгенштейном Рокфеллеровский фонд и стал хлопотать, чтобы ему предоставили грант на проведение исследований. В январе 1951 года директор фонда Чалбурн Гилпатрик посетил Витгенштейна в Кембридже с предложением гранта. Витгенштейн отказался. Ссылаясь на болезнь и «умственную апатию».

Последние месяцы жизни Витгенштейн провел в доме своего врача доктора Бивена. Когда ему объявили, что у него рак, он ужаснулся не тому, что обречен на скорую смерть, а тому, что ему придется умирать в больнице. Тогда доктор Бивен сказал, что Витгенштейн может перед смертью поселиться у него.

Последние пять недель перед смертью у Витгенштейна вдруг наступило просветление, у него была ясна голова и он много работал. Он говорил жене Бивена: «Я буду работать сейчас так, как никогда не работал раньше».

О кончине Витгенштейна Малкольм рассказывает следующее:

> В пятницу, 27 апреля, после обеда он гулял. Ночью ему стало очень плохо. Он был в сознании, и, когда доктор сказал ему, что он может прожить только

несколько дней, он воскликнул: «Боже!» Перед тем как он потерял сознание, он сказал миссис Бивен (которая оставалась всю ночь у его постели): «Передай им, что у меня была прекрасная жизнь» *[Малкольм 1993: 96]*.

Восьмое рассуждение о формах жизни

О, стрельчатые башенки Кембриджа, он вас больше никогда не увидит! Старик Причард напрасно шаркал ногами. Смерть не является событием жизни. У него была прекрасная жизнь — мы знаем об этом. Он не дожил двух лет до смерти Сталина и четырех — до XX съезда. Вот бы еще разок съездил повеселиться! Впрыснуть инсулину старухе Яновской, рассказать советским философам о диалектическом материализме, сарацина в поле спешить. Вот мы удивляемся его жизни, коллеги. А какая, в сущности, обыденная и правильная жизнь. Жизнь наравне с веком, которого он не любил. Жизнь слегка душевно больного клиента малой психиатрии. Да-да, прекрасная жизнь, превосходная, мы уже слышали, но такая, в сущности, обычная. Без романтических затей. Ну, гомосексуалист (или не гомосексуалист — моноэрот), ну, в деревне преподавал. У нас при советской власти все великие люди работали дворниками — и ничего. Ну, деньги отдал. Ну, «Логико-философский трактат» написал. Был честным и простым. Как Володя Ульянов.

Но мы все с подвязанными подбородками окажемся в том месте ангельском, которое не является событием жизни. И все забудется, и все переврется безбожно. Так что покойся, милый прах, ты был очень необычным, ты был удивительным, самым умным, самым добрым, отзывчивым, каким еще? В общем, мы все тебя любим и никогда не забудем. И хватит об этом.

Хронология основных событий жизни Витгенштейна

26 апреля 1889 — в доме своего отца на Аллеегассе в Вене родился Людвиг Витгенштейн

1902 — самоубийство брата Ганса

1903 — самоубийство брата Рудольфа

4 октября 1903 — самоубийство Отто Вайнингера

1903 — Витгенштейн поступает в Реальную школу в Линце

1906 — самоубийство Людвига Больцмана

1906 — Витгенштейн поступает в Высшую техническую школу в Шарлоттенбурге

1908 — Витгенштейн поступает в высшее техническое училище в Манчестере

лето 1908 — Витгенштейн работает на исследовательской станции в Глоссопе

1909 — Витгенштейн приезжает в Иену к Готлобу Фреге для знакомства с ним

18 октября 1911 — Витгенштейн приезжает в Кембридж и знакомится с Расселом

1 февраля 1912 — Витгенштейн зачислен в Тринити-колледж Кембриджского университета в качестве студента-исследователя

лето 1912 — в Кембридж приезжает сестра Витгенштейна Гермина и знакомится с Расселом, который предсказывает Витгенштейну великое будущее

сентябрь 1912 — Витгенштейн и Дэйвид Пинсент отправляются путешествовать в Исландию

ноябрь 1912— Витгенштейн становится членом общества «Апостолы»

19 января 1913 — умер отец Витгенштейна Карл

1913 — в № 34 журнала *Cambridge Review* опубликована первая работа Витгенштейна, его рецензия на книгу П. Коффи «Наука логика»

лето 1913 — обострение отношений Витгенштейна с Расселом

осень 1913 — депрессия, мысли о смерти

сентябрь 1913 — Витгенштейн с Пинсентом отправляются путешествовать в Норвегию

29 ноября в Клубе Моральных наук Витгенштейн делает свой первый научный доклад «Что такое философия?»

декабрь 1913 — Витгенштейн решает остаться жить в Норвегии

март 1914 — эпистолярная ссора с Расселом

апрель 1914 — приезд Мура в Норвегию, Витгенштейн диктует ему заметки по философии

май 1914 — эпистолярная ссора с Муром

июнь 1914 — Витгенштейн приехал на лето в отцовское имение Хохрайт

14 июля — Витгенштейн написал Людвигу фон Фикеру письмо с предложением распределить 100 000 крон между нуждающимися деятелями культуры Австрии

август 1914 — Витгенштейн вступает в действующую австровенгерскую армию, расквартированную в Кракове

конец 1914 — самоубийство Георга Тракля в военном госпитале в Кракове

весна 1915 — Витгенштейна переводят в Галицию

март 1916 — Витгенштейна отправляют на Русский фронт

февраль 1917 — Витгенштейн получает серебряную медаль за доблесть

1918 — самоубийство брата Курта

1 февраля — Витгенштейн произведен в лейтенанты

8 мая — в воздушном бою погибает Дэйвид Пинсент

август — будучи в отпуске в Хохрайте Витгенштейн заканчивает главный труд первой половины своей жизни — «Логико-философский трактат»

конец октября — Витгенштейн попадает в плен к итальянцам

лето 1919 — Витгенштейн возвращается из плена и отказывается от отцовского наследства в пользу брата Пауля и сестер

декабрь 1919 — Витгенштейн встречается с Расселом в Гааге

1921–1926 — Витгенштейн учительствует в младших классах в альпийских деревнях Траттенбахе, Оттертале и Пухберге

1921 — первое издание «Логико-философского трактата»

1922— второе, двуязычное издание «Трактата» с предисловием Рассела

зима 1922— Витгенштейн встречается с Расселом в Инсбруке

лето 1923 — к Витгенштейну в Пухберг приезжает Фрэнк Рамсей

лето 1924 — Витгенштейн получает письмо от Морица Шлика

лето 1925 — второй приезд Фрэнка Рамсея

август 1925 — поездка в Англию к Экклзу и Кейнсу

1926 — выход в свет «Словаря для народных школ», написанного Витгенштейном

апрель 1926 — к Витгенштейну в Оттерталь приезжает Мориц Шлик

28 апреля 1926 — Витгенштейн подает прошение об отставке с поста учителя

май-июнь 1926 — Витгенштейн работает садовником в Хюттельдорфе, неподалеку от Вены

3 июня 1926 — смерть матери Витгенштейна Леопольдины Кальмус

лето 1926 — Витгенштейн переезжает в Вену и становится архитектором при постройке дома своей сестры Маргарет Стонборо на Кундмангассе

февраль 1927 — встреча с Морицем Шликом в Вене

лето 1927 — Витгенштейн посещает семинары Венского логического кружка

март 1928 — Витгенштейн в Вене слушает лекцию Броуэра об интуиционизме

конец 1928 — окончание постройки дома на Кундмангассе

1929–1931 — роман с Маргаритой Респингер

18 января 1929 — Витгенштейн приезжает в Лондон

1929 — публикация «Некоторых заметок о логической форме» в 9 выпуске *Трудов Аристотелевского общества*

18 июня 1929 — Витгенштейн защищает диссертацию на степень доктора философии

ноябрь 1929 — Витгенштейн читает «Лекцию об этике» в обществе «Еретики»

19 февраля 1930 — в возрасте 26 лет умирает Фрэнк Рамсей

20 февраля Витгенштейн читает свою первую лекцию в Кембриджском университете

лето 1930 — коллективная подготовка доклада Фридриха Вайсмана (для конференции в Кенигсберге) в Вене в доме Шлика

1930 — подготовка рукописи «Философские заметки»

конец 1930 — Витгенштейну дают стипендию в Тринити-колледже на пять лет

1931 — знакомство с Фрэнсисом Скиннером

1933 — Витгенштейн готовит «Голубую книгу»

1934 — Витгенштейн со Скиннером изучают русский язык у Фани Паскаль

1935 — поездка в Россию

1935–1936 — Витгенштейн диктует Скиннеру «Коричневую книгу»

лето 1937 — Витгенштейн исповедуется друзьям в своих грехах

февраль 1938 — Витгенштейн со Скиннером гостит у Мориса Друри в Дублине

12 марта 1938 — Аншлюсс Германией Австрии

14 марта — Пьеро Сраффа пишет Витгенштейну подробное

письмо, в котором советует принять британское гражданство

2 июня 1939 — Витгенштейну вручается британский паспорт

1941 — смерть Фрэнсиса Скиннера

1940–1942 — Витгенштейн работает санитаром в Гай-госпитале в Лондоне

ноябрь 1942 — Витгенштейн едет в Ньюкасл работать техником в экспериментальной лаборатории психолога доктора Гранта

16 февраля 1944 — Витгенштейн возвращается в Кембридж

1944 — Витгенштейн тесно общается с Джорджем Эдуардом Муром

1946 — Витгенштейн влюбляется в Бена Ричардса

зима 1948 — Витгенштейн переезжает в Дублин. Интенсивно работает над «Заметками по философии психологии» и «Философскими исследованиями»

апрель 1949 — Витгенштейн едет в Вену к смертельно больной сестре Гермине

21 июля 1949 — Витгенштейн отплывает в Америку в гости к Норману Малкольму

октябрь 1949 — Витгенштейн возвращается в Кембридж

декабрь 1949 — врачи обнаруживают у Витгенштейна рак предстательной железы

1950 — Витгенштейн пишет трактат «О достоверности»

весна 1951 — Витгенштейн при смерти, он живет в доме своего врача доктора Бивена

29 апреля 1951 года Людвиг Витгенштейн умер.

Литература

Принятые сокращения

В 1994 — Витгенштейн Л. Избранные работы. Часть 1. М., 1994.

ЛВ 1993 — Людвиг Витгенштейн: Человек и мыслитель. М., 1993.

С 1983 — Семиотика // Под ред. С. Ю. Степанова. М., 1983.

МН — Мифы народов мира. Т., М., 1982.

НЛ — Новое в зарубежной лингвистике. М., вып.

УЗ — Ученые записки Тартуского ун-та. Труды по знаковым системам, вып.

Ф 1994 — Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1994.

ФЛЯ — Философия. Логика. Язык. М., 1987.

ХЖ — Художественный журнал, М., вып.

PR — Ludwig Wittgenstein: Personal recollections / Ed. R. Rhees. Ox., 1981.

* * *

Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. М., 1995.

Анандавардхана. Свет дхвани. М., 1976.

Арутюнова Н. Д. Речевой акт // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

Бартли У. У. Витгенштейн // ЛВ 1993.

Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.

Бергман Г. Блеск и нищета Людвига Витгенштейна // ЛВ 1993.

Бердяев Н. А. Смысл истории: Опыт философии человеческой судьбы. Берлин, 1924.

Блейлер Е. Аутистическое мышление. Одесса, 1927.

Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М., 1961.

Борхес Х. Л. Проза разных лет. М., 1989.

Больцман Л. Лекции по теории газов. М., 1956.

Вайсманн Ф. Витгенштейн и Венский кружок // В 1998.

Веберн А. Лекции о музыке. Письма. М., 1972.

Вежбицка А. Речевые акты // НЛ, 16, 1985.

Вендлер З. Иллокутивное самоубийство // НЛ, 16, 1985.
Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958.
Витгенштейн Л. Лекция об этике // Даугава, № 2, 1989.
Витгенштейн Л. Заметки о «Золотой ветви» Фрэзера // Историко-философский ежегодник. М, 1990.
Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // В 1994.
Витгенштейн Л. Философские исследования // В 1994.
Витгенштейн Л. О достоверности // В 1994.
Витгенштейн Л. Культура и ценность // В 1994.
Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. II. Замечания по основаниям математики. М., 1994a.
Витгенштейн Л. Лекции: Кембридж 1930–1932 // ЛВ 1993.
Витгенштейн Л. Из «Тетрадей 1914–1916» // Логос, 6, 1994a.
Витгенштейн Л. Несколько заметок о логической форме // Там же, 1994b.
Витгенштейн Л. Заметки по философии психологии М., 2001.
Витгенштейн Л. Голубая книга. М., 1998a.
Витгенштейн Л. Лекции и беседы об эстетике, психологии и религии // В 1998.
Вригт Г. фон. Людвиг Витгенштейн (Биографический очерк) // ЛВ 1993.
Вригт Г. фон. Логико-философские исследования. М., 1986.
Выготский Л.С. Психология искусства. М, 1976.
Галковский Д. Бесконечный тупик. М., 1997.
Гаспаров Б. М. Из курса лекций по синтаксису современного русского языка: Простое предложение. Тарту, 1971.
Гаспаров Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М., 1996.
Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М, 1987.
Голосовкер Я. Э. Логика мифа. М, 1987.
Гроф С. За пределами мозга: Рождение, смерть и трансценденция в психоанализе. М, 1992.
Гершкович Ф. Тональные основы Шенберговой додекафонии // УЗ, 308, 1973.
Гроссман Л. П. Достоевский. М., 1965.
Грайс П. Постулаты речевого общения // НЛ, 16, 1985.
Грязнов А. Ф. Эволюция философских взглядов Л. Витгенштейна: Критический анализ. М, 1985.
Грязнов А. Ф. Аналитическая философия // Современная западная философия: Словарь. М., 1991.
Грязнов А. Ф. Язык и деятельность: Критический анализ витгенштейнианства. М, 1991a.
Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. Л., 1990.
Даммит М. Что такое теория значения // ФЛЯ, 1987.

Друри М. О. К. Беседы с Витгенштейном // Витгенштейн Л. [Избранное]. М., 1998.

Друскин М. С. О западноевропейской музыке XX века. Л… 1973.

Дюркгейм Э. Самоубийство. М., 1994.

Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка // НЛ, 2, 1962.

Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности. М, 1996.

Зиновьев А. А. Философские проблемы многозначной логики. М., 1960.

Иванов В. В. Знаки и функции категорий кино // УЗ, 1975.

Иванов В. В. Фильм в фильме // УЗ, 1981.

Иванов В. В. Близнечные мифы // МН, 1, 1982a.

Иванов В. В. Конь // МН, 1, 1982b.

Ивин А. А. Основания логики оценок. М., 1970.

Карнап Р. Значение и необходимость: Исследование по семантике и модальной логике. М., 1959.

Карнап Р. Философские основания физики. М., 1965.

Клини С. К. Математическая логика. М., 1970.

Крипке С. Семантическое рассмотрение модальной логики // Семантика модальных и интенсиональных логик. М., 1979.

Крипке С. Загадка контекстов мнения // НЛ, 18, 1986.

Конрад Н. И. Запад и Восток. М., 1972.

Куайн У. В. О. Референция и модальность // НЛ, 13, 1981.

Кун Т. Структура научных революций. М., 1975.

Лазарев С. Н. Диагностика кармы. М., 1997.

Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1994.

Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983.

Лосев А. Ф. О пропозициональных функциях древнейших лексических структур // Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. Тр. по языкознанию. М., 1982.

Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста: Структура стиха. Л., 1972.

Лотман Ю. М. Динамические механизмы знаковых систем // УЗ, 463, 1978.

Лотман Ю. М. Феномен культуры // Там же, 1978a.

Лотман Ю. М. Текст в тексте // УЗ. 1981.

Лотман Ю. М. Избранные статьи в 3-х тт. Таллинн, 1992.

Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. М., 1996.

Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Миф — имя — культура // 23, 308, 1973.

Лотман Ю. М., Цивьян Ю. Г. Диалог с экраном. Таллинн, 1994.

Льюис К. Виды значений // Семиотика, 1983.

Малкольм Н. Мур и Витгенштейн о значении выражения «Я знаю» // ФЛЯ, 1987.

Малкольм Н. Состояние сна. М., 1993.

Малкольм Н. Людвиг Витгенштейн: Воспоминания // ЛВ 1993.

Мейлах М. Б. Лилия // МН, 1, 1982.

Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. М., 1976.

Моррис Ч. Основания теории знаков // С 1983.

Моуди Р. Жизнь после жизни. М., 1991.

Мукаржовский Я. Эстетическая функция, норма и ценность как социальные факты // УЗ, 365, 1975.

Мур Дж. Э. Принципы этики. М., 1984.

Налимов В. В. Вероятностная модель языка: О соотношении естественных и искусственных языков. М., 1979.

Остин Дж. Слово как действие // НЛ, 17, 1986.

Парамонов Б. Конец стиля. М., 1997.

Паскаль Ф. Людвиг Витгенштейн: Личные воспоминания // ЛВ 1993.

Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983.

Пропп В. Я. Морфология сказки. М., 1965.

Пугачев Н. Н. Современная западная философия: Словарь. М., 1991.

Пятигорский А. М. Некоторые общие замечания о мифологии с точки зрения психолога // УЗ, 181, 1965.

Пятигорский А. М. О некоторых теоретических предпосылках семиотики // Сб. статей по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1973.

Рассел Б. Мое философское развитие // Аналитическая философия: Избранные тексты М., 1993.

Рассел Б. Введение в математическую философию. М., 1996.

Ревзин И. И. О субъективной позиции исследователя в семиотике // УЗ, 258, 1971.

Рейхенбах Г. Направление времени. М., 1962.

Рорти Р. Ирония, судьба и солидарность. М., 1996.

Руднев В. П. Основания философии текста // Научно-техническая информация. Серия 2. Информационные процессы и системы, 3, 1992 a.

Руднев В. Серийное мышление // Даугава, 3, 1992 b.

Руднев В. «Здесь» — «там» — «нигде»: Сюжет и пространство в драматургии //Московский наблюдатель, 3/4, 1994.

Руднев В. Витгенштейн: — вскользь, по касательной // ХЖ, 8, 1995a.

Руднев В. Миф о первобытном сознании // Там же, 1996 b.

Руднев В. П. Стих и культура // Тыняновский сборник:

Вторые Тыняновские чтения. Рига, 1986.

Руднев В. Мандельштам и Витгенштейн // Третья модернизация, [11], Рига, 1990.

Руднев В. Философия 'русского литературного языка' в «Бесконечном тупике» Д. Е. Галковского // Логос, 3 1993a.

Руднев В.П. Введение в прагмасемантику «Винни Пуха» // Винни Пух и философия обыденного языка. М., 1994.

Руднев В. П. Витгенштейн как личность // ЛВ 1993a.

Руднев В. Гений в культуре // Ковчег, 2, 1994b.

Руднев В. Немного лингвотерапии // Логос, 6, 1994c.

Руднев В. Морфология реальности: Исследования по «философии текста». М., 1996.

Руднев В. П. Культура и психокатарсис // Независимый психиатрический журнал, 5, 1996a.

Руднев В. П. Несколько замечаний о двух логико-философских концепциях Рассела // Логос, 8, 1996b.

Руднев В. П. Словарь культуры XX века: Ключевые понятия и тексты. М., 1997.

Сааринен Э. О метатеории и методологии семантики // НЛ, 18, 1986.

Семантика модальных и интенсиональных логик // М., 1979.

Семенцов В. С. «Бхагавадгита» в традиции и в современной научной критике. М., 1985.

Серль Дж. Р. Классификация иллокутивных актов // НЛ., 16, 1986a.

Серль Дж. Р. Косвенные речевые акты // НЛ, 16, 1986b.

Стросон П. О. О референции // НЛ, 13, 1982.

Судзуки Д. Т. Основы дзэн-буддизма. Бишкек, 1993.

Семиотика / Под ред. Ю. С. Степанова. М., 1983.

Серль Дж. Р. Что такое речевой акт? // НЛ, 16, 1986.

Серль Дж. Р. Природа Интенциональных состояний // ФЛЯ, 1987.

Соссюр Ф. де. Избранные труды по языкознанию. М., 1977.

Степанов Ю. С. Семиотика. М., 1972.

Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка. М., 1985.

Текст в тексте: УЗ, 14, 1981.

Теньер Л. Введение в структурный синтаксис. М., 1990.

Тойнби Дж. Христианство и марксизм // Даугава, 4, 1989.

Топоров В. Н. Лестница // МН, 1, 1982.

Уиздом Дж. Витгенштейн об индивидуальном языке // Логос, 6, 1995.

Уитроу Дж. Естественная философия времени. М., 1964.

Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // НЛ, 2, 1962.

Фреге Г. Смысл и денотат // Семиотика и информатика, 8, 1977.

Фреге Г. Мысль: Логическое исследование // ФЛЯ, 1987.

Фрейд З. Анализ фобии пятилетнего мальчика // Фрейд З. Психология бессознательного. М., 1990.

Фрейд З. Психопатология обыденной жизни // Ф 1990.

Фрейд З. Скорбь и меланхолия // ф 1994.

Фрейд З. Остроумие и его отношение к бессознательному // Ф 1994.

Фрейд З. Эдип и Гамлет // Ф 1994.

Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.

Фрейденберг О. М. Происхождение пародии // УЗ, 308, 1973.

Хилпинен П. Р. Семантика императивов и деонтическая логика // НЛ, 18, 1986.

Хинтикка Я. Логико-эпистемологические исследования. М., 1980a.

Хинтикка Я. Вопрос о вопросах // Логика и методология науки. М., 1980b.

Хомский Н. Синтаксические структуры // НЛ, 2, 1962.

Целищев В. В. Логика существования. Новосибирск, 1976.

Чёрч А. Введение в математическую логику. М., 1959.

Шапир М. И. Metrica et rhytmica sub speciae semioticae // Даугава, 10, 1990.

Шлик М. Поворот в философии // Аналитическая философия: Избр. тексты М., 1993.

Шлик М. О фундаменте познания // Там же, 1993a.

Шопенгауэр А. Собр. соч. Т. 1. М., 1992.

Щерба Л. В. О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.

Юнг К. Г. Архетип и символ. М., 1991.

Юнг К. Г. Воспоминания. Сновидения. Размышления. Киев, 1994.

Якобсон Р. О. В поисках сущности языка // Семиотика, 1983.

Alexander A. Space, time and Deity. L, 1903.

Anscombe G. E. M. An Introduction to Wittgenstein Tractatus. L, 1960.

Berlin B., Kay P. Basic color terms. Berkeley, 1969.

Black M. A Companion to Wittgenstein's Tractatus. Ithaca, 1966.

Bradley F. Appearance and reality. Ox., 1969.

Canfield J. Wittgenstein and Zen // Ludwig Wittgenstein: Critical Assaisements v.4. L, 1986.

Carnap R. The Logical syntax of language. L, 1936.

Castaneda H.-N. Fiction and reality: Their fundanental connection // Poetics 8 1/2, 1979.

Copi I. M., Beard R. W. (eds.). Essays on Wittgenstein's Tractatus. N. Y., 1966.

Copi I. M. Objects, properties and relations in the Tractatus // Essays on Wittgenstein's Tractatus. N. Y., 1966.

Dolezel L. Narrative worlds // Sound, sign and meaning. Ann Arbor, 1979.

Drury M. The Danger of words. L, 1973.

Drury M. Conversations with Wittgenstein // PR 1981.

Dunne J. W. An Experiment with time. L, 1920.

Dunne J. W. The Serial universe. L, 1930.

Engelmann P. Letters from Ludwig Wittgenstein / With Memoir. N.Y. 1968.

Fann K. T. (ed.). Ludwig Wittgenstein: The Man and his Philosophy. N. Y., 1967.

Favrholdt D. An Interpretation and critigue of Wittgenstein's Tractatus. Copenhagen, 1964.

Feierabend P. Against method. L. 1975.

Finch H. L. Wittgenstein. The Early philosophy. N.Y., 1977.

Findley J. Wittgenstein. L, 1984. Fogelin R. Wittgenstein. L, 1976.

Frere J.-C. Les sociétés du mal. Le Diable d'hier et d'aujourd'hui. P., 1972.

Fromm E. The Forgotten language. N.Y., 1956.

Gudmunsen C. Wittgenstein and buddhism. L., 1977.

Gödel K. Ober formal unentscheidbare Sätse der Principia Mathematica und verwandter Systeme 1 // Monatsshifte für Mathematik und Physik, 38, 1931.

Hintikka J. Knowlege and Belief. Dordrecht, 1962.

Hintikka J. On Wittgenstein's 'solipsism' // Essays on Wittgenstein's Tractatus. N. Y. 1966.

Hudson W. D. Wittgenstein and religious belief. L., 1975.

Janic A., Toulmen S. Wittgenstein's Vienna. L., 1973.

Keyt D. Wittgenstein's notion of an object // Essays on Wittgenstein's Tractatus. N. Y., 1966.

Kripke S. Naming and necessity. Cambr. (Mass), 1980.

Kripke S. Wittgenstein on rules and private language. Ox., 1982. Lacan J. Ecrits. P., 1966.

Lambert K. Existential import revisited // Notre Dame Journal of Formal Logic, 4, 1973.

Lazerowitz M. Philosophy and illusion. L, 1968.

Lejevski C. Logic and existence // British Journal for the philosophy of science, 5, 1971.

Leonard H. The Logic of existence // Philosophical studies, 13,

1966.

Lewis D. Philosophical papers. V.l. Ox., 1983. Malcolm N. Nothing is hidden. Ox., 1986.

Maslow A. A. Study on Wittgenstein's Tractatus. Berkeley, 1961.

McGuinnes B. The Mysticism of the Tractatus // Philosophical Review, VLXXV, 3. 1966.

McGuinnes B. F. Wittgenstein: A Life. V.l. Young Ludwig. L, 1988.

McTaggart J. Selected writings. L., 1968.

Meinong A. Untersuchungen zur Gegenstandtheorie und Psychologie. B., 1904.

Monk R. Ludwig Wittgenstein: The Duty of genius. L, 1990.

Moran J. Toward world and wisdom in Wittgensten's Tractatus. The Hague, 1973.

Moran J. Wittgenstein and Russia // The new left revue, 73, 1972.

Mounce H. O. Wittgenstein's Tractatus: An Introduction. Chicago, 1981.

Moore J. E. Philosophical Papers. L., 1959. Nyri J. C. Wittgenstein's later work in relation to conservatism // Wittgenstein and his times / Ed. B. F. McGuinnes. Ox., 1982.

Parkinson G. H. Saying and showing: An Introduction to Wittgensten's Tractatus logico-philosophicus. Milton Keynes, 1976.

Pavel Th. «Possible worlds» in literary semantics // Journal of aesthetics and art criticism, v.34, n.2, 1976.

Philips D. Wittgenstein and scientific knowlege. L., 1977.

Prior A. N. Time and modality. Ox., 1960.

Prior A. N. Past, present and future. Ox., 1967.

Putnam H. Dreaming and depth grammar // Putnam H. Philosophical papers, v.2. Cambr., 1975.

Ouine W. V. O. From a logical point of view. Cambr. (Mass.), 1953.

Quine W. V. O. Word and object. Cambr. (Mass.), 1960.

Reichenbach H. Elements of symbolic logic. N.Y., 1948.

Rhees R. Postscript // PR 1981.

Ross A. Imperatives and logic // Theoria, 7, 1941.

Ross J. R. On declarative sentences // Readings in English transformational grammar. Waltham (Mass.), 1970.

Rubinstein D. Marx and Wittgenstein. Social praxis and social explanation. L., 1981.

Russell B. Introduction // Wittgenstein L. Tractatus logico-philosophicus. L., 1922.

Russell B. Logic and knowledge. L., 1965.

Russell B. Autobiography. V. 2. L, 1978.

Russell B. An Inquiry into meaning and truth. L, 1980.

Ryle G. The concept of mind. L, 1949.

Searle J. R. Speach acts: An Essay in philosophy of language. Cambr., 1969.

Searle J. R. Intentionality. Cambr., 1983.

Stenius E. Wittgenstein's Tractatus: A Critical expositions of its main lines of thought. Ox., 1960.

Tart C. States of consciousness. El Cerito, 1983.

Warf B. L. Language, thought and reality. N. Y., 1956.

Waismann F. Wittgenstein und der Wiener Krais. Ox., 1967.

Weiler G. Mautner's critique of language. Cambr., 1970.

Weisgerber L. Von der Kräften der deuchen Sprache. Bd. 2. Vom Weltbild de deuchen Sprache. Dusseldorf, 1950.

Wiersbicka A. Semantics primitives. Frankfurt a. M., 1972.

Wiersbicka A. Lingua mentalis. Sydney, 1980.

Wisdom J. Philosophy and psychoanalysis. Ox., 1953.

Wittgenstein G. My brother Ludwig // PR 1981.

Wittgenstein L. Logisch-philosophische Abhandlung [Tractatus logico-philosophocus] / With new translation by D. F. Pears and B. F. McGuinnes. L, 1978.

Wittgenstein L. Philosophical Investigations. Camb., 1967.

Wittgenstein L. Briefe an Ludwig von Ficker. 1969.

Wittgenstein L. Letters to C. K. Ogden. Ox., 1973.

Wittgenstein L. Letters to Rüssel, Keynes and Moore. Ox., 1974. Wittgenstein L. Notebooks 1914–1916. Ox., 1980.

Wittgenstein L. Culture and value. Ox., 1982.

Wittgenstein L. Cambridge letters: Correspondence with Russell, Keynes, Moore, Ramsey and Sraffa. Ox., 1997.

Wright G. H. Wittgenstein. Ox., 1982.

Woods J. The Logic of fiction. The Hague; P., 1974.

notes

Примечания

1

Имеется в виду Второй конгресс по эпистемологии точных наук, состоявшийся в сентябре 1930 года, где Фридрих Вайсман представлял идеи Витгенштейна по основаниям математики. «Несчастье», о котором пишет фрау Йоссель, — смерть дочери в результате несчастного случая. — *Прим. Б. МакГиннеса.*